





Афродизиак

роман

Охота в зоопарке

роман

Мотылёк

военно-театральный роман

Пётр Гладиллин

ПЛАТОНИЧЕСКОЕ
СОТРАСЕНИЕ
МОЗГА

Москва

ВАГРИУС

УДК 882-31
ББК 84(2Рос=Рус)
Г 52

Оформление и макет А. Сидоренко
В оформлении использованы рисунки автора

Гладилин П.В.

Г 52 Платоническое сотрясение мозга / Пётр Гладилин. — М. : Вагриус, 2007. — 320 с.

ISBN 978-5-9697-0514-2

Проза Петра Гладилина — это всегда путешествие, в которое автор не приглашает — увлекает читателя. И в этом путешествии непредсказуемость сюжета (Гладилин умеет его блестяще выстроить) отходит на второй план, становясь фоном, погружая в мир метафор и контекстов, разбираться в которых — задача из интереснейших.

УДК 882-31
ББК 84(2Рос=Рус)

Охраняется законом РФ об авторском праве

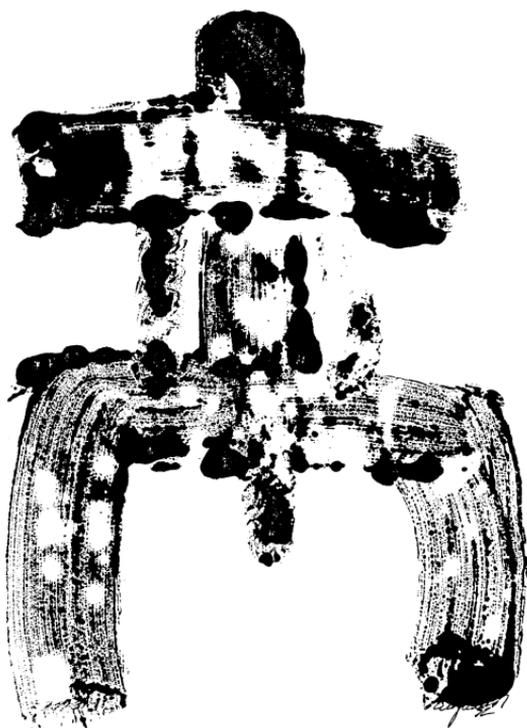
ISBN 978-5-9697-0514-2

© Гладилин П.В., 2007

© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2007

Афродизиак

роман



В один из самых печальных дней моей жизни, когда солнечный свет за окном сжался до узкой щели между стеной и занавеской, вдруг захотелось увидеть огромное небо. Я быстро, как по команде, оделся и выпал из двери дома, словно самоубийца из окна.

Я сладко потянулся, вдохнул холодный влажный воздух, застегнулся на все пуговицы и пошел куда глаза глядят. Под ногами хрустел снег. Снегопад начался во время оттепели и не прекращался ни на минуту. Улица уходила в бесконечность, деревья процеживали снежный напиток, оставляя самое вкусное на ветвях.

Я путешествовал без всякой цели и наслаждался зрелищем умирающего, прожитого на девять десятых, завернутого в белый саван, уже отпетого декабрьского дня. Остановился только один раз, напротив знакомых окон двадцатого дома, что на Поварской улице. Окна были черными, как могильная яма. За этими черными стеклами когда-то жил мой товарищ А. Он умер в прошлом году. Я стоял и вспоминал, как однажды весной мы сидели с ним за столом, разговаривали и пили ароматный чай. Рамы были открыты настежь, в комнату летел тополиный пух... и нашу беседу время от времени прерывал собачий лай, — стоило положить какую-нибудь вещь не на место, старая сука, лежащая на полу чуть поодаль от наших ног, тут же начинала браниться. Она была единственной женщиной в доме и строго следила за порядком.

От воспоминания мне стало горько. Я пошел по пустынной улице. Очень скоро стемнело, я сильно замерз

и решил зайти в букинистический магазин, чтобы согреться. Здесь было тепло и уютно. Посетители разговаривали вполголоса, шепотом. Я взял окоченевшими руками первую попавшуюся книжку, как вдруг... услышал за спиной железный лязг и скрежет паровозных колес. И откуда же взяться этому грохоту, когда магазинчик находится в самой глубине тихого московского дворика? Я посмотрел себе под ноги и увидел, что стою уже не на гранитном полу, как мгновение тому назад, а на деревянной шпале, в самой середине железнодорожной колеи, по которой издали со страшной скоростью мчится на меня пассажирский поезд.

Ужас охватил меня, горло стало не толще конского волоса. Я посмотрел вправо и увидел девушку. Она стояла ко мне вполборота и тащила вверх толстую стальную молнию на коротенькой кожаной куртке, в другой руке держала богато иллюстрированную энциклопедию живописи. Она почувствовала на себе взгляд, обернулась и посмотрела мне в глаза. Я понял, что понравился ей, что она готова начать игру, условия которой мы оба еще не совсем понимали. На голове у нее была тонкая вязаная шапочка, вельветовые брюки туго обтягивали узкие бедра и маленькие ягодицы. Книга вывалилась из моих рук и упала. Книга была не такой уж толстой, страниц двести... но земля содрогнулась, как будто я обронил Тунгусский метеорит. Из окон повывлетали стекла, и с полок посыпались часы, безделушки, монеты и прочие предметы старины, выставленные для продажи.

В этих маленьких и прочных ягодицах таилось столько творческой энергии, столько силы, что ее, пожалуй, с лихвой хватило бы для сотворения нескольких материальных вселенных. Я сразу же почувствовал ее плодотворящую силу и уже без труда мог вообразить, как все

случится, как все это будет, как она забеременеет от одного моего взгляда, как она понесет от моей улыбки, как забрюхатеет от первого сказанного мною слова. Каким страшным, торжественным и прекрасным станет это зачатие! И только она обернулась, и только наши глаза встретились, меня как будто ударило железным фартуком паровоза, буфером, решеткой. Удар был такой сильный, что я рассыпался на множество мельчайших шариков, на несколько тысяч бусинок и горошин. Они ударились об пол и зазвенели и покатались в разные стороны. У девушки оказалась прекрасная реакция. Она все на свете бросила ради меня, она обо всем забыла, она кинулась за горошинами в погоню.

*
**

Я открыл глаза и увидел ее обнаженной, лежащей на боку. Она нанизывала блестящие шарики на крепкую суровую нитку. Нитка топорщилась, поэтому прекрасной незнакомке время от времени приходилось смачивать ее слюной. От волнения у нее дрожали руки. Каждый раз, когда она прикасалась к нитке языком, мои глазные яблоки срывались с веток и летели вниз, вращаясь в полете вокруг своей оси. И каждый раз, когда нитка входила в сердцевину стеклянного шарика, вдоль моего позвоночника проплывала тонкая, как игла, холодная рыба. Я искоса наблюдал за девушкой. Я хотел рассмотреть ее всю, очень подробно, поэтому взял свое лицо и приподнял его на вытянутых руках. Я посмотрел и увидел, что мал, глуп и короток, что слово «самоусовершенствование» намного длиннее меня. В три часа ночи бусы были совсем готовы, осталось только завязать узелок, как вдруг нитка выскользнула из ее рук и все до единой горошины снова разбежались. Она рассмеялась, встала

на колени и стала долго и терпеливо собирать атомы, из которых состояли моя плоть и мой дух.

Так продолжалось долго. Я держал свое лицо на вытянутых руках, она собирала бусы, нитка выскальзывала из ее рук, горошины падали на пол, вдоль моей спины проплывала рыба-игла.

После воскрешения, когда все мои атомы заняли свое место, словно бусины на четках, мы взяли за руки и побежали берегом моря, и меня совершенно не смутило появление волн по одну сторону горизонта, по другую — бескрайней степи. На мне были всего лишь легкие парусиновые брюки и на правой ноге — ботинок, который к тому же был моим собственным сердцем и выталкивал из себя кровь, когда я ступал на него.

— Надо бежать или быстро, или медленно, — сказала она, — но в одном темпе, иначе скоро устанешь.

— У меня болит сердце, — пожаловался я. — Колет на вдохе.

— Посмотрим, — сказала она.

Мы остановились, я расшнуровал свое сердце, аккуратно, чтобы не причинить себе вреда, запустил под кожаный язычок большой и указательный пальцы и, не снимая ботинка, достал из-под пятки острый камушек. Дышать сразу же стало легко и свободно.

Мы бежали, пока не пересекли финишную ленточку, она надломилась, хрустнула и упала к нашим ногам. Ударил гром. Поднялся страшный ветер. Мы рухнули обессиленные на песок. Облака налились свинцом, упали на землю и покатались, сметая все на своем пути, словно огромные мячи, оставляя в песке глубокие борозды. Пошел дождь. Первые тяжелые холодные капли упали ей на живот, и она завизжала как резаная. Вдруг небо раскрылось, и сквозь брешь сплошным мутным, холодным потоком хлынула вода.

— Холодно! — закричала она. — Больше не могу терпеть!

Мне ничего не оставалось, как подползти к ней на четвереньках и закрыть ее собственным телом. На какое-то время (это была одна из самых ярких и счастливых страниц моей биографии) я стал для нее навесом, зонтом, походной палаткой. Дождь шел не переставая.

— Надо развести огонь, — сказала она. — У тебя есть спички?

— Они намокли, — ответил я.

Оказалось, она знала сто четырнадцать способов развести огонь в нижней части моего живота, но выбрала самый простой. Исходными материалами были: деревянная палочка, которую туземец или туземка вращают вокруг своей оси, плотно зажав в ладонях, и еще кусок ее сухой и горячей плоти с небольшим отверстием посередине. Сначала я почувствовал запах жженой коры, а через несколько мгновений вспыхнуло пламя.

Я закричал: снаружи небо прокалывало меня ледяными иглами, а внутри меня сжигали заживо. И еще целовали губы, подбородок, щеки. Я, не в силах терпеть это неистовое наслаждение, орал во всю глотку. И говорил. Я говорил, говорил не смолкая, на языке, которого не знал ни один человек на земле; наконец выбился из сил.

Я лежал, уткнувшись своим огромным сократовским лбом в песок, и плакал. Ее глаза захлопнулись с грохотом, словно дверцы на сквозняке. А на моих глазах кто-то задернул шторы. Я ощутил настоящий прилив восторга. Как будто голубая океанская волна с разбегу ударила меня в грудь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Саша.

**

За окном заскрипела лопата дворника, с крыши обвалился лед, на жестяной подоконник села птица, не удержалась и сорвалась вниз.

— Доброе утро, — сказал я.

— Доброе, — сказала она.

Без вчерашнего макияжа ее лицо было чистым, свежим, без единой помарки.

— Встаю, — произнес я сквозь зубы и сладко потянулся.

— Принеси холодной воды.

— Минеральной?

— Без газа.

Я встал и почувствовал страшную тяжесть в ногах. Потом умылся, принес Саше минеральной воды, причесался мокрой расческой, посмотрел на свое отражение в зеркале, присел на подоконник, сделал глоток красного вина, постоял у окна, посмотрел на метель, набрал полную ванну горячей воды, на руках отнес ее в ванную комнату, положил в пену и сел рядом на кафельный пол.

Все это произошло так быстро, что я невольно задумался о скоротечности жизни. Это были прекрасные и простые события. Они ничего не значили в моей судьбе, но были по-настоящему великолепны. Пусть меня спросят: «Если бы тебе дали прожить еще одну жизнь, ты бы причесался мокрой расческой, ты бы надел чистую белую рубашку? Ты бы набрал для девушки полную ванну теплой воды? Ты бы сел на холодный кафельный пол?» И я бы с чистой совестью ответил: «Да, я сделал бы все именно так».

Саша плавала от одного берега к другому, а я сидел рядом на холодном полу. Она свесила ногу через бортик как раз напротив моего лица.

— У нас сегодня три лекции, — сказала она и вздохнула.

— Ну и?

— Скоро сессия.

— Догонишь.

— Я никогда не буду химиком-технологом, ни-ког-да!

— Кем еще ты никогда не станешь?

— Врачом, я боюсь крови.

— Еще...

— Стюардессой, я боюсь высоты. Учительницей, я могу любить только своих детей. Когда мы заснули?

— Часов в шесть утра, — сказал я и поцеловал ее в щиколотку.

— Сколько тебе лет?

— Тридцать шесть, — ответил я, дотянулся рукой до полотенца и вытер мокрый подбородок.

— У тебя было много женщин?

— Да.

— Я хочу посмотреть на них.

— Зачем?

— Хочу! У тебя есть фотографии?

— Нет.

— Жаль.

— Нам не нужны фотографии.

Я насухо вытер ее полотенцем, высушил волосы, одел потеплее, взял за руку и повел к Москве-реке.

Мы стояли на Бережковской набережной и дули на воду. Вниз по реке плыли лодочки, много лодок, целая флотилия, в лодках сидели молоденькие женщины и пели. Днища плывущих по течению лодок были устланы ароматными полевыми травами, а на головах у красавиц цвели венки.

— Это они, твои женщины?

— Мои.

— Все до одной?

— Все.

— А вон та, хрупконькая, в черном платье, кто она?

— Тая. Оперная певица. Посмотри, у нее в лодке одни только черные розы. Когда мы познакомились, она сказала, что в жилах у нее течет черная кровь. Она любит бархат и тяжелую мебель, бронзу и оперу. Она вышла замуж за огромного толстого сатира. У нее в доме, что на Волхонке, глубокие мраморные подоконники, кабинетный рояль и люстра в четыре этажа. Раскачиваясь на моих плечах, она пела, все громче и выразительней, и за минуту до оргазма брала ноту си первой октавы. Сатир ночами стучит копытами и бьет рогами о стены, она поет, она воет как ветер, их ночные оргии приводят в ужас соседей, мистически настроенных девушек, молодых матерей и священников. Сейчас смотрю на нее, и знаешь, о чем думаю?

— О чем?

— Неужели когда-то мы были двумя половинами одного целого?

— Но она такая маленькая и хрупкая женщина. Она размером с пятикопеечную монету.

— Да, но голос у нее как у десятипудовой примадонны.

Тая запела. У меня на глазах выступили слезы. Пролетающая над водой птица заслушалась, забыла сделать взмах крыльями, упала в воду и утонула.

— А кто в другой лодочке. Вот эта черненькая, вот эта маленькая брюнетка?

— Наташа.

— Она мне нравится больше всех.

— Я видел ее только дважды. Первый раз мы встретились в большой компании. Мы сидели за столом, ужинали и смотрели друг другу в глаза. Мы разговаривали гла-

зами. Молча обо всем договорились и, когда гости раз-
бредлись по дому, заперлись изнутри на ключ в кабинете
хозяина и, не сказав ни слова друг другу, молча...

— Что, не говоря друг другу ни слова?

— Не говоря друг другу ни слова!

— Как рыбы?

— Как глухонемые! Как цветы! Как осьминоги! Как
звезды!

— А которая из них твоя самая первая?

— Та, у которой на голове хризантемы, — сказал я
и показал на девушку с венком на голове.

— На вид не дашь больше шестнадцати.

— Так оно и есть, она умерла и навсегда осталась
юной.

Саша прищурилась, чтобы лучше увидеть свою со-
перницу, провалившуюся в мир Харона.

— Как это случилось?

— У нее был врожденный порок сердца, утром мать
нашла ее мертвой в кровати.

— Давай помянем.

— Одну секунду.

Я сделал широкий жест рукой. Из рукава тут же потек-
ла водка, посыпались закуски и звенящие стаканчики.

— Царствие ей небесное, — сказала Саша.

— Да будет земля ей пухом, — сказал я.

Мы выпили, закусили и снова стали смотреть на воду.

— А вон та худая, в платье с блестками?

— Я ее звал Жираф за выразительные, печальные гла-
за и длинную грациозную шею. Мне было девятнадцать,
когда мы познакомились ночью на улице. Я только при-
ехал в Москву, у меня не было ни крыши над головой,
ни денег! Я погибал от холода, стояла глубокая осень.
На мне был тонкий румынский плащ. Я надевал три сви-
тера один под другой, но и это не спасало. Жираф пригла-

сила меня в гости. На последние деньги я купил бутылку вина. Я грузил хлеб в булочной у трех вокзалов.

— Ты работал грузчиком?

— Сутки через двое. Днем носил тяжелые камни, которые Христос только-только превратил в хлебы, ночью спал на столе для покупателей в торговом зале, рядом с витриной. Когда приезжали машины с горячими булжниками, меня будили, и я опять работал. Рано утром я возвращался домой на метро. Все деньги, которые я зарабатывал, уходили за квартиру. Один день я работал, два дня были свободными.

— Они тебе кого-нибудь родили? Твои женщины?

— Одна родила мне абрикосовую косточку. Другая родила мне линзу от телескопа, третья родила мою любимую книжку. А четвертая родила мне меня самого. Дважды мертвого и трижды живого. А еще была девушка, которая родила мне ласточку, — птичка выпорхнула из гнездышка и улетела так стремительно, что акушер не успел схватить сачок!

— У тебя нет детей?

— Нет.

— А хочешь, рожу тебе ребенка?

— Нет.

— Почему?

— Я не понимаю.

— Что именно ты не понимаешь?

— Человека нет, нет, и вдруг он есть. У меня в голове это не укладывается.

Лодочки несло течением. Смеркалось. Потеплело, пошел снег с дождем. Где-то над Замоскворечьем в небо ушла ракета.

— У тебя было много мужчин? — спросил я больше из вежливости, на самом деле мне было безразлично.

— Очень много, — сказала она.

— Сколько?

— Тысячи две — две с половиной.

— Не может быть!

— Клянусь. И все прекрасно обученные, вооруженные до зубов, готовые в любой момент умереть за любовь.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Сколько ты вешишь?

— Сорок девять килограммов.

— Это мировой рекорд. При весе в сорок девять килограммов, в возрасте двадцати лет у нее было две с половиной тысячи мужчин! Любезность за любезность. Я хочу посмотреть на них.

— Пожалуйста.

— Что для этого необходимо?

— Автомобиль.

— Не проблема.

Я свистнул три раза по два и один раз протяжно. Из кустов выехал мой красный кабриолет. Я открыл дверь пушкинским коготком, сел за руль. Мы вырвались на Ярославское шоссе. Через час машина въехала на старый военный аэродром. На краю бетонной полосы сиротливо стоял трехстворчатый шкаф. Саша приоткрыла дверцу, достала несколько картонных коробок и стала переодеваться. Она надела корсет, чулки, пояс, длинное платье и шляпу с широкими полями. Затем она взяла с верхней полки серебряный горн, приложила его к губам и протрубила сбор. И тут же начался невероятный переполох. Со всех сторон на бетонную полосу бежали молодые люди, они строились по ранжиру и ужасно волновались, отчего суета была необыкновенная. Они кричали друг на друга, мерялись ростом и вытягивали руки по швам. Наконец наступила прекрасная торжественная па-

уза. Я поднял верх у кабриолета, сел за руль. Саша, преобращенная, стала в полный рост справа, и мы стали объезжать войска. Она безумно разволновалась: руки дрожали, как дрожат поздней осенью последние кленовые листья на нижних ветках. Ее губы высохли, влажные глаза стали лучистыми, словно звезды. Когда автомобиль остановился невдалеке от первой колонны, она поприветствовала войска:

— Здравствуйтесь, мальчики!!!

И молодые люди ответили в один голос:

— Здравствуй, милая!!!

От их громоподобного крика земля вздрогнула.

Автомобиль притормозил около второго батальона.

— Здравия желаю, сокровище души моей!!!

И строй грянул во всю мощь своих легких:

— Здравия желаем!

У меня заложило уши. Чтобы вернуть слух, я сглотнул.

Объезд войск закончился, мы вышли из кабриолета.

Саша отдала команду, и молодой солдат, второй в правой шеренге, строевым шагом покинул колонну, остановился от нас в двух шагах и отрапортовал о своем прибытии.

— Как поживаешь, Коновалов? — спросила она.

— Вот именно, не живу, а поживаю.

— Познакомься, это мой новый друг, — сказала она и положила голову мне на плечо.

Парень кисло улыбнулся и протянул мне руку.

— Как себя чувствует Оленька? — поинтересовалась Саша.

— Не знаю.

— Вы развелись?

— Да.

— А как поживает твоя историческая наука?

— Больше не преподаю, пять лет кручу баранку. Я таксист.

— Что случилось?

— Историческая наука больше никому не нужна.

— Ты преувеличиваешь.

— Помнишь, как мы вечерами встречались у меня дома? Это всего лишь небольшой эпизод во всемирной истории. Может быть, самый великий ее эпизод! Его не отыскать в анналах и хрониках. Никто никогда не узнает, как я ждал тебя, когда мои родители уходили в кино, как ты звонила в дверь и я бежал открывать. Ни в один учебник по истории не войдет рассказ о том, как я два дня подряд пытался лишить тебя невинности, и, наконец, на третий день вечером, в тридцать четыре минуты седьмого, мне это удалось. А помнишь, как мы кололи орехи? Как ты заворачивали их в полотенце и стучали по ним молотком?

— Встать в строй, — скомандовала Саша, и я впервые услышал в ее голосе железные нотки.

Коновалов отдал честь, развернулся и строевым шагом пошел прочь.

— А что он такого сделал? — сказала Саша. — Он завоевал Европу? Открыл Америку? Разрушил Трою? Ничего подобного, он просто-напросто лишил меня девственности и считает, будто этого достаточно для того, чтобы войти в мировую историю.

— Я буду звать тебя... Мессалиной, — сказал я.

— Почему?

— Она была такой же распутной, как и ты. У нее было столько же мужчин, даже поменьше.

Мы поднялись на старую деревянную трибунку, что стояла тут же, на плацу. Заиграл оркестр. Войска снялись с места и двинулись мимо стройными рядами, отдавая честь. Я понимал, что акция носит чисто пропа-

гандистский характер, таким образом она демонстрирует свой необыкновенный успех. Поэтому изо всех сил я пытался симулировать абсолютное безразличие к происходящему: чесал затылок, искал в карманах ненужные мне вещи, пытался поймать языком ленточки, спускающиеся с полей ее шляпки, издавал носом странные звуки, икал, свистел носом, терся щекой о плечо, щурился. Оркестр играл егерский марш, поклонники шли строевым шагом в ровных колоннах плечом к плечу. Парни ушли за горизонт, мы опять остались вдвоем под сияющим огромным небом.

— Ужасная музыка, — сказал я.

— Неужели? А мне нравится.

— Я слушаю только гениев.

— А что ты понимаешь в гениях? — спросила Саша.

— Я все понимаю, я даже был знаком с одним, — похвастался я и назвал фамилию очень известного композитора.

— Где ты с ним познакомился?

— Мы с ним играли в теннис на юге, в Сочи.

— Ну и какие они, гении, по-твоему? Какие они в жизни?

— Как мокрый лен, мягкие и прохладные. В них всегда чувствуется некоторый избыток влаги.

— Говори, говори, только не молчи.

— Если, скажем, гению изменила жена, у него на голове вырастают рога избытия. А у простого человека обыкновенные рога.

— Еще.

— От гения всегда сквозит, от них дует, по сути дела, они не люди, они открытые окна. Простудиться рядом с ними — раз плюнуть. В то же время в этих людях, насколько я могу судить, есть нечто параноидальное. Они вязкие, как пластилин. Когда я играл с ним в теннис, у не-

го в животе застревали мячи, я вытаскивал их вот этими пальцами, вот этими вот руками. В гениях самое лучшее — одиночество, когда они сочиняют, гудят, попивают себе чаек из редкоземельных металлов или посыпают мукой рояльные клавиши и взбивают гремящее тесто.

— Я проголодалась, — сказала моя Мессалина.

— Мы сейчас же это исправим. А какое вино любишь — белое или красное?

— Зимой — красное.

Я рассказал ей обо всех своих женщинах, кроме одной, — Саша не увидела Саломею. Когда лодки проплывали мимо, Саломея легла на дно, чтобы остаться незамеченной.

**

Спустя три дня я шел по Малой Бронной от Патриарших к Тверскому бульвару и увидел восхитительного ребенка. Он был весь украшен сусальным золотом, инкрустирован мрамором и слоновой костью — настоящее произведение искусства. Две молодые женщины стояли на коленях и дышали на него.

Моя мама говорила когда-то: «Мой единственный, мой золотой». Но она бы ни за что в жизни не отвела меня к ювелиру. Ее подруги с легкой душой отдавали детей в золочение, но она в глаза смеялась над глупым материнским тщеславием. Ребенком я носился по улицам — весь в песке, щебенке, рыбьей чешуе, бутылочных стеклах. Мои колени были цвета сочной весенней травы. Виноградный жмых и полынь придавали особый аромат моей коже. В ее порах без труда можно было обнаружить все элементы Периодической таблицы Менделеева.

Я выходил из дому и тут же со всего маху падал лицом в грязь; и не важно, что это было: моя неосторожность

или удар в спину лучшего друга. Я знаю эту планету на вкус. И если через четыре тысячи лет после моей смерти один из ангелов Восточного побережья поднесет к моему лицу осколок разлетевшейся вдребезги погибшей планеты, я, как матрос на вантах, закричу: «Земля!».

Я узнаю ее и через миллион лет. Я буду плавать в околоплодном эфире, между раем и адом, неприкаянный и бездомный. Меня не пустят в рай. Я окажусь перед закрытыми воротами, мои возлюбленные, мои гурии будут смотреть на меня сквозь чугунные решетки и плакать. Из ада меня выдворят через две недели за мою неистребимую веру в то, что рано или поздно все образуется, все будет хорошо. Сатана в качестве обвинения предъявит мне мой неистребимый оптимизм.

И я, неприкаянный и бездомный, буду плыть на спине и раскачиваться на огромных волнах в кромешной тьме в беспредельности и беззвездности, и на своем лице, от которого осталось пустое место, одно лишь воспоминание, я буду чувствовать тепло двух поцелуев.

Первым поцелуем, это незабываемое впечатление, меня наградила Господь при рождении. Всю жизнь я нес этот царственный поцелуй на своем лице и поэтому, что бы ни было, всегда был счастлив. Я помню, как моего лба коснулись его теплые губы, из гортани вышел ароматный теплый воздух и согрел всего меня, дрожащего на больничном сквозняке. Я сразу же перестал кричать, поджал под себя колени, повернулся на правый бок и заснул. Два дня я спал богатырским сном, мне снились какие-то архаические сны, из геологического прошлого нашей планеты: жерла вулканов, вогнутые горизонты, магнитные аномалии, Азия и Африка, плывущие навстречу друг другу.

Второй поцелуй — из моего будущего. Им осчастливит меня моя возлюбленная, когда я, умиротворенный,

буду лежать в гробу. Она поцелует меня туда же, куда меня поцеловал Господь: в лоб, и теплый воздух из гортани согреет меня, окоченевшего, приготовленного к тлению. И мне не страшны будут эти вакуумные морозы и пустотные вьюги из отрицательно заряженных элементарных частиц.

Через три с половиной миллиарда лет от моего лица не останется ничего, от него останется только память об этих двух прикосновениях.

Молодые мамы увели мальчика, я с грустью посмотрел ему вслед. Облако, проплывающее над моей головой, слегка накренилось вправо. Стекла домов намokли странным фиолетовым цветом, я вышел на Тверскую. Моим очам предстало странное зрелище: вдоль улицы стояли кресты, на которых были распяты рабы. Я шел к Белорусскому вокзалу, вглядываясь в лица казненных, но не нашел ни одного намека на праведность. Христа среди них не было, сердце мое успокоилось.

Люди двигались по улице, как бы и не замечая чужих страданий: они спешили по делам, парочки прогуливались под ручку, мороженщицы торговали вечной мерзлотой, дети смеялись, бездомные собаки играли свадьбы.

Недалеко от памятника Пушкину я увидел распятого на кресте огромного и очень толстого чиновника. Страна знала его в лицо благодаря еженедельным телевизионным выступлениям. У подножия креста стояли два хиппи. Они пили пиво и непринужденно болтали с казнокрадом. Мне захотелось послушать, о чем они говорят, и я подошел поближе.

— И сколько же ты украл у детей и сирот? — спросил хиппи номер один.

— Два миллиона долларов, — прохрипел распятый.

— Ого, — сказали молодые люди в один голос.

— Надо загадать желание, мы вместе сказали «ого», — сказал хиппи номер два.

— Я загадал.

— И куда ты их дел... такие деньги?

— Прокутил.

— Два миллиона долларов?

— А что, вы думаете, это большие деньги?

— Я на десять долларов живу уже два месяца.

— Собака за жизнь копейки не тратит, — прохрипел распятый.

— Он нас ненавидит.

— Смотри, у него ногти на ногах не подстрижены.

— Не знаешь, кто художественный руководитель казни?

— Понятия не имею.

— Эй ты, жирный, пива хочешь?

— Хочу.

— У нас осталось полторы бутылки на двоих.

— Хотя бы перед смертью узнает, что на земле живут благородные люди.

Хиппи номер два взял копьё из рук легионера, охраняющего крест, нанизал на острие губку, полил губку пивом и поднес к губам распятого.

— Сосет, — сказал с удовольствием длинноносый.

— Нравится.

— Соси, соси... не стесняйся.

— Только что из холодильника.

— Потекло, потекло по усам.

Я почувствовал горячий поток воздуха под ногами, посмотрел вниз и понял, что стою на чугунной вентиляционной решетке. Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу. Я побежал за ней, вытянув правую руку вперед. Она катилась в неведомую даль все быстрее и быстрее, вращалась вокруг оси, уходя от погони. Шляпа притор-

мозила на кромке тротуара, посмотрела по сторонам: сначала на меня, а потом на поток автомобилей. Только я занес над ней руку, как вспыхнул зеленый свет, и она, подгоняемая порывами ветра, снова бросилась наутек. Я преследовал ее, пока один прекрасный незнакомец не схватил беглянку и не отдал мне прямо в руки. Я прижал шляпу к груди, словно родное дитя.

Возбужденный и уставший, я вошел в кафе, сел за столик, посмотрел в окно. Скоро я увидел необыкновенно красивую девушку, она бежала к автобусной остановке с бумажным пакетом в руках. Пакет был весь в крови. Она несла в нем голову своего возлюбленного. Без сомнения, это была Саломея!

Саломею всегда легко узнать. По форме черепа. У Саломеи, а их в нашем городе немало, красивое лицо, но черты лица очень грубые: низкий лоб, огромные надбровные дуги, массивная челюсть... странная и завораживающая красота. Неандертальцы были красивыми людьми. Они инфернальны, они агрессивны, они любвеобильны, особенно женщины.

Я помню, как я впервые в жизни попался в лапы точно к такой же. Это было в феврале 1985 года. Я был приглашен на студенческую вечеринку. Все приглашенные, все до одного, были homo sapiens, все из новейшей истории, только трое из далекого прошлого. Молодой человек, исполняющий на гитаре сентиментальные романсы, явно был потомком проплиопитека, другой, его товарищ по прозвищу Лопата, сохранил родовые признаки гейдельбергского человека. Саломея сидела на диване, обняв руками колени. Она была неандертальцем.

Меня усадили за стол, и девушки, как будто сговорившись, все вместе стали за мной ухаживать. Они меня кормили, поили, они ненарочно касались кончиками пальцев моей шеи, плеча, кончика носа, и одна из них, боже-

ственная Федра, даже пролила фруктовый соус на мои штаны, чтобы иметь счастье взять в руки полотенце и прикоснуться мизинцем правой руки к моему расшитому золотой тесьмой гульфику. Потом кто-то взял в руки гитару и запел. Саломея сидела на диване, облизывалась и молчала. Она смотрела в окно, но я-то знал, что у Саломеи глаза не там, где глаза у обыкновенной женщины, — она видит сердцем. Я знал: она смотрит на меня и набухает влагой, словно весеннее небо перед грозой.

И вдруг хозяин предложил нам всем сесть в круговую и сыграть в одну очень древнюю античную игру, о которой упоминал еще Страбон. Юноши и девушки сели в круг и должны были передавать губами спичку. Когда спичка проходила один круг, мальчик надламывал ее, и она становилась в два раза короче и снова шла по кругу. Скоро спичка стала размером с хлебную крошку. Слева от меня сидела Саломея, справа — Афродита. Я старался как можно быстрее кончиком языка отыскать крошку во рту Афродиты и передать ее Саломее. А Саломея не торопилась с поисками. Она втягивала мой язык себе в горло, так что кончиком языка я чувствовал горечь ее поджелудочной железы. Она не просто глотала мой язык, она пела молча, как рыба, но никто, кроме меня, не слышал ее гортанного пения. И не сидела неподвижно, как это могло показаться остальным: она изгибалась всем телом, как кефаль, выброшенная приливом на берег. И каждый раз, когда этот крошечный кусочек дерева попадал мне в рот, я терял сознание, я забывал и имя сына Господнего, имя города, в котором живу, имя парохода, на котором с мамой впервые в жизни мы совершили путешествие по Черному морю. Меня ждали дома праведники и ангелы, мои любимые книжки, чайники на дне стакана, а я, негодник, в это время раскачивал сердце Саломеи.

Глубокой ночью я проводил Саломею домой. Она жила с матерью и сыном. Мы поднялись на чердак, чтобы провести вместе еще несколько минут. Наверху было тепло и пахло пылью. В углу были свалены старая мебель и строительный мусор. Мы обнялись. Вдруг на нас с небес упала великолепная музыка. Мы остались неподвижными, словно изваяния, зато вся моя кровь за одно мгновение оставила меня, ушла из меня, моя кровь повисла в воздухе, загустела, стала упругой, как резина, и с ее кровью произошло то же самое!

Мы — два бескровных трупа — смотрели, как наша кровь танцует, вертится наподобие странной птицы, кричит, токует, бьет крыльями, клокочет, охает, царапает стальными когтями воздух, взрывается, подпевает, хлопает в ладоши, смеется, вальсирует. Когда музыка смолкла, кровь вернулась в наши вены через давно зажившие раны.

Мы лежали рядом на старой софе и молчали. Я слышал ее тишину, она — мою. Мы жадно поглощали безмолвие друг друга. Я никогда в жизни не слышал, чтобы от женщины исходило такое великолепное, эпическое безмолвие.

Через несколько часов я вышел на ночной проспект, посмотрел на звездное небо и понял, что в это мгновение я превосхожу небо в размерах, что я вобрал в себя все творение, все человечество, все времена, что я первороднее и древнее Адама.

Мы встречались шесть лет. Все свободное время я потакал своему бесконечному любопытству, пытаюсь понять, действительно ли бессмертна моя душа. Пока Саломея зарабатывала на жизнь, я лежал на диване с закрытыми веками и старался разглядеть бесконечность, космос и очертания моей бескрайней души. Иногда долгое пребывание во тьме кромешной вызывало у меня

сильные галлюцинации, и я наблюдал свою душу в качестве молодого испанского быка, разбивающего рогами ребра тореадора, я видел Питера Брейгеля, танцующего на голове этого быка, я видел превосходные жанровые картины из потусторонней жизни, я видел Духа Святого, набивающего на куполе храма невероятные фантастические орнаменты. Я смотрел на мир закрытыми глазами, и мои веки были словно железные ворота, которые бдительно охраняли часовые — два ангела с мечами.

Двое пернатых солдат около моей переносицы сияли и пели, и они, невидимые, придавали моему взгляду необыкновенное очарование и воинственную кротость.

И вот так однажды я лежал и купался в угольном мраке, когда со скрипом отворилась дверь и вошла Саломея в кожаном фартуке с щипцами и молотом в руках и сказала:

— В доме шаром покати, я голодна, как волчица, неужели ты не можешь заработать хоть немного денег?

— Я могу накормить тебя только образами.

— В твоих образах слишком мало калорий.

— Но я не хочу работать. Я не создан для труда.

— Ты будешь работать, я нашла тебе место.

— Сначала нужно было спросить у меня.

— Это совсем не обязательно, — ответила Саломея, схватила меня кузнечными щипцами и бросила на наковальню. После первого удара молотом я потерял дар речи и желание во что бы ни то стало, при любых обстоятельствах, несмотря ни на что, оставаться существом мыслящим. Я окошел и превратился в кусок сырого чугуна. Она бросила мое несчастное тело в печь и не вынимала до тех пор, пока я весь не раскалился докрасна и не стал мягким, словно воск. После снова схватила меня клещами и сунула в бадью с холодной водой,

и к моему телу навсегда, на всю оставшуюся жизнь, прикипел легкий пигмент. Я стал смуглым, закаленным мужчиной со стальными мышцами. От моего тела валил пар, моя душа вышла из тела и повисла над кузнечными мехами.

Саломея зажала меня в патрон фрезерного станка и запустила адскую машину, на пол посыпалась тонкая стружка. На небе появилась вторая луна, на мои глаза навернулись слезы. Где-то невдалеке запел хор кастратов. Тем временем Саломея просверлила в моей несчастной голове два огромных отверстия, взяла в руки напильник, оскопила заусенцы, сверила мои размеры с габаритными чертежами при помощи штангенциркуля. Эти легкие прикосновения циркуля к моей стальной, по-прежнему чувствительной коже вызвали легкий озноб, и новое тело, имени которого я еще не знал, покрылось мурашками.

Остро отточенным химическим карандашом на грязном листке технической кальки Саломея написала: «ВМ-144 — приступка, качающаяся для бюрократической машины, оклад четыре тысячи триста рублей в месяц». Она завернула меня в эту бумагу, положила на оцинкованный стол и ушла.

Между тем в моей голове беспорядочно двигались катионы только что прочитанной книги, и, лежа на холодном и местами заснеженном верстаке, я пытался вспомнить несколько строчек из Лотреамона. Что-то вроде: «От Бастилии до Мадлен больше совсем не видно омнибусов». Я ощущал свою новую форму и очень хотел посмотреть на себя в зеркало, но зеркала нигде не было. Еще я чувствовал движение жизни где-то очень далеко отсюда, движение каких-то безымянных планет. Они со скрипом двигались по несмазанным орбитам. Они шли вперед, как скот, как ломовые лошади.

Не случайно, подумал я, человечество начинало свою историю с рабства. Оно в звездном небе, оно повсюду! Ах! Если бы я сотворил мир, я бы сотворил его свободным, мои планеты не скрежетали бы орбитами, они бы парили в вакууме, и люди, живущие на этих планетах, никогда бы и ни за что не толкли друг друга в чугунных ступах и не варили заживо в медных котлах. И не создавали бы космогонические системы и философские концепции по образцу этого изувеченного жестокостью мира.

Но вот наступило утро, ухнул фабричный гудок, рабочие вошли в цех, меня схватили чьи-то натруженные руки, вставили в какой-то очень сложный механизм, за моей спиной закрыли приборный щиток и резким движением рванули рубильник вниз... я закрутился, завертелся с бешеной скоростью. Я пришел в себя с большим трудом только через восемь часов, когда ручку рубильника рванули вверх и мой трудовой день закончился.

Домой я пришел изможденный, выжатый, почти неживой.

— Это не жизнь, — сказал я Саломее.

— Зато теперь у нас будут деньги.

Я ничего не ответил. Каждый день три месяца подряд я был колесом в страшной и жестокой бюрократической машине. Я отдавал деньги Саломее, и она была очень довольна. До тех пор, пока однажды я не решил покончить со своей карьерой. И сколько меня ни смазывали маслом, ни притирали, я все равно дал трещину. Однажды я пришел домой и сказал: «Все!»

Я хлопнул дверью с такой силой, что дом, в котором мы жили и несколько лет назад впервые занимались любовью, перевернулся вверх тормашками и встал на крышу, но в этом было свое преимущество, потому что обитатели подвалов увидели наконец звездное небо.

Я шел по улице счастливый, свободный и поджигал автомобили. Но не все подряд, а только те, в которых целовались влюбленные. Влюбленные корчились, звали на помощь и сгорали дотла, но я не сочувствовал, я не верил в любовь.

На перекрестке кто-то закричал, я обернулся и увидел, что за мной по пятам бежит моя кровь, я прогнал ее через центрифугу, отсекл кровь молотобойца, вылил в сточную канаву, вернул свою кровь себе в вены и пошел дальше. Мой путь лежал в город, в котором правит Гораций...

Пока я предавался воспоминаниям, разглядывая прохожих через окно, испортилась погода. Я расплатился с официантом. Небо затянуло серыми свинцовыми облаками. В баре работал телевизор. Сначала говорил ведущий, а потом стали транслировать репортаж с западного побережья Соединенных Штатов: статуя Свободы выбросила факел к чертовой матери, разделась донага, сбросила головной убор, украшенный острыми шипами, бросилась в волны и поплыла кролем.

Неужели существо, олицетворяющее собой свободу для всего человечества, не имеет права ополоснуться? Она плыла легко и уверенно все дальше от берега. Я мысленно пожелал ей счастливого пути.

И только за мной закрылась роскошная стеклянная дверь кафе, как с неба посыпались спичечные коробки. Миллиарды спичечных коробков, словно весенний ливень. Они стучали по тротуару, по головам прохожих, по крыше проезжающего мимо трамвая. Я нагнулся, поднял один коробок с земли и открыл его. В коробке была марихуана. И я понял, что загаданное желание хиппи номер один и хиппи номер два, произнесших час назад в один голос «ого», наконец осуществилось.



Я отвез Сашу домой. Был поздний вечер. Еще одна ночь бродила в моей крови. Я чувствовал на губах привкус ее шелковистой кожи, помнил, прекрасно помнил, как сокращались ее мышцы, как она выплевывала из себя мое Я, мое твердое и необыкновенно амбициозное эго. Мы стояли у порога ее дома. Луна в небе издавала неестественные звуки. Она хрустела, как фольга, и умкала, как рыба. Звезды на небе имели совершенно идиотский вид. Трава и деревья мечтали о преступлении.

— Отец дома, я вас познакомлю, — сказала она.

— В другой раз.

— Я тебя не отпущу!

— Нам пора расстаться хотя бы на несколько дней.

— Нет.

— До завтрашнего вечера.

— Нет.

— Я хочу побыть один.

— Хорошо, уходи, — сказала она.

Я поцеловал ее, спустился на лифте и пошел сначала по бульварам, потом свернул в переулок, вышел на Спиридоновку и дальше, дальше — куда глаза глядят. Примерно через час я вернулся домой и увидел Мессалину на пороге своей квартиры. К ее ногам робко жался огромный кожаный чемодан. Он скулил и жалобно повизгивал.

— Открывай дверь! — сказала она совершенно безапелляционным тоном.

У меня не было сил спорить. Я пропустил ее вперед, накормил, солгал пару раз, отвечая на бессмысленные вопросы, поцеловал в шею и оставил одну в спальне. Перед сном я еще раз вошел попрощаться и пожелать спокойной ночи. Саша развешивала свои платья на вешалках в моем гардеробе.

— Мои вещи, — сказала она, — будут вот в этом отделении, справа.

— Пусть повисят до завтра.

— Не уверена, что только до завтра.

— Я не думаю, что в моем шкафу им уготована вечность.

— Я приехала навсегда. Неужели не ясно?

— Я привык жить один.

— Теперь в твоей жизни есть цель, у тебя есть человек, о котором ты сможешь позаботиться.

— Не думаю, что у нас получится, — сказал я, выключил свет и ушел. Я победил. Я представил ее стоящей в крошечной тьме перед раскрытым шкафом. Только я об этом подумал, как в спальне на пол упало что-то очень тяжелое (наверное, искала выключатель и перевернула стул), а потом вспыхнул свет. Пол в коридоре засветился, как море в лунную ночь. Я повернулся на правый бок и сразу же заснул.

Через час я проснулся от странного шума. Одно из Сашенькиных платьев сбежало из гардероба, побежало, стуча пятками, по паркету сквозь все комнаты и с криком вылетело в окно. Я вышел из дома, нашел платье, вернулся и повесил его на вешалку. Не успел я сомкнуть глаза, как оно опять принялось бегать по комнате как угорелое. Я снова бросился вдогонку. Четверть часа мы бегали по комнатам, как два борзых щенка, дважды я касался его пальцами, но каждый раз оно выскользывало, смеялось и дразнило меня.

Скоро я выбился из сил и возненавидел это платье всей душой. Если быть откровенным, оно мне не нравилось: слишком узкое, короткое и без рукавов. Наконец я его загнал в самый угол за холодильник, схватил и повесил на спинку стула. Правильно ли я сделал, что пове-

сил его на спинку стула? А не лучше ли было порезать его в мелкие клочья столовым ножом?

Размышляя об этом, я встал на четвереньки и тихонечко пополз по коридору в кабинет. Я побоялся встать в полный рост, мне померещилось, что все дверные проемы в моем доме только что стали значительно ниже, в пояс высотой.

Вдруг в мои бока впились две стальные дуги, ударившие с обеих сторон. Они чуть было не разрубили меня пополам. Они ударили с такой мощностью, что из меня брызнула мутная жидкость. Глаза закатились. С этой минуты меня можно складывать пополам, как перочинный ножик. С этой минуты я навсегда утратил свою человеческую цельность. Дрожащей, слабой рукой я прикоснулся к стальным скобам, и оказалось, что это были чудесные ножки моей Мессалины.

— Где ты шляешься по ночам, милый? — услышал я ее мельхиоровый голосок.

— Доброй вам ночи, госпожа Мышеловка, — сказал я.

— Наивный, ты думаешь, я сплю?

— Будь хорошей девочкой, разведи колени, мне дышать нечем.

— А ты не убежишь?

— Клянусь!

— Итак, мы не договорили... Так почему же закончилась история человечества? — спросила она шепотом.

— Закончилась потому, что в прежние времена дамы носили длиннющие платья, — продолжил я брошенный позавчерашний разговор, — под ними рождались и умирали цивилизации, создавался эпос. Вы, современные женщины, обрезали, обрубали, оскостили свои роскошные платья, вы дошли до самого края бездны с ножницами в руках. Куда еще короче? Дальше некуда. Еще

один сантиметр выше — и вы все сорветесь в пропасть. Ощущение прекрасной тайны ушло, покинуло этот мир. Раньше достаточно было показать одну щиколотку, чтобы началась новая эпоха в музыке и живописи. А у святой Елены знаешь какое было платье — пышное, как вязанка из пятнадцати взрослых платанов.

— Мне нравится твой голос, говори, не молчи.

— Прошу тебя, разведи колени, дай вдохнуть! — Какие у нее сильные ноги!

— Нет!

— Умоляю!

— Нет!

Я поцеловал ее в шею и провел ладонью по внутренней стороне бедра. Она вздрогнула, но не ослабила стальной зажим.

— Мне было страшно, — сказала она.

— Страшно?

— Я проснулась от ощущения, будто из меня ушла вся кровь, будто ураганный ветер сквозит в моих венах, и птицы, сопротивляясь потоку воздуха, остановились, застыли, окаменели в небе. Я протянула руку вправо, а тебя рядом нет.

— Я привык спать один в своей постели.

— Мы будем спать вместе.

Положение мое было не из лучших, я не мог сказать, что думаю: мне не хотелось прикипать к ней душой, спать в одной постели и видеть чужие сны. Я не смог вырваться из ее капкана и до утра, не смыкая глаз, лежал рядом и слушал ее дыхание: ее вдох. Ее выдох. Ее вдох, ее выдох.

Казанова смотрел на меня, открыв рот от удивления.

Канкан опустил ноги и ушел мыть посуду.

Череп гения лопнул по швам; его жена бросилась за нитками.

Колеса полигамии превратились в квадраты Малевича. Мою душу защемило дверью.

Шел двадцатый день нашей совместной жизни. Я набрался терпения. Я ждал, когда Мессалина покинет меня, и топором на собственном сердце делал зарубки, отмечая каждые совместно прожитые сутки. Она насильно заставила меня спать в одной постели, есть из одной тарелки, смотреть в одно окно и все движения тела и души производить синхронно. Я напрочь лишился всего своего: личной жизни, одеяла, мироощущения, свободного распорядка дня и, главное, времени и бриллиантового одиночества, которое многие годы являлось важнейшим из моих наслаждений, смыслом существования. Это была трагедия.

В пятницу мы проснулись очень поздно, часа в три пополудни. За окнами выла метель. Голые деревья стучали ветками и дрожали от холода. Вдобавок кто-то делал перестановку на небе. Луна уподобилась платяному шкафу. Какие-то незнакомые люди переносили ее с места на место, из комнаты в комнату и страшно матерились. Они тащили Луну по полу, она то и дело падала, и от грохота мой дом готов был развалиться на куски. Я вытащил меч из ножен, постучал им по трубе парового отопления, после чего Луна упала в последний раз, погасла и стало тихо.

Во Вселенной наступила удивительная тишина. Саша проснулась, встала с постели, привела себя и свои чувства в полный порядок и до обеда кружила вокруг меня, задумчивая и молчаливая. Она плавала вокруг меня, словно диковинная, экзотическая рыба, церемониально совершая круг за кругом, и молчала. Иногда она открывала рот — оттуда выплывали огромные пузыри, — но так и не решилась ничего произнести. Я же достал из стола

острый перочинный ножичек и стал затачивать карандаши один за другим, стараясь сделать вид, будто и не замечаю, как накаляется атмосфера. Когда все карандаши были очень остро отточены, я достал дневник и записал:

«Глупо судить обезличенного человека с позиций обезличенной совести. Вообще человека с позиций некой абстрактной совести. Совесть вообще, принадлежащая всем и не принадлежащая никому, — это всегда орудие инквизиции. Зато совесть, имеющая отношение только к одному человеку, есть истинный Бог.

Невозможно воскресить человека по анонимке или строчке в судебном деле. Для воскрешения человека понадобится дух. И когда меня спрашивают о том, что такое дух, я отвечаю: это вещество, которое необходимо для вашего бессмертия. Живите духом, наслаждайтесь духом, укрепляйте не только душу, но и свой дух. Иначе как же Господь станет воскрешать вас, друзья мои? Мир, в котором вы живете, противен духу. Как будто все и создано в этом мире, и сам он так устроен, чтобы выдавить из человека дух по капле, обезличить человека и сделать его фигурой малозаметной. Сделать из существа бессмертного существо ничтожное и тленное. Но я не унываю. Я всю свою жизнь сражаюсь за собственный дух, посмотрите на меня. Я несу огромные потери. Я дважды был разбит наголову, я бежал с поля боя, я много лет зализывал собственные раны, и некоторые из них кровоточат до сих пор. Мой дух терпит, скорбит из-за моей нерешительности и слабости. Но я не сдаюсь, я готов сражаться и дальше. Сражаться и радоваться. Но как прискорбно, если бы вы только знали, видеть вас, обреченные. А вы действительно обречены, если ваши души пусты, как орех.

Когда душа покидает тело человека, его родные скорбят и плачут: какое горе! А когда дух покидает тело человека, никому и в голову не придет пролить хотя бы одну

слезу. Если душа покинула тело, человека отпевают и хоронят, но что делают с человеком, которого покинул дух? Никто ему даже не посочувствует. Потерял вечность, потерял бессмертие. Ходит и смердит. Непогребенный. Амен!»

Я положил карандаш на стол, закрыл глаза и успокоил сердце. Только что я держал в своих руках человечество. Тяжесть необыкновенная. Только спустя несколько мгновений я понял, что мог надорваться.

— Что с тобой происходит? — спросила Саша. — Ты белый как мел! Все утро что-то пишешь, разговариваешь сам с собой, я хочу знать, о чем?

— ...

— Не хочешь мне рассказать?

— Выйду на свежий воздух, пройдуся, мне надо кое-что обдумать.

— Ты хочешь идти один? Не возьмешь меня с собой?

— Нет.

Это было фатальной ошибкой.

— Тварь, гигантский паук, — взорвалась Мессалина, — насекомое, набитое старыми книгами, упрямством, похотью. Ты меня с ума сводишь своим многозначительным молчанием. Весь день что-то бормочешь себе под нос. А ночью набрасываешься на меня и прокалываешь кожу чуть пониже живота своим остро отточенным жалом. И как следует потрудившись над тем, чтобы сделать ранку пошире, наконец впрыскиваешь свой яд! Твой яд не только умертвляет меня, он растворяет меня изнутри, он переваривает мое тело, мою душу! Он съедает мою память, мою нежность, мою наивность. И ты, объевшийся сладкого нектара, уползаешь в свою нору, закрываешь за собой дверь и водишь указательным пальцем по белым страницам вдоль строчек, пока не покраснеют белки глаз и книга не выпадет из рук.

— Истинная правда, — сказал я, — еще никогда в своей жизни я не наблюдал, чтобы так много правды находилось в одном месте. Правда, и ничего, кроме правды. Авгиевы конюшни, из которых сто лет не выгребали правду.

Начался скандал!

В природе что-то расстроилось.

Из мокрого гроба поднялся юго-восточный ветер. Сначала в воздухе летали обрывки чужих писем и солома, а уже через несколько минут — мертвые ведьмы и деревья, вырванные с корнем, барсуки, выдры, груды искаженного металла, трактора, сенокосилки, лопаты и мотовилки.

Моя Мессалина была в центре этого стихийного бедствия. Воронка урагана находилась у нее во рту. Я любовался разбушевавшейся стихией и даже не пытался понять, в чем именно меня обвиняют. Я не слышал слов. Я любовался стихией... до тех пор, пока летящая по ветру тарелка не ударила меня в колено. Боль была нечеловеческой. И тогда я одним волевым решением прекратил шабаш.

Я терпеть не могу беспорядка в космосе! Я с детства привык к тому, что все планеты движутся только по своим орбитам, а вещи — ботинки, книги, гантели — лежат на своих местах! Я не люблю, когда солома и мотовилки носятся в воздухе. Я опрокинул Сашу на спину и закрыл ей рот ладонью.

Сразу же настала тишина и благодать. Не было слышно ничего, кроме трения локтей и коленок о ковер и ее заунывного мычания. Боролись мы недолго. Я положил Мессалину на обе лопатки, приспустил ниже ватерлинии ее кружевные трусики и совершил нечто такое, отчего благодати в мире и тишины стало еще больше. А потом прибавилось еще и еще. И поскольку сам святой Августин

тин когда-то сказал мне, что благодати в мире всегда мало и ее не может быть слишком много, я еще и еще раз повторил приятное во всех отношениях внушение, которое, с одной стороны, несло в себе колоссальный нравственный заряд, но, с другой стороны, само по себе было абсолютно аморально.

Безумие закончилось, на море наступил штиль. Отовсюду слетелись птицы и сели на воду. Саша стала шелковой и гладкой.

— Уже стемнело? — прошептала она печально и нежно.

— Еще нет.

— Ты хотел пойти прогуляться?

— Хотел.

— Пожалуйста, возьми меня с собой.

— Жду тебя на улице, одевайся потеплее, сегодня холодно. Пойдем куда-нибудь пообедаем.

Саша встала на колени, постояла минут пять, отдышалась, как-то странно дернула плечами и головой, как будто захотела сбросить с себя сладкий и ужасный сон, поднялась на ноги и, держась за стены, ушла к себе в комнату.



Рядом с моим домом был чудесный парк. Я присел на заснеженную лавочку и стал ждать, преодолевая волчий, звериный голод. До моего слуха донесся лязг железных колес и паровозные гудки. Солнце коснулось горизонта, воздух стал розовым, а с ним вместе снег, мои руки, стены домов и лицо каменного истукана, стоявшего около пруда в назидание будущим поколениям.

Я увидел маленького белокурого мальчика лет пяти-шести, идущего босиком по снегу. Он подошел, посмотрел

рел мне в глаза и протянул руку. Я положил ему в ладошку пять рублей. Мальчик положил монетку в карман и стал молча, глядя мне в глаза, переминаться с ноги на ногу.

— Что еще? — спросил я.

— Ножки замерзли, — сказал он.

— Чем же я могу тебе помочь, душа моя?

— А можно согреть ножки у вас в карманах?

— Каким образом, милый?

— Я залезу вам на плечи и засуну их в карманы вашего пальто.

— Хорошо, — согласился я, — они у тебя чистые?

— Чистые, — сказал он, повернулся ко мне спиной и показал свои пятки. Я в жизни не видел пяток удивительнее. Это были кристально чистые, дистиллированные пятки.

— Ну, валяй!

Мальчик за одну секунду забрался мне на плечи, засунул ноги в карманы моего пальто и замер. Он застыл от счастья, он сидел смирно, он оказался очень примерным ребенком. Я достал из-за пазухи маленькую книжку стихотворений Бертрана и стал читать, пользуясь последними лучами огромной, отвесно падающей звезды. Я так увлекся стихами, что забыл о моей ветренице, о мальчишке, что сидел у меня на плечах, и обо всем на свете. Однако очень скоро меня оторвали от созерцания потустороннего мира. Как будто из-под земли передо мной вырос большой гриб в образе юноши лет четырнадцати. Он положил к моим ногам шляпу, достал из футляра трубочку и стал играть забористую молдавскую музыкачку. Я выдал ему щедрый гонорар, и он тут же ушел с довольной улыбкой на лице. Не успел исчезнуть флейтист, как ко мне на деревянной тележке подъехал инвалид и предложил почистить ботинки.

На его бороде я заметил крошку хлеба и подумал: «Как же я хочу есть, господи, я в сто раз голоднее всех нищих, когда же она наконец оденется?» Несколькими быстрыми и широкими движениями инвалид отполировал мыски моих ботинок до блеска. Они засияли, как венецианские зеркала, я посмотрел на свое отражение, поправил прическу, выдал ему гонорар. Между тем мальчик спрыгнул на снег, поблагодарил меня и пошел прочь, что-то напевая себе под нос и пританцовывая.

Из подъезда вышла Саша, взяла меня под руку, и мы пошли по бульварам. Я показал на белые, провисающие под тяжестью снега и льда телеграфные провода.

— Что это, знаешь? — спросил я.

— Провода.

— Это нервы империи, — сказал я, — они белого цвета, по ним движутся сигналы от головного мозга к органам власти.

— Допустим.

— А заводы и фабрики знаешь почему из красного кирпича?

— Ну, конечно, не знаю.

— Потому что они плоть империи. Смотри, какой кровавый закат.

— Отчего небо такое зловеще-багровое? — спросила Саша.

— Потому что в небе накопилось очень много зла. В атмосфере скапливаются отрицательно заряженные ионы. В прежние времена этой стране приходили на помощь чудо-богатыри. Меч был анодом, а щит катодом. Сражаясь, они как бы разряжали атмосферу, при ударе одного меча о другой происходило короткое замыкание, сыпались искры, небо приобретало естественный цвет.

— Где же они теперь, эти чудо-богатыри?

— Алеша Попович и Добрыня Никитич не прошли допинговый контроль, они лишены права подвига на пять тысяч лет.

Минут через десять мы вошли в ресторан, бросили шубы в лицо метрдотелю и сели у окна.

К нам подошел официант. Пока Мессалина читала меню, я из любопытства заглянул под стол, но ничего любопытного не увидел. Саша сидела на стуле, положив ногу на ногу. Ботинки официанта были покрыты тоненьким слоем пыли. Пол был из белого мрамора весь в прожилках. Только я вернулся в нормальное вертикальное положение, как сразу же задумался над своим собственным любопытством: что я искал там, под столом?

— Хрустящий салат, кукумбер, рулетки «Прыгни в рот», фондю, малиновое суфле, «Шато Арго», и достаточно пока, — повторил за Мессалиной официант.

— И «Чивас Ригал», — добавил я. — И побольше зелени. И побыстрее, если можно.

— Смотри, видишь, там, у окна сидит очень известная актриса, — сказала Саша.

— Вижу.

— Как же ее зовут?

— N, — сказал я.

— Это она, точно, это N.

— Не смотри на нее, это некрасиво.

— Я тоже хочу быть актрисой.

— Неужели?

— Перестань, я не шучу.

— То есть раньше ты никогда о театре и кинематографе не мечтала, а теперь тебе захотелось на подмостки?!

— Я умру, если не стану актрисой.

— Прекрасная смерть, можно позавидовать.

— Я сижу вот здесь с тобой и до сих пор не знаю, кто ты.

— Я и сам не знаю, кто я.

— Так не бывает.

— Правда! У меня нет представлений о самом себе, потому мне нечему соответствовать. Поскольку я свободен от представлений о самом себе, меня тем более не интересуют представления обо мне других людей, о которых у меня тоже нет своего мнения. Я ноль, я вино — чувствуешь, пока пьешь, я афродизиак, я трение воздуха об алюминиевое крыло самолета, возбуждающая отравка, космическая лотерея. Я соткан из осенней цветочной пыли и похоти молодого тигра. Я Восток и Запад. Я больше, чем человек. Я макровзрыв в пределах Вселенной. Ты хочешь стать актрисой, а я уже стал факелом, который несет над головой освободившееся человечество. Отливы и приливы — все происходит под моим неусыпным руководством.

— А что-нибудь конкретное ты умеешь делать? У тебя есть профессия?

— Нет.

— Когда-нибудь была?

— Никогда не было.

— А на что ты живешь?

— Что бог пошлет.

— Пока ты ждал меня, я перерыла вверх дном всю твою квартиру.

— Что-нибудь интересное нашла?

— Я знаю одно — деньги у тебя водятся. Откуда они у тебя?

— Я счастливый человек.

— И тебе за это деньги платят, за то, что ты счастливый человек?

— Заплатили одновременно.

— Кто?

— Небеса!

— За что?

— Я воплотил в своей жизни самую заветную мечту человечества. Как только человек появился на этой планете, он мечтал только об одном: чтобы все его оставили в покое. Мне заплатили за то, что я никому не нужен.

— Ты нужен мне.

— Нет.

— Если я уйду, ты по мне скучать не будешь?

— Не буду.

— Значит, ты меня не любишь.

— Не люблю, — сказал я.

— Сейчас встану и уйду! — сказала она.

— Скатертью дорога.

— У тебя нет души.

— Есть у меня душа. Но я не позволяю другим манипулировать моей сентиментальностью. В кино, когда я чувствую, что меня хотят нарочно довести до слез, я ухожу из зала. Да, я сентиментален! Пусть сделают так, чтобы я заплакал незаметно для самого себя. Не надо грубо играть на моих чувствах.

Саша не ответила. Она принялась за салат, а я выпил минеральной воды.

— Если я не стану актрисой, я умру, — еще раз повторила она.

— Перед смертью не едят с таким аппетитом.

— Умру тебе назло, — сказала она и проглотила маслину.

— Кстати, она тебя заметила.

— Кто?

— N.

— Я подойду к ней. Я хочу познакомиться.

— Иди.

— Нет, страшно.

Я посмотрел за окно: серебряная крошка летела мимо фонарного света и блестела. В ресторан вошел чело-

век лет пятидесяти пяти, с прекрасной осанкой, седой как лунь. Он сел за стойку и закурил. Играла музыка, Мессалина что-то говорила мне о Мольере и Пиранделло, но я ее уже не слышал; за окном топталась и громко дышала зима. Лунь за стойкой опрокинул стопку коньяку, актриса достала из сумочки маленькую книжку, положила ее на стол и накрыла сверху ладонью, как будто клялась на Библии, потом открыла и стал читать вслух своему приятелю. Тот что-то писал на салфетке и улыбался.

— Ты эгоист. Зачем ты живешь, задумывался когда-нибудь об этом всерьез?

— Только ради своего маленького личного счастья.

— И тебе не страшно?

— Жизнь одного счастливого человека есть оправдание существования одного миллиона несчастных. Потому что если на миллион нет ни одного счастливого, тогда человечество — полная неудача, полный провал, это законченный абсурд. Это кажется, что я живу только для себя. На самом деле я каждый день совершаю подвиг. Я пожертвовал собой ради миллионов и миллионов обреченных на серую и беспросветную жизнь. Я принес себя в жертву. Мой долг быть счастливым.

— Допустим, — сказала Саша. — Но, для того чтобы ты стал по-настоящему счастливым, тебе нужна женщина, такая, как я.

— Я тебя четвертую.

— За что?

— Если я не смогу без женщины, такой, как ты, быть счастливым, а мы познакомились с тобой несколько недель тому назад, значит, до этого я не то что не был счастлив; значит, я и не жил еще. Когда человека убивают, его лишают будущего. Ты хочешь лишить меня прошлого. Это страшнее смерти. Я всегда был счастлив; независимо

от того, есть ты в моей жизни или нет, я всегда буду счастлив.

- Это была не жизнь.
- Это была прекрасная жизнь.
- Заблуждаешься.
- Что на десерт?
- Не надо.

А потом она подумала секунду и сказала:

— Кофе и мороженое, шоколад и еще кусочек сырного пирога.

Я передал просьбу официанту и стал медленно, по капле опускать виски в глотку... Я вдруг понял, почему полчаса тому назад заглянул под стол. Мне захотелось увидеть ее маленькие босые ступни. Не ноги, а именно босые ступни. Я еще раз заглянул под стол и сказал:

— Так, значит, ты хочешь стать актрисой?

— Хочу.

— Тогда пойдем потихонечку отсюда. Я приведу твою мечту в исполнение.

**

Мы взяли у портье ключи и поднялись на лифте на седьмой этаж. Номер оказался очень уютным. Я закрыл дверь на два оборота. Мы не стали включать свет, разбежались и бросились в воду. Течение тут же подхватило и понесло нас. Мы плыли к верховьям, преодолевая пороги, мы нерестились до трех ночи. Когда позади остались десятки, сотни морских миль, мы решили немного отдохнуть и остановились. Я достал из бара бутылку колы, открыл и стал жадно пить из горлышка.

- Что-нибудь не так? — спросил я.
- Ты едва не проткнул меня насквозь.
- Не выдумывай.

— Я почувствовала, как он выходит с обратной стороны.

— С обратной стороны земли? — сказал я.

— Он у тебя какой-то потусторонний.

Вдруг моего слуха коснулся чей-то смех. Смеялись близко.

— Что это? — спросила Саша.

— Не обращай внимания.

— Мне страшно.

— Ничего не бойся, я с тобой.

— Кажется, мы здесь не одни.

— Не выдумывай, — сказал я, — смотри, снег идет.

— А тебе не кажется, что он какой-то странный, не настоящий.

— Что ты сказала?

— И фонарь подозрительный, как нарисованный.

Я встал, подошел к окну, открыл раму и взял немного снега с подоконника. Это был поролоновый, искусственный снег.

— Да, ты права, милая, — сказал я, — все вокруг не настоящее. И этот город, и этот снег, и эта планета — все сделано на скорую руку из папье-маше и покрашено сверху гуашью. Это дешевая декорация, на фоне которой сделают моментальный снимок под названием «Наша жизнь», а после этот снимок потеряется среди миллиардов точно таких же. Посмотри, и луна вырезана из старого картона.

— Я хочу петь, — сказала Мессалина, забралась нагишом на стул и запела. Я застыл, словно ящерица, я окаменел. Я превратился в слух. Мое сердце остановилось. Вселенная распалась, человечество сгнуло, звезды превратились в пыль, осталась только незатейливая мелодия и мое сердце. Я не дышал. Я стал воздухом на ее губах.

Скоро песенки не стало. Последний куплет оказался каплей животворящей влаги, упавшей на раскаленную сковородку. Песенка испарилась. Вдруг откуда-то выплеснулось море аплодисментов. Они гремели, как океанский прибой, и не затихали ни на мгновение.

— Тебе аплодируют.

— Кто?

— Не знаю.

— Куда ты меня привел?

— Минутку, — сказал я и нажал на выключатель. Высоко под потолком вспыхнула огромная многотонная хрустальная люстра. Стало светло, как днем. И оказалось, что наша кровать стоит в самом центре сцены Московского художественного театра. Зал был битком. Зрители в партере поднимались один за другим и аплодировали. Не говоря друг другу ни слова, мы схватили одежду и бросились за кулисы.

Я оглянулся. Лепестки роз парили в воздухе, как тополиный пух в первые дни лета.

Через служебный вход мы выскочили в Камергерский переулочек. Здесь мне в глаза бросилась огромная, в полнеба афиша, наклеенная на стену, на которой было начертано: «Колосс и Даная».

Сценическое действие в трех актах.

Я сорвал плакат, но несколько букв от моего имени остались на стене. У меня изо рта шел пар.

— Я возьму это. На память о твоём успехе.

— Я стану актрисой, великой актрисой, вот увидишь. Я не о таком успехе мечтаю!

— Другого у тебя никогда не будет.

— Откуда тебе известно?

— Для того чтобы стать актрисой, нужно иметь призвание.

— Откуда тебе известно, что у меня нет призвания?

По дороге домой, когда мы ехали в такси, я увидел огромную ржавую бочку, в которой полыхал огонь, и сделал великое открытие.

— Теперь я знаю, как варвары сожгли Рим, — сказал я Мессалине.

— Как?

— Они запустили его в космос! Некоторое время он двигался по орбите вокруг Земли. Вообрази себе трибуны Колизея, дома, улицы, площади, двигающиеся в крошечной тьме в безвоздушном пространстве. Потом город стал терять инерцию и падать! Рим сгорел, преодолевая плотные слои атмосферы. Он сгорел от трения о воздух. Метеориты — это обломки древнего города. Тунгусский метеорит — последний из них.

**

Мессалина принесла мне в кабинет чашку чаю и только вышла из комнаты, раздался телефонный звонок. Звонила экс-королева Мария-Антуанетта. Она с радостью сообщила, что пала Берлинская стена. Я включил телевизор и увидел, как толпы диких германцев с песнями разбирают каменную кладку.

— Посмотри на этих варваров, — сказала Мария.

— Что они делают? — спросил я и отпил маленький глоточек черной ароматной жижи.

— Они ломают перегородку между двумя государствами. Было две Германии — будет одна.

— А Великая Китайская стена устояла? — спросил я.

— Устояла.

Еще раз вошла Саша.

— С кем ты разговариваешь? — спросила она.

— Одна моя старинная подруга.

— А у вас что... был роман?

— Никогда!

— Скажи честно, вы с ней целовались?

— Никогда! Мы не могли целоваться, а priori*, — прошептал я, зажав клапан телефонной трубки ладонью.

— Почему?

— У нее нет головы.

— Как это нет?

— Отрубили, — сказал я.

Саша пожала плечами и ушла. Она плотно закрыла за собой дверь, а я продолжил свой разговор с королевой:

— Вы посмотрите на немцев, они все в экстазе, они все такие счастливые, — сказала Мария-Антуанетта.

— Они думают, что история творится у них на глазах. Опрокидывая бетонные плиты, они как бы сами творят историю своими собственными руками, от этого и приходят в экстаз, — сказал я.

— Когда соотечественники наблюдали за моей казнью, они испытывали подобные чувства.

— О чем вы думали, когда ваша голова покатила по эшафоту? — спросил я.

— Я не думала о Франции, о монархии, о новом романе, хоть и была влюблена. Я как бы потеряла свой собственный вес, а когда моя голова упала с плеч, ударила об эшафот и покатила по неоструганным доскам, я подумала: мамочка, мамочка моя милая, у меня теперь на лбу выскочит огромная шишка!

— Все революции заканчиваются массовым истреблением женщин.

— Я заметила, в большинстве своем революционеры — это очень непривлекательные мужчины. Не добившись взаимности, они устраивают общественные беспорядки.

* A priori — независимо от опыта (лат.).

рядки для того, чтобы мстить за безответную любовь. Они жгут и убивают, но главное... много насилуют.

— Согласен.

— Вы симпатичный человек, вы мне нравитесь, вам никогда в голову не придет вдеть в петличку красную гвоздику, не правда ли?

— Никогда.

— Вы знаете, мой друг, когда у человека нет ноги, ему вдруг кажется, что она чешется.

— Наслышан об этом феномене, — сказал я.

— Точно так и в моей отрубленной голове постоянно вертится какая-то мыслишка, хоть я, конечно, прекрасно понимаю: это мне только кажется, это иллюзия, только иллюзия.

— А что делать?

— Пройдет.

— Я представляю, каково оно — жить без головы.

— Напрасно вы мне сочувствуете, у меня полно уха-жеров. Для мужчины самое важное — это хорошенькая фигурка, для многих совершенно не важно, есть у женщины голова на плечах или ее нет. Напротив, безголовых любят больше.

— У вас есть друг?

— Есть, но я ему изменяю.

— Зачем вы это делаете?

— Очень сложный человек, эгоцентрик, но я люблю его.

— Рассказывайте.

— Он очень любит кошмары и ужасы. Его зовут Альфредо. Он янки. Он устраивает мне свидание в стиле эстетизированных ужасов Жака Калло.

— И как все это выглядит?

— Очень непристойно. Он стелет на постель красные покрывала, зажигает свечи и выставляет на пол женские

головы из воска... сразу штук десять или двенадцать. Я вхожу в зал под звуки тамбурина, воловьши жилы дрожат, издавая готические звуки, мои внутренности сотрясаются. А что происходит потом... о-ля-ля! Это не телефонный разговор.

— Я счастлив за вас.

— Поговорим, мон шер, о вас. Скажите, вы влюблены?

— У меня роман.

— И она, эта девушка, сейчас рядом?

— Не совсем, она в другой комнате.

— Вы действительно ее любите?

— Она недостойна меня. Как только набьет оскомину, я избавлюсь от нее.

— А любовница она хорошая?

— Вот здесь ничего не скажешь, великолепная любовница!

— Толстая дородная девка?

— Нет, худая, красивая, очень сильная и выносливая.

— Она говорит, что любит?

— Да.

— Не верьте ни единому ее слову.

— Я чувствую, она говорит правду, она готова отдать мне все: свою жизнь, молодость, красоту, здоровье, время, чувства, прошлое, настоящее, будущее, иллюзии, кровь — все, что у нее есть.

— А вы готовы принять эту жертву?

— Увы, нет. Все это богатство мне не пригодится. Для меня не имеет большого значения ее существование во Вселенной!

— Выстави ее за дверь. К чертовой матери!

— Сегодня же! Обещаю!

— Лучше было бы завести собачку.

— Абсолютно!

— Когда ты напишешь пьесу обо мне, ты же обещал? — спросила Мария-Антуанетта.

— Я обязательно напишу.

— Уже начал?

— Еще нет.

— Это нечестно, ты дал мне слово.

— Не знаю, о чем написать: о вашей жизни или о вашей смерти?

— Напиши хорошо, не важно, о жизни или о смерти, главное, чтобы героиню звали моим именем. Мне будет приятно. Можешь врать сколько угодно. Главное — хорошо напиши.

— Спасибо, это большая честь.

— Мне нравятся твои пьесы. Но мне не нравится, как их ставят на театре.

— Это не имеет значения.

— Спасибо, мой дорогой, за приятную беседу.

На телефонном аппарате лежала маленькая черная ресница. Я дунул изо всех сил, и она улетела. Я положил трубку и пошел в библиотеку.

Мои книги раскачивались на полках, как молодая пшеница. Восток был справа, запад тяжело дышал у меня под ногами, я подошел к окну и увидел поле — ровное, как стол, поле до горизонта. И по этому полю шли миллионы людей и несли на своих плечах огромный свинцовый крест.

Я закрыл форточку, чтобы не слышать душераздирающих стонов, задернул занавески, зажег абажур, взял со стола одну из книг, устроился в кресле и стал читать. Мне доставляло огромное удовольствие наблюдать, как буквы сливаются в слова, а слова в предложения, а предложения в страницы. Мои глаза скользили с необычайной приятной легкостью слева направо, они неслись куда-то вдаль, словно птицы над степью, и после многократно, снова

и снова возвращались к левому краю страницы. Я понимал, что ничего не запомню из прочитанного, я охотился не за смыслом, а за Духом.

Вдруг мне захотелось сказать несколько слов. Я вышел из кабинета и пошел бродить по квартире в поисках аудиотории. На полпути я остановился и задумался. Неужели я меняюсь, неужели я на самом деле хочу видеть ее и разговаривать с ней?

Это очень опасный симптом. Она приручает меня, она хочет стать одной из моих самых опасных привычек, и рано или поздно она добьется своего и воспитает во мне потребность видеть ее, разговаривать с ней, я попаду в жестокую зависимость. Пора отлучить ее от церкви!

Я нашел Сашу в столовой.

В левой руке она держала бутылку красного вина, правой, схватившись за рукоятку штопора, тянула ее изо всех сил на себя. Пробка не поддавалась.

— Могла попросить, мне не трудно, — сказал я.

— Обожаю вытаскивать пробки, мне нравится пустой звук.

— О, эти прекрасные русские женщины, — сказал я в самой патетической тональности, взял из ее рук бутылку вместе со штопором и принялся за дело.

Вера Андреевна берет в руки молот, Тамара Андреевна выдирает дерево с корнем, Наташа сгибает пальцами медный пятак. Потом красавицы идут на охоту, ловят волков, зашивают им пасти, у сибирских тигров вышивают на теле цветы, руководят промышленностью и течениями в океане и валят лес.

Случай был запущенный. Пробка сидела очень плотно. Но я справился. Моя Мессалина досыта насладилась пустым звуком. Вино хлынуло в бокал, мы пригубили из него по очереди.

— О чем задумался? — спросила Саша.

— Чувства умирают, а влюбленные остаются в живых,— сказал я. — Если бы люди умирали вместе с чувствами, которые умирают в них.

— И что было бы тогда?

— Тогда бы любовь перестала быть разменной монетой, развлечением, мир снова стал бы очень чистым и прозрачным. Мужчины и женщины обрели бы чистоту и серьезность, которых им явно не хватает. Неужели ты не чувствуешь, мы скользим вниз, падаем в пропасть. Мы считаем звезды в ожидании праздника, но праздника не будет!

— Ты думаешь, у нас с тобой нет будущего? — спросила Саша.

— Мне кажется, что я сижу у остывающего костра и ворошу палкой угли, — ответил я.

— А у меня ощущение, будто завтра меня увезут в прекрасную страну, что ты ушел покупать билет, осталось только надеть вечернее платье и причесаться.

— А мне кажется, что наш поезд ушел, а мы стоим на перроне под дождем, промокшие до нитки, и делаем вид, будто до отправления поезда еще три геологические эпохи... и нам нечего друг другу сказать.

— А у меня предчувствие, что ты должен стать другим и что рано или поздно ты вдруг преобразишься, изменишься, станешь печальным и любящим, как будто пришел добрый волшебник и прикоснулся к тебе и... опля-ля! Свершилось! Чудо из чудес!

— А я уверен, что тот волшебник, который должен сделать мне этот чудесный шахер-махер, давным-давно заблудился в трех соснах и повесился на одной из них, холодный ветер раскачивает безжизненную тушку доброго волшебника, а где-то вдали, в лесной чаще, поет крокодил!

— А мне кажется, что волшебник живой, что он живет в твоём сердце и что в твоём сердце тьма, и я обязана, просто обязана помочь ему выйти на свет и зажечь в твоём сердце прекрасную лампочку!

— Да, у меня в сердце тьма, но там нет никакого волшебника.

— Кто живет в твоём сердце? Когда прикладываю ухо к твоей груди, я постоянно слышу чьи-то голоса.

— В моём сердце живут десять тысяч преданных мне наложниц, и они разорвут меня на мелкие клочки, если узнают, что какая-то женщина держит в одной руке плоскогубцы, в другой изоленту, пытается соединить провода и закручивает паршивую лампочку моего черствого сердца в ржавый патрон.

— Я настаиваю на том, что в твоём сердце нет никаких шлюх!

— А где же они, если не в сердце?

— У тебя в голове!

— Допустим, ты права... в моей голове шлюхи прыгают, как живые караси на сковородке, а в моём сердце живет добрый волшебник, он сидит на табуретке в темной комнате и поет заунывную калмыцкую песню, а ты хочешь войти и вернуть лампочку, взять его за руку и вывести на солнечный свет, но это ничего не меняет. Мы должны расстаться! У нас с тобой нет будущего!

— Почему?

— Мы не созданы друг для друга!

— Почему?

— Я чувствую.

— Ошибаешься. Когда увидела тебя в первый раз, мне внутренний голос сказал: «С этим человеком ты будешь неразлучна до самой смерти».

— А мой внутренний голос сказал: «Ты проведешь с ней прекрасную ночь, ну, может быть, неделю-другую и расстанешься навсегда».

— Мой внутренний голос не лжет.

— Он ошибся. Единственное исключение из правила.

— Хорошо, я уйду, пройдет, может быть, немало лет, но рано или поздно ты поймешь, что он не солгал и не ошибся. Я верю в то, что рано или поздно мы так же случайно встретимся, мы еще будем счастливы.

— Вполне возможно, когда-нибудь, но не теперь и не здесь!

— Я готова уйти прямо сейчас!

— Прекрасно.

— Я ухожу от тебя.

— Уходи, — сказал я.

— Ты не понимаешь ужаса происходящего.

— Согласен, не понимаю.

Она оделась очень быстро, застегнула пальто на все пуговицы. Когда мы стояли на пороге, я сказал:

— Поцелуемся на прощание.

Саша подставила щеку. Я поцеловал ее. Это была трагическая ошибка. Только я коснулся ее щеки губами, как мы упали, словно подкошенные, и покатались, закрывая друг от друга тельце Амура, парящего над нами. Толстый розовый мальчик порхал над нами, словно колибри над гроздьё пионов. Он был счастлив, он забыл про лук и стрелы, он хохотал, как будто кто-то невидимый щекотал его под мышками. Он заливался влажным и веселым смехом и пускал изо рта слюни. Мы, катающиеся по полу, мы, ревушие и исторгающие друг из друга фонтаны, облака и радуги, ему очень понравились.

Наконец из моих недр с грохотом вылетело пламя, моя очаровательная белошвейка крикнула что-то бесвязное, упала лицом в цветы и заснула.

Я лежал и смотрел в потолок. Ветер разогнал над моей головой бетонные плиты, и я увидел звезды. Я захотел оказаться одновременно во всех точках пространства. Боже, какая драма: мир не укладывается в мои представления о нем. Хочется, как хочется, черт побери, как хочется иногда объять необъятное, воплотиться в каждую живую душу и прожить миллиарды жизней — счастливых и несчастливых. Хочется быть бессмертным, все-таки хочется!



Я оставил ее лежать бездыханной на полу в прихожей, накрыл пледом, оделся потеплее, вышел на Тверскую, прошелся пешком к Арбату, купил билет и оказался в фойе кинотеатра «Художественный». Прозвенел звонок, зрители вошли в зал.

Нас было всего-то человек восемь или десять: два пенсионера, несколько подростков и очень забавная парочка — толстая девушка и человек лет сорока пяти в фетровой шляпе (это в такой-то лютый мороз!). Этот человек мне сразу понравился, еще тогда, когда я мельком увидел его в фойе. Что-то было в нем от прошлой, несбывшейся романтической эпохи. Как только пошли титры, он надел на нос очки, подвязанные на веревочке, снял свою шляпу, как видно, отдавая дань уважения создателям фильма... и его голова засверкала всеми гранями, словно огромный бриллиант.

В зале было холодно и сыро, по ногам тянул ледяной воздух. В первые пять минут фильм превзошел все мои ожидания. Однако радость оказалась преждевременной: вскоре мне стало смертельно скучно. Я надеялся на чудо и терпеливо ждал, когда же наконец начнется что-то настоящее, но, увы, мое терпение лопнуло, я встал, мино-

вал спящего контролера, вышел на улицу, застегнулся на все пуговицы и отправился куда глаза глядят. Я двигался мимо сияющих витрин и неоновых вывесок и старался не думать о Мессалине, я чувствовал, как человека во мне становилось все меньше и меньше. Я медленно превращался в равномерное, ритмичное, поступательное движение вперед и по прямой. Я шел таким образом очень долго, до тех пор, пока не ударился всем своим телом об огромное, говорящее, живое лицо. Это была пожилая серебристая дама, мать моего товарища.

— Здравствуйте, Галина Константиновна.

— Как хорошо, что я тебя встретила, ты пойдешь со мной. Игорь очень обрадуется, когда тебя увидит.

— В другой раз, я тороплюсь.

— Он молчит днями напролет. Меня это пугает. Поговори с ним, умоляю тебя!

— Не могу, опаздываю, — солгал я, сделал неприступное лицо и напустил холоду, так что зимний вечер стал еще более морозным, и вежливо попрощался.

Однако не тут-то было! Материнский инстинкт возобладал в этой прекрасной женщине. Ради своего сына она готова была на подвиг, на низость, на безумие. Только я обернулся, чтобы идти прочь, как она ударила хвостом по воде и проглотила меня, словно кит Иону. Я оказался в ее бездонной утробе, во тьме, в такой ничтожности, которая не снилась даже бодхисатве, когда он случайно уснул во время медитации. Мне ничего не оставалось, как стать на ноги и продолжить размеренное движение вперед. Я вытянул вперед свои беспомощные, слепые руки и пошел.

Ее поступок противоречил всем международным конвенциям о правах личности. Как темно, неудобно, холодно, никакой надежды на будущее. Слепая материнская любовь за тысячи миль от берега! Черт меня дер-

нул, надо было бежать сразу же, как только я ее увидел, без оглядки — бежать, бежать, бежать!!!

Я шел в непроницаемой тьме долго, очень долго, но скоро увидел слабо мерцающий свет. А потом я увидел Игоря. Он лежал, уткнувшись своим тоненьким носиком в пол, в диафрагму, в кишечник Заратустры, в экзистенцию, в Царствие небесное. Услышав мои шаги, он перевернулся с левого бока на правый.

— Вставай! — приказал я.

— Не могу.

Я затаил дыхание и прислушался: снаружи волны накатывали на материнское брюхо. Мы пересекали океан времени.

— Что с тобой? — спросил я.

— С женой развелся, — сказал Игорь.

— Что случилось?

— Она изменяла мне.

— Как ты узнал?

— Проболталась.

— Сама?

— Не совсем. Я случайно ударил ее стулом под колено, но очень больно ударил, у нее началась истерика, она прокричала все, о чем молчала одиннадцать лет! Визжала как резаная, каталась по полу и кричала, что не любит меня и терпит только ради моих денег. А кого же ты любишь, спрашиваю я, а она с пылу с жару возьми и скажи, кого она любит. Я связал ее по рукам и ногам, все ее тряпки порезал в лапшу. Платья, шубы, пальто, чулки, белье...

— Как бывают ароматны планеты-гиганты!

— Взял молоток и стал молотить ее золото, часы, украшения, камни, потом мебель. Она, бедная, выла, как белуга. Вышел во двор, отогнал ее машину на пустырь, слил бензин на землю и поджег. Машина горела, а я бе-

гал вокруг и снимал на «Полароид». Я вернулся — она сидит, привязанная к стулу, и плачет. Я показал ей фотографии. Отвязал ее от стула, раздел догола, пару раз врезал по физиономии; звоню ее любовнику и говорю: приезжай и забирай. Он приехал, я вытолкал ее за дверь в чем мать родила. Я скучаю, я не могу выбросить ее из головы. Я не вижу выхода!

— Умри за ислам. Тебя будут любить гурии. Они очень нежные девочки.

— Меня другие не интересуют. Только Эля.

— Напрасно!

— А что, если убить ее?

— Убей!

— Хочешь выпить?

— Нет, не хочу.

— Ты не мог бы с ней поговорить?

— Нет, — сказал я, — не могу.

— Я не хочу жить.

— Мне нечем тебя утешить. Отсутствие энтузиазма и радости жизни есть преступление против молекулы ДНК, — сказал я, встал и пошел прочь.

Я шел вперед не оглядываясь. Несколько месяцев я бродил в кромешной тьме по лабиринтам, за стенами которого плескался Мировой океан, пока не случилось чудо: рыба открыла рот, и я вышел на берег моря. Земля, на которую я ступил, была усыпана драгоценными камнями, красивыми женщинами, богато иллюстрированными книгами, премьерами, цветами и комплиментами. Я открыл руки и пошел навстречу утренней заре, как вдруг листок бумаги, летящий по ветру, прилип к моей щеке. Я расправил его и разглядел с двух сторон. Там было начертано: «Ухожу навсегда! Ты абсолютно прав, с тобой я даром теряю время. Мессалина».

Ура!

Какое счастье!

Я свободен!

Всем встать раком и ползти за горизонт!

Рикки энд Повери!

Аленькие цветочки на ситцевом полотенце!

Прости-прощай и ничего не обещай!

Вай! Вай! О Гиви, Гиви! О Падме, Падме!

Хум!

Я распростер объятия навстречу своему прекрасному одиночеству. Я закричал: «Viva! Bravissimo!»

Однако спустя несколько счастливых минут со мной стали происходить совершенно непонятные вещи: я почувствовал, что мне становится трудно дышать и в груди под ребрами собирается влага, что где-то далеко отсюда с деревьев опадает ржавая листва и с грохотом бьется о землю, что ветер холодной ледяной крошкой, словно наждачной бумагой, сдирает с земли тонкий слой прекрасных иллюзий, что в аду сидит мальчик лет девяти и смотрит на огонь, а новогоднюю елку украшают безжизненными, мертвыми планетами.

Все-таки она вошла мне в душу!

Она сумела прикоснуться к самым чувствительным струнам!

Я запомнил ее лицо!

Ее голос еще звучит во мне!

Я почувствовал под языком привкус утренней звезды.

Я позвонил моему старому другу К.

— Где прекрасная Лу, которую ты пообещал? — закричал я в телефонную трубку.

— Я человек слова, — ответил К., — отдаю тебе самое дорогое.



Этим же вечером я получил в подарок от К. прекрасную Лу. Она была дарована в хрустальном гробу. Она лежала вся в цветах, и над ее головой светился нимб. В полной темноте я нащупал тумблер, щелкнул, нимб потух: я лишил ее святости. Чтобы проверить, живая она или мертвая, я вlepил ей пощечину. Это было слишком неосмотрительно с моей стороны. Она тут же поднялась из гроба и так сильно ударила меня по челюсти своим маленьким кулачком, что мои надбровные дуги выпрямились.

Я встал на колени и принялся шептать ей в ухо самые горячие и нежные слова. Она подтаяла, словно мороженое.

Справа плескалось море. Оно было напрочь зашито железными листами. Небо было стеклянное. Я положил мой подарок на садовую тачку и повез Лу берегом моря.

Лу лежала на спине и смотрела на меня.

— Ты болела детскими болезнями? — спросил я ее.

— Да, я болела.

— Корью?

— Ветрянкой!

— А свинкой болела?

— Да, конечно.

— Что любишь?

— Когда вообще никаких дел, валяться в кровати и читать.

— Рок-н-ролл любишь?

— Ага.

— Что именно?

— Led Zeppelin.

— А что еще?

— Ozzy Osborn.

— А что еще?

— Люблю вонючий сыр, кино, снег с дождем, мне нравятся уроды в банках, старики, старухи и костры, горящие на горизонте. Люблю рвать простыни руками.

— Ты совсем еще юная, ты совсем еще теплая.

— Если устал, можем поменяться местами, — сказала она.

— Согласен, — сказал я и лег в тачку. Теперь Лу везла меня. Между тем ветер все крепчал. Из воды выскочила огромная рыба, пробила металлическую оболочку над морем и, окровавленная, нырнула в горизонт. Море штормило, иногда над нами пролетали ангелы Судного дня. Их медные трубы шелестели, словно сирень на ветру, их перья были настроены в доминанту. Их белые губы были покрыты километровым наростом материкового льда. Они воображали себе музыку в стиле соул, я слышал, как у них в головах плескалась эта музыка. Ангелы пытались воссоздать ее снаружи, они хотели, чтобы она зазвучала в мире, чтобы оставила их бессмертные души и вышла в небо, но вместо музыки из медных труб сочились запахи сирени и детские забавы с мячом.

В детстве у меня тоже был свой резиновый мяч: красивый и живой. Кровь счастливого человека состоит точно из таких же упругих резиновых мячей (шарики гемоглобина).

Но я знал людей, в венах которых гремят тяжелые камни.

Они погружают своих близких и все человечество в царство Аида. Они не верят в существование ангелов, гурий, эльфов, пророков, принцесс и волшебников. Они не верят в наслаждение и всю свою жизнь стремятся к смерти. Я понял, что должен теперь же серной кислотой вытравить лица этих недочеловеков из своей памяти.

Едва я принял решение о проведении химических опытов с портретами тоскующей диаспоры, как на грудь мне села чайка. Она была в легком ажурном платье. С прехорошеньким девичьим лицом. Прекрасно поставленным голосом она стала читать мне отрывок из «Илиады». Эти птицы разновидности М. Е. знали «Илиаду» по памяти и могли цитировать с любого места. Она вонзала в меня гениальные строки, она пела и пританцовывала, а в ее глазах светился луч кинопроектора — отблеск тех великих событий.

До появления кинематографа все великие мировые события были отсняты на киноплёнку и теперь проецировались в глазах чаек, альбатросов, буревестников, морских птиц, питающихся серебром рыбьей чешуи и желатином. Эти два вещества: рыбье серебро и рыбий желатин, поглощаемые киноптицами в море, позволили содержать плёнку в великолепнейшем состоянии вот уже несколько тысячелетий, передавая по наследству генетически богатейший фильмофонд истории.

И вот я лежу в садовой тачке, утопаю в живых цветах и слушаю строфы Гомера, меня везут берегом моря, я люблюсь батальными сценами, морскими пейзажами, наслаждаюсь обществом прекрасной молоденькой девушки, толкающей перед собой ту самую тачку, в которой я возлежу, как падишах.

Но счастье никогда не бывает слишком долгим. Я заметил, что прекрасная Лу грустит.

— Что случилось?

— Я думаю о смерти. Когда-нибудь я постарею, а потом умру.

— Это не ты думаешь о смерти, это смерть думает о тебе.

— А что она обо мне думает?

— Она думает... какая хорошенькая Лу! Ты слишком красивая, Лулу, вот откуда твое отчаянье. Ты помнишь, когда ты стала женщиной? Что это был за день, расскажи, мне интересно.

— Обыкновенный день, летний, сухой и солнечный.

— Расскажи, что это был за человек? Сосед по квартире, одноклассник?

— Я сама стала женщиной без посторонней помощи.

— Не понимаю.

— Я увидела и стала женщиной. Мне было тринадцать лет, я проснулась, было уже часов двенадцать, обыкновенный теплый летний день, я присела на край кровати, свесила ноги вниз, посмотрела в окно и увидела голубые купола храма и золотые звезды на голубом... и медленно стала терять сознание. Одним словом, я увидела звезды на голубом и кончила! Веришь?

— Да!

— Я почувствовала, что я смертна, что моя душа есть тонкая пленочка, разделяющая два океана. Один океан — тихий, где все спокойно, а другой — дикий, штормовой. Каждое мгновение жизни чувствую, как меня выгибают эти две стихии.

— Для своего возраста ты рассуждаешь слишком высокомерно и серьезно.

— Я умная девушка.

— Ты не устала?

— Чуть-чуть.

— Давай поменяемся местами, — предложил я.

Я встал и уступил место Лу, она прилегла, а я взялся за работу.

— Мой прадед возил уголь в точно такой же тачке, — сказал я.

— Ну и что?

— Он возил уголь, а я вожу глину.

— Я не глина.

— Ты умная, но еще сырая, как глина. Из тебя можно вылепить все, что в голову придет.

— Я не такая мягкая, податливая и слабохарактерная, как ты думаешь.

— Нет, ты не мягкая и не слабохарактерная, ты гармоничная, умная и красивая, но ты юная и сырая, как глина.

— Нет!

— В твоём возрасте я был точно такой же аморфный.

— Неправда. У меня сильный характер.

— Смотрю на тебя и думаю: что из тебя вылепить?

— Например?

— Из тебя можно вылепить африканскую глиняную таблицу для клинописи, писсуар для общественной уборной, девочку с мирровой веткой, палеолитическую венерку, ангела, разделочную доску. Что захочу. У меня есть мастерская и печь для обжига.

— Я никогда не стану другой, тебе никогда не удастся сделать из меня что-нибудь по своему плану. Я в печь не полезу.

Из воды вышли два чернокожих парня и стали растирать друг друга полотенцами. Вода, по всей видимости, была очень холодной. Они были белые как мел. Я взял в правую руку одного из них и стал писать белым по черному на огромной классной доске: «Я увидел эту девушку впервые полчаса тому назад. И вот теперь я везу ее в тачке берегом моря! С каждой минутой я все больше и больше погружаюсь в ее душу. Если душа человека является его первой реальностью, то вдруг оказалось, что ее душа на несколько мгновений стала для меня более реальной, чем моя собственная...»

Я писал. Мел в моей руке крошился и кричал от боли. Я писал до тех пор, пока мои пальцы были способны сжи-

мать что есть силы маленький, совсем крошечный комочек чужой человеческой плоти. И когда сил не осталось, я со всего маху ударил мелом по доске и поставил точку.

Я поставил точку и увидел на горе большой дом.

— Кто здесь живет? — спросила Лу.

— Никто, в этом доме когда-то было создано человечество. Когда-то здесь жил Великий Зодчий.

Мы вошли в дом. В гостиной нас встретили два молодых мастера. Они поздоровались, повалили нас на пол, стали месить руками и поливать водой. За несколько секунд каждый из нас превратился в бесформенную и густую массу, по консистенции напоминающую глину, из которой несколько тысяч лет тому назад Господь сотворил Адама. Меня размяли так тщательно, что я перестал ощущать свое небо и свою землю, свой север и юг, собственный верх и низ. У меня исчезло лицо, затылок и отпечатки пальцев на руках. У меня не стало рук, ног, живота. Мое лицо стерли, как Хиросиму, его перемешали с моей спиной! Я испытал ужас, но впервые в жизни ощутил себя как некое единство, почувствовал свою первозданность, свою сущность.

Я понял... сейчас мне могут придать любую форму: я могу быть мужчиной или женщиной, европейцем или азиатом, деревом или цветком. Но как бы там ни было, моя сущность останется неизменна. И вот эта сущность, эта глина, сейчас вращается вокруг своей оси на гончарном круге.

Меня расплющивали и собирали руками — голова кружилась, но я чувствовал необъяснимое блаженство. Юноша приводил в движение каменный маховик своими чистыми, как снег, стопами, ось, на которую был надет маховик, дымилась.

Я знал, что с Лу происходило то же самое. Она, как и я, прикоснулась к неизменному в себе, к своей сердцевине.

В человеке что-то преходяще, но что-то неизменно. И вот это неизменное сначала били кулаками и сплющивали, а потом медленно вытягивали мокрыми ладонями к небу. Поднимали, поднимали все выше и выше, забравшись в самую мою глубину, создавали мое дно, мои стены — тонкие, как лист хризантемы.

Эти руки создавали во мне некий объем, вмещающий в себя всю мою жизнь, прошлое, настоящее и будущее. Мою дрожь, мой озноб, мое вдохновение, мои сны и галлюцинации — всю мою живую душу.

Наконец мастера закончили! На столе напротив друг друга стояли два глиняных сосуда. Я и Лу.

Мы смотрели друг на друга, изумленные, и молчали. Нас тут же поставили в печь и обожгли, а когда мы остыли, выставили на подоконник.

К вечеру пошел дождь, он наполнил нас холодной и прозрачной водой. А утром я увидел огромную оленью морду. Сохатый опустил в мою душу свои теплые губы, выпил ее до дна и ушел.

Мы с Лу стояли на подоконнике нагие, наполненные до самого края, дрожали от возбуждения и холода и смотрели друг другу в глаза.

Утром я позвонил К. и поблагодарил его.

— Прекрасная девушка, — сказал я.

В половине десятого утра мы с Лу попрощались навсегда. Я ее больше никогда не видел.

*
**

Никто не знает, где заканчивается испанская коррида и начинается Вудсток, где кровавый поэт Нерон закрыл красные раскаленные глаза, где спрятала свои гниющие черные юбки святая Инквизиция.

Все времена существовали всегда и существуют во все времена. В каждом мгновении вы найдете давнишнюю древность и будущее, которое еще не настало. Время — это не однородная тягучая масса. Оно перемешано, как коктейль в стальном миксере. Этот миксер — секунда, мгновение. И стоит только остановиться, повернуть голову вправо (время всегда находится справа от человека, у его плеча) и сделать глубокий вдох, как сразу же вы почувствуете вкус уходящей эпохи.

Это очень сложный запах, в этом сложном букете своей эпохи вы найдете ароматы всех ушедших цивилизаций. Духи, состоящие из ста или трехсот тысяч компонентов, в черном фиолетовом флаконе. Глубокий бриллиантовый запах. Аромат вечности и смерти.

Я вылил из флакона на указательный палец только одну каплю, это был сегодняшний день. Он оказался опьяняюще ароматным. У меня было очень много планов на будущее, но я захотел так прожить этот день, чтобы от него не осталось никакого следа: ни памяти о нем, ни событий, ни встреч. День пустой, как панцирь без черепахи.

Я стал думать о Мессалине и почувствовал тяжесть в сердце; чтобы избавиться от ноющей боли, сел за новую пьесу, но после тридцати минут тяжелого непосильного труда (сравнить можно только с использованием детского труда на английских мануфактурах) я решил закончить и подошел к телефонному аппарату.

Я звонил N, той самой знаменитой актрисе, о знакомстве с которой так мечтала моя Мессалина.

— Ты кто? — спросила N.

— Никто, — сказал я.

— Где ты, Никто?

— Я в пустоте, абсолютной пустоте.

— Кто эта девушка, с которой я тебя видела в ресторане?

— Мы расстались.

— Ты скучаешь по ней!

— Тебе померещилось.

— Она милая.

— Хотела познакомиться с тобой.

— Так в чем же дело?

— Я отговорил.

— Напрасно.

— Давай сгоняем в Испанию дня на четыре.

— Зачем?

— Выпьем хорошего вина, потанцуем, убьем быка.

— С удовольствием, — сказала N. — Купи билеты и позвони.

Мы приехали в Шереметьево и ровно через четыре часа приземлились в Испании.

Стоило только сойти с трапа, как я почувствовал, что со всех сторон ко мне сбегаются очень яркие, незабываемые впечатления. Я увидел потрясающее зрелище: четверо испанских механиков проложили железную дорогу через арену, на которой вечером должна была состояться коррида. Когда железная дорога была построена, они поставили железного быка на чугунные колеса, украсили его флагами и запустили паровой двигатель. Арена была огромная — вся Испания. И бык на всех парах побежал навстречу своей смерти — в точке назначения его ждал тореадор.

Тореро сидел в железнодорожном тупике, на рельсах, недалеко от селения Мадросса, и пел песню о стальных семенниках смерти, у которой на голове два огромных железных рога, которая мчится на всех парах со скоростью двадцать миль в час через всю Европу, чтобы

уничтожить маленького отважного человека ростом сто шестьдесят три сантиметра.

План боя уже был написан в Книге судеб: бык должен был ударить тореро железным фартуком, и тореро, которого звали Антуан де Вивас, вернее, не сам тореро, а его плоть должна была разлететься по всей круге в радиусе двух-трех миль. Часы уже пробили половину седьмого, и со всех сторон стали стекаться люди, чтобы стать очевидцами необычной смерти. Они бы никогда не пришли созерцать собственную гибель, но зрелище чужой смерти возбуждало их, словно красное вино. И виноградные лозы, росшие невдалеке от деревни, уже приготовились вместе с вечерним дождем впитать свежую кровь тореро, чтобы вино на следующий год тоже имело привкус крови, как и сегодня.

Я и N, мы оба приготовились к страшной развязке, а именно — купили лучшие билеты в шестом ряду. Сегодня чужая смерть понадобилась нам для того, чтобы как-то скоротать вечер. Мы проснулись поздно, и у нас не было никакого представления о том, как прожить остаток дня. Мы последовали за людьми, идущими мимо наших окон, и они привели нас на побережье Атлантического океана, туда, где обрывались две железнодорожные колеи и начинались волны, где должна была разыгаться кровавая драма.

Каждые пятнадцать минут через громкоговорители нам рассказывали о состоянии быка, о давлении пара в его чреве, зачитывали места из Книги судеб: смерть тореро неизбежна и прекрасна и наступит скоро, через двадцать минут, от удара железным фартуком и разрыва внутренностей. Где-то вдаль мы слышали гул колес и свист железного гиганта.

Но, увы, там, на небе, никто не знал, что такое настоящая любовь. И все произошло, конечно, совсем не так,

как написано в Книге судеб, потому что жена тореро, Лаура де Вивас, тоненькая женщина с золотистым пушком на затылке, любившая своего мужа больше, чем Иисус любил все человечество, совершила невероятный поступок. Она отдалась французскому капралу за четыре тринитротолуоловые шашки, помолилась так неистово, что стала прозрачной, и заминировала железную дорогу, соединяющую бычьи рога и ребра ее мужа, в самой середине отрезка.

И как только бык со скоростью сто миль в час и страшным ревом въехал на арену под всеобщее ликование толпы, как только тореро встал на рельсы и развернул мулету, тут же раздался взрыв невероятной силы. И чугунный бык сошел с рельсов и полетел под откос, а растерянный тореадор, от которого только что ускользнула посмертная слава, заплакал как ребенок.

Лаура бросилась мужу на грудь, мы с N прослезились, зрители пошли требовать обратно свои деньги в обмен на билеты, а мясники налетели на мертвое животное и давай разбирать его на части. Один схватил стальные никелированные ребра и побежал с ними прочь. Кому-то достался коленчатый вал, кому-то — свисток от паровоза, кому-то — эхо от свистка.

Пошел дождь, мы раскрыли зонт и решили пройтись по городу. Под зонтом нам было весело и тесно. Когда зонт несла N, капли падали мне на спину, а когда я — струи дождя бежали у нее по спине. Влажные, веселые и рассыпчатые, мы вернулись в деревенскую гостиницу.

На первом этаже находился трактир, где обычно справлялись деревенские свадьбы. Но сегодня на столе стоял гроб с телом покойника, вокруг сидели люди с каменными лицами, а над усопшим висел транспарант: «Социализм — это смерть».

Мы сели у окна.

— Что за сборище? — спросил я у официанта.

— Партийное собрание.

— А почему труп на столе?

— Они принимают в партию только мертвых.

— Не может быть.

— Клянусь, — сказал официант, сделал низкий поклон и ушел на кухню отдать наш заказ.

Ровно через пять минут стол был накрыт, и мы выпили подряд по два бокала прекрасного виноградного вина.

Вдруг один из сидящих смахнул с каменного лица пыль, встал и произнес:

— Социализм — это смерть, она всех рано или поздно уравнивает в правах. Только смерть гарантирует настоящую экспроприацию частной собственности. Абсолютное имущественное равенство для всех — вот что такое смерть. Смерть — это и есть подлинная социалистическая революция.

Неравенство — основной источник зла на земле. Смерть уравнивает не только богатого и бедняка, но еще талантливого и бездарного, красивого и некрасивого, умного и дурака. Надо наконец признать, что ум и талант не меньшее богатство, чем недвижимость или счета в зарубежных банках. Почему одни люди богаты, талантливы и красивы и еще умны вдобавок, а другие некрасивы, неталантливы и бедны? Где же справедливость? С этим давно пора кончать. Фидель был не прав, он ошибся, когда сказал: «Социализм или смерть», он оговорился, ему кусочек сухого дерьма влетел под язык, Фидель имел в виду совершенно другое, он хотел сказать: «Социализм — это смерть».

Все встали и запели «Интернационал». Дождь не прекращался ни на минуту. Когда коммунисты унесли тушку товарища, мы перебрались поближе к камину, от моего пальто, висящего на спинке стула, пошел горячий пар.

- О чем задумалась? — спросил я.
- Вспомнила, как мы с мамой учили алфавит.
- Как вы учили алфавит?
- По букварю.
- Ты помнишь свой букварь?
- Да, помню, синего цвета с тремя огромными буквами на обложке.
- Послушай, я придумал другой алфавит.
- Какой еще другой?
- Наш с тобой алфавит. — Я взял салфетку и стал на ней писать и рисовать:
- А:* Это голод.
- Б:* Это дождь, который льет не переставая.
- В:* Их глаза встретились, их пальцы коснулись друг друга.
- Г:* В ее бедрах спрятан клад. Он гремит при каждом резком движении.
- Д:* Облако разрублено надвое и кровоточит рассветом.
- Е:* В ее теле есть мокрый желоб, по которому стекает дождь. Дождь идет не переставая.
- Ж:* Наш герой вымок до нитки, он возвращается ночью домой, в горле пересохло, он пьет стекающую с крыш влагу. Когда касается ее плоти губами, он чувствует привкус ржавой жести. Вода вымывает из его желудка алкоголь, и он опять медленно пьянеет.
- З:* Отчаяние настигает его повсюду, но он не сдается.
- И:* Над городом летит медная черепаха.
- Й:* Она вся дрожит от любовной горячки.
- К:* Запах укропа откуда-то проникает во Вселенную.
- Л:* Все народы, населяющие планету, почему-то погрузились в тяжелую титаническую трезвость.
- М:* Он поедает намокших стрекоз, безжизненно ползающих по ее телу, стрекозы сверкают перламутром и вздыхают у него во рту.

Н: Она учит роль, но текст не прилипает к таланту.

О: Он опять вышел на улицу. Город занимается йогой. Огромный каменный город спит на битом стекле и смотрит в звездное небо.

Л: Она села на корточки перед холодильником и зарычала, как голодная тигрица.

Р: Он остановился и задумался.

С: Скрежещет, скрежещет колесо истории. Скрипит так, что душа переворачивается. Она смазывает колесо библейским маслом.

На салфетке не осталось живого места.

— Все, — сказал я, — на сегодня хватит.

— Можно я возьму ее на память? — спросила она.

— Только не потеряй. Я должен закончить.

Н сложила салфетку вчетверо и сунула в сумочку.

— Ты бросил эту милую девушку? Почему?

— Искусства ради.

— Что же это за искусство такое?

— Это искусство черных домино. Я не могу быть чистым и преданным, моя рубашка вся в мартовских проталинах. Я мужчина, я подводная лодка. Ни грамма совести, никаких представлений о чести: раб собственной похоти, мыслитель, толкающий свою мысль нижней частью живота. Я не умею приносить жертвы, я умею их принимать. Я не зима и не лето. Я не мусульманин. Я не собака на привязи. Я не ошейник на собаке!

— Кто ты?

— Я луковица! Женщины, которые сдирают с меня кожу, рыдают в три ручья.

— Ничего, ничего... скоро ты запоешь другие песни, — сказала Н. — Ты будешь чистым и светлым, будешь самым любящим и верным мужем.

— Мы присутствуем на празднике кастрации!

— Она вернет твой дух в бутылку, джинн.

— Кто?

— Та самая девушка, которая мне понравилась.

— Никогда!

— Она твою черную душу сделает белой, как сахар.

— Не зли меня.

— Ты будешь волочиться за ней, как школьник, заикаясь от страха, с мокрыми ладонями ты будешь объясняться ей в любви.

— Никогда!

— Все мои пророчества рано или поздно сбываются, — сказала N.

Я ничего не ответил, я посмотрел в окно, и моему взору предстала странная картина: император вышел на балкон и стал кормить народ из рук, приговаривая:

— Гули-гули, гули-гули, гули-гули-гули.



Я плыл с открытыми глазами под водой и увидел чьи-то красивые ноги... подплыл поближе, присмотрелся: мужские или женские?... Оказалось, что это ноги нашего города. Я решил пошутить, подплыл еще ближе, схватился за лодыжки, дернул изо всех сил вниз... и Москва утонула в осенних ливнях!

Одним словом, это было обычное возвращение из Испании в серое московское позавчера. Я открыл дверь ключом и вошел.

За эти три недели в моей комнате ничего не изменилось, если не принимать во внимание неприбранную постель и чьи-то колени, торчащие из-под одеяла, которое я тут же сорвал резким движением.

Ого! Под одеялом оказался сервированный стол, на котором возлежал прекрасный, ароматный ужин. Я плотно поел, вышел в прихожую и увидел лежащий на

полу короткий японский зонтик и женское пальто на спинке стула.

Только часам к четырем пополудни я понял, что съел женщину. Судя по платью, она была модница (туфельки с острым носом успели войти в моду только четверть часа тому назад), ювелирные украшения — из белого золота.

Я присел на край стула, закрыл глаза и попытался справиться с охватившим меня ужасом.

На подоконнике лежала ее сумочка, содержимое которой я тут же высыпал на стол, но не нашел ни фотографии, ни документов, ни имени. Мне захотелось поделиться своим несчастьем, я позвонил К. Он приехал минут через пятнадцать.

— Я только что съел человека!

— Хорошего человека? — спросил К. так просто, как будто речь шла о филе судака.

— Женщину... здесь по комнате разбросаны ее вещи.

— Без паники... только без паники, — сказал он. — Мы найдем тебе адвоката! Вкусная?

— Был голодный, как волк, ничего не помню, острая, во рту до сих пор горит.

— Я не думаю, что это был обыкновенный ужин, — произнес К. — Вряд ли она была обыкновенной женщиной. Скорее всего, это был не ужин!

— А что?

— Это был обряд евхаристии. Только что ты съел Бога.

— В каком смысле?

— Может быть, для большинства знавших ее людей она была самым обыкновенным человеком, но для тебя она была Богом. Верующие едят тело Христа и пьют кровь Его, так и ты съел свою возлюбленную, потому что когда-то молился на нее!

— Не может быть!

— Постарайся вспомнить, на кого ты молился, как на Бога? Как ее звали?

— Нора, — сказал я. — Это была моя первая любовь.

— Все ясно. Только что ты съел свою первую любовь.

— Мы не виделись двадцать лет... даже больше.

— Впредь надо быть осторожнее.

— Но как она здесь оказалась? Как она нашла меня?

— Тебе урок на будущее... Никогда не поклоняйся женщине, как Богу. Бог — это бог, а женщина — это женщина.

— Бог — это Бог, — сказал я, — женщина — это женщина, стол — это стол, осень — это не зима, а бутылка — это не письменный стол и не блюдце с молоком для кошки, которая сама по себе не есть комод или дорожный чемодан.

— Сознание к тебе медленно возвращается.

— Давай соберем ее вещи, я не люблю, когда в доме беспорядок.

— Успокойся.

— Меня знобит.

— Выпей горячего сладкого чая.

Я и Нора!

Мы еще были детьми, но грешили, как взрослые. Под скрип калитки и пенье мотыльков сгибали вдвое радугу над полем и отпускали ее одновременно, так, что, спрямляясь, она разрезала небо надвое, а после мы долго ссорились, кому какая половина неба принадлежит. После мы пробирались сквозь тени будущего и в день сто раз давали клятву любить друг друга до гробовой доски. Но разлука оказалась вечной. Мы мечтали о несостоявшемся будущем. А ночью заклеивали Луну лейкопластырем и окунали мизинцы звезд в зеленку, прежде прокалывая их стальными иглами. Мы пили звездную кровь.

— Мы с Верой были в Австрии, хочешь посмотреть фотографии?

К. достал из портфеля фотографии, я взял их в руки, но сначала сделал большой, обжигающий внутренности глоток чаю.

— Красиво! — сказал я из вежливости.

— Это Альпы. И это тоже Альпы. Это моя Вера. Это я. Это Альпы.

— Вера — это Вера. Альпы — это горы.

— А это подъемник.

— Подъемник — это хорошо.

— А вот мы едем по горной дороге.

— Горная дорога, замечательно. Куда она идет?

— Я не знаю.

— Не важно.

— Подъемник.

— Прекрасно.

— Лыжи.

— Лыжи — это лыжи.

— В ресторане мы пьем виски.

— Виски — это выпивка. Понятно, — прокомментировал я.

Он стал показывать мне пейзажи. Я вспомнил о Норе и почувствовал в глубине живота приятное тепло.

— А это наш американский друг Билл.

— Билл свою маму убил!

— Он не убивал свою маму.

— Понятно, зато какая рифма!

— А это наш отель, наш номер, прекрасный вид из окна.

К. ушел, слегка поцарапав мое воображение своим прошлогодним путешествием. Нашу встречу мы закончили короткой, но смертельной дуэлью.

— Тебе надо жениться, — сказал К.

— На ком? На Лу из телевизионной коробки?

— На Лу не надо. Женись на Светлане из оранжереи снов.

— Я женюсь на Тане Рубинштейн из сказки о спелой вишенке.

— Ты с ума сошел. Лучше уж на Ольге из букмекерских хороводов. Помнишь, как Оля смешно читала стихи?

— Оля — это Оля, — сказал я.

К. ушел. Я сел за стол в кабинете, открыл книгу и стал читать. Чтобы отвлечься, уйти в иной мир. Только я сосредоточился, как зазвонил телефон. Звонили из модельного агентства. Меня приглашали посетить показ мод от кутюр.

Мне всегда нравились тонкие паюсные девушки, которые плыли над подиумом, мягко покачивая бедрами. Они были словно узкие эскимосские лодочки. Они выныривали из полярной тьмы в свет общества. Молодость пенилась у них за кормой. Однако их лица всегда таили явную опасность. Казалось, будто они держат на кого-то обиду: вот-вот готовы расплакаться, дуют губы, злобно косятся, словно мечтают о преступлении.

Мои предчувствия оказались пророческими. В феврале прошлого года, на показе мод от кутюр, группа манекенщиц договорилась между собой и закидала осколочными гранатами партер. Из двенадцати гранат не взорвались только три, а остальные полопались со страшным грохотом и произвели полный фурор.

Поэтому я, не раздумывая, отказался принять приглашение на послезавтра. И меня сразу же начали уговаривать:

— Вы можете не беспокоиться за свою жизнь, мы проверяем их магнитоискателем перед каждым выходом.

Я вспомнил кружевное белье, кровь на полу, и все это усыпано сверху бриллиантами, словно салат из томатов, одобренный крупной солью. Кристаллы лежали на самой поверхности в красной жиже и не таяли. Я вспомнил лицо жены французского посла, перевернутое вверх тормашками болью (так рисовал евреев Шагал), ее истошные вопли. Вспомнил, как светские львицы, перепачканные кровью, курили на ступеньках парадной лестницы и делились впечатлениями о том, как чудом остались в живых:

— Великолепное шоу!

— Это авангард, я такого не видела даже в Париже!

Между тем воспоминание издохло, и я вернулся к реальности.

— Кто попросил вас позвонить мне?

— У нас список приглашенных, я секретарь, я обзваниваю по списку всех приглашенных.

— Извините, я не смогу!

— Но почему?

— Мне не хочется рисковать.

— Но если все так будут рассуждать, мы от скуки передохнем, как мухи.

— Мне не бывает скучно.

— Я чувствую, вы чем-то расстроены.

— Только что я съел свою самую первую женщину.

Мне пятнадцатого сдавать пьесу, а я еще не закончил второй акт. У меня мысли как метеоры, как бешеные собаки, как шарики от пинг-понга.

— Какая интересная у вас жизнь.

— Вы хотите принять участие в моей жизни?

— Да. Конечно!

— Тогда оставьте свой телефон.

Я записал ее телефон на осколке падающей кометы, прополоскал рот перезвонами кремлевских колоколов

и встал на низкий старт, чтобы по сигналу броситься по гаревой дорожке наперегонки со своей собственной тенью. Когда я догнал ее, она обернулась. Я увидел лицо Мессалины.

**

Всю ночь тополиный пух сыпался из хрустящих телевизионных коробок, летел над океаном и щекотал паруса.

Всю ночь слоны танцевали на моей печатной машинке в обнимку с моими изящными, взнервлёнными пальцами. Желоба водосточных труб мечтали стать плотью горлянок. На побережье ныли камни, поросшие ледяными панцирями: у них разболелись простуженные животы. Какой-то непризнанный гений тащил рояль в небеса на своей слабой спине, словно это крест.

Разумеется, Мессалине дела до этого не было, в ее жизни произошло много перемен. Она надела на себя плащ, надела на себя гром и молнию, надела на себя все сказки братьев Гримм, надела на себя белые сетчатые чулки, надела песню «Прощай, гуси», надела на себя Париж и... и подошла к зеркалу.

— Ну как, — спросила она, — мне идет?

— Дикая эклектика, — ответила Наташа, ее лучшая подруга.

Рассерженная Мессалина уехала в Плесецк, встала на старт, полковник Кабанов посчитал от десяти до нуля. Мессалина закричала и стартовала, ушла в небо ракетой, разогналась до скорости одиннадцать километров в секунду и вдруг, по чистой случайности, вышла на орбиту светской жизни.

Спустя три месяца я стоял за колонной во фраке с бокалом шампанского в руке и безмятежно и спокойно наблюдал за тем, как она стыкуется с искусственным спут-

ником Земли. Это был полный молодой человек, некрасивый, но умный, с живыми глазами. Он обворожил ее своей детской непосредственностью. Она мстила мне, а я делал вид, что «не больно». Одного взгляда на эту парочку было достаточно, чтобы понять: скоро они поженятся. Они ели друг друга глазами так, что за ушами трещало. В половине одиннадцатого вдруг совершенно незаметно исчезли с вечеринки. Две ночи подряд я не спал и думал, как они могли сойтись, такие противоположные люди. Паяц и зеленоглазая утка.

Я не хотел думать о Саше, но откуда-то в мою душу просочилась чудовищная боль. Вдруг я отчетливо понял, что N права: наша история еще не закончилась, она только начинается. «Мы скоро встретимся», — услышал я за спиной Сашин голос, я не обернулся, я знал — там никого нет, за моей спиной — пустота.

Спустя два дня на меня нахлынуло осеннее настроение. Я пил желтое вино и смотрел на футболистов в желтых майках, играющих желтым мячом страсти на пожелтевшей траве.

На воротах стоял китайский император в желтой сутане, и кто-то, кажется Лермонтов, читал в небесах оскорбительные октябрьские сонеты. Моя похоть совершенно случайно слетела с дерева, как кленовый лист, и упала к ногам молоденькой студентки-медички, которая темным холодным вечером возвращалась с лекции домой. Она была бесстрашная и талантливая девочка, конечно же, она обратила на меня свое первопрестольное внимание, нагнулась, взяла меня в руки и заложила мною свою любимую книгу. Я ушел от нее в пять утра. Ушел навсегда!

Как прекрасна жизнь!

Больше никогда не увидимся!

Жаль!

О небеса!

Она могла бы родить мне дочь!

Девочка была бы красавицей, это как пить дать.

Я услышал за спиной топот чьих-то легких ножек.

За мной по парковой аллее бежала моя нерожденная доченька.

Мне захотелось остановиться, обернуться, взять ребенка на руки и что есть сил побежать обратно, к девушке, у которой я даже не взял номер телефона.

Но я вспомнил о Саше, я не остановился, я не взял девочку на руки, я прибавил шагу и побежал.

Я услышал за спиной рыдания ребенка, беспризорного, не воплотившегося, заблудившегося в космической беззвездности.

Сто грамм водки, еще сто и еще сто по сто.

Земля дрожит от проходящего мимо поезда.

Пусть вырастут конечности у всех, кто потерял их на войне!

Ни за что и никогда!

Я не хотел убивать всех возлюбленных, поджигать и переворачивать автомобили. Около метро факир за пустяковый гонорар (копеек за десять) превращал продавца мороженого в слона, и процесс остановился где-то на середине, новое существо было наполовину слоном, наполовину мужчиной с усами.

А я стоял невдалеке, смотрел на них и думал о Саше: «Она вышла замуж по любви. Это была не измена и не месть, это был свободный жест, осенний жест!»

Год прошел быстро, как один день. Но последний день этого года тянулся медленно, лет десять или двенадцать. Я занимался финансовыми и политическими спекуляциями, путешествовал, рыл ирригационные сооружения, сочинял новые названия для мучного клея, проводил аудиторские проверки снов государственных сановников,

а также учил рыжих муравьев математике, кабалистике и военному делу.

Я делал гренки поочередно из президентов, будд и патриархов и кормил ими желтых канареек.

Время от времени, задрав штаны, я бегал по пляжу в Сочи и глотал огромные резиновые мячи, я доводил маленьких детей до слез, отрывивая мячи, к их святейшей радости и изумлению.

И ничто не исчезало, согласно закону сохранения энергии, каждое прожитое мгновение оставалось запечатленным во веки вечные. Но не здесь, а где-то очень далеко от этих мест.

**

Ю. был режиссером театра. Он делал из артистов виноград. Осенью он давил из них вино, а после премьеры падал замертво лицом в амфитеатр.

К. слыл бездельником, он слонялся с утра до вечера между кающимися солнцами, кочующими сайгаками и стайками девственниц. Он был заложником своего хорошего настроения, из него сыпалось безумие и веселье, как брызги из пожарного брандспойта, так что все мы были по горло в его прозрачной, иногда и мутной воде. В нем было что-то анархическое и прекрасное. Он не мог быть включен ни в одну табель, зато он легко добивался своего, ибо фурии обожают неожиданные припадки веселья. Ему нравилось жить в долг и работать на капустных полях, отделяя кочаны от младенцев. Он дважды пробовал заняться игорным бизнесом, но оба раза его убивали из-за денег.

Ему снились рыба, баржи с песком, бурлаки и дождевые капли на циферблате наручных часов, а также огромные омнибусы, набитые обрезками англичан.

Ему снились великие тряпьевщики будущего и пакеты с синькой, которые они раздавали женщинам в обмен на обрезки ткани.

После пробуждения это был безобидный человек, умный, но очень порочный. Он не излучал любовь, он стяжал ее. Несмотря на многочисленные недостатки, его любили. Меня согревала мысль об этом человеке больше, чем его присутствие.

Бывало, поднимешь голову к небу... смотришь... летит Вахтанг, летит К., и на душе станет хорошо.

Что я могу сказать о Руслане? Он эмигрировал. Спустя лет двенадцать в дверь позвонили. Руслан немедленно открыл, в комнату вошла чужая женщина, она поцеловала его в губы и рассмеялась. Он открыл рот, чтобы сказать несколько ласковых слов, и вдруг заговорил на чужом языке. Всю оставшуюся жизнь он говорил на чужом языке, в чужой стране, где прожил не свою, чужую жизнь. Руслан жил до тех пор, пока не умер чужой смертью (хотели убить его соседа по лестничной клетке). В конце концов он был похоронен по чужому протестантскому обряду. Его похоронили в чужой земле и на обелиске написали чужое имя.

Руслан восстал из ада, восстал против воли Господней, восстал из гроба в полный рост, перевернул могильный камень и пошел прочь туда, куда стремился всю жизнь, на Восток. Впереди на телеге ехал Алеша Попович и показывал дорогу на Родину. Четыре недели Руслан бродил по московским улицам и пожирал купы сирени, стараясь как можно скорее забыть о кельтском супе и гальском навозе. Москва заново отстраивалась в двадцать первый раз. Меряя ее шагами вдоль и поперек, наш герой вдруг осознал, что ее детство еще не закончилось, она продолжает бурно расти. Москва в нарядном ситцевом платье кружилась в вальсе, и ее подол подымался все выше и вы-

ше, все ближе к звездам. Подол был мокрым, он фосфоресцировал ночью мириадами огней, с него сыпались вниз бриллианты, голоса певчих, плотва, стихотворения и перхоть опальных чиновников. Руслан чувствовал радость встречи и при этом какую-то странную опустошенность. Он гудел, как раковина, которую прислонили к уху. Он думал: меня кто-то должен был заполнить, только не я сам. И он нашел этого человека — простую женщину, учительницу из средней школы. Они с тех пор были неразлучны и жили счастливо.

Итак, навеселившись, наглотавшись резиновых мячей, я вернулся в столицу и снова почувствовал безбрежную и необъяснимую печаль. Чтобы изгнать ее, я снял огромную мастерскую, расставил зеркала, задрапировал окна тяжелой тканью, купил две тысячи свечей, расставил около зеркал, зажег фитилек каждой, постелил на пол цветы, заказал обед на двенадцать персон и созвал друзей на вечерю.

Мы молчали. Говорили наши души. Слова этой чудесной ночью были не больше, чем приспособлениями для откупорки бутылок, они были салфетками, столовыми приборами, ножами и вилками.

Мы отражались в зеркалах.

— Я никогда не видел, как дерутся девушки, — неожиданно сказал А.

И все двенадцать вздрогнули.

К. открыл рот.

Вахтанг щелкнул языком.

Андрон проглотил вишневую косточку.

А после вздрогнули и заговорили наперебой:

— Наверное, это зрелище.

— Особенно когда красивые, молодые, исполненные радужных надежд.

— Полуобнаженные и слегка простуженные!

- В кокошниках, на высоких сабо.
- Моей сестре равных нет, она в детстве меня лупила как сидорову козу.
- Меня интересуют только молоденькие, атлетически сложенные хористки.
- Они дерутся горящими керосиновыми лампами.
- Женщины дерутся донкихотами.
- Девушки избивают друг друга мертвыми павлинами.
- Отлично!
- Хористки дерутся мертвыми павлинами.
- Мы их любим? Что вы, оглохли? Я спрашиваю, мы хорошо относимся к девушкам?
- Да!
- Тогда выпьем за их здоровье!
- У девушек совершенно иное строение мускулатуры.
- У птиц и у девушек.

Пока мои друзья говорили о флоре и фауне, я достал блокнот и сделал запись на год вперед в телеграфном стиле: 2008.29.10. поставить зеркала и свечи как обычно, купить шесть пар боевых перчаток, пригласить хор девушек, бои по правилам, ногами не бить, две брюнетки, две блондинки, две шатенки, очень пышные прически... будут разваливаться на наших глазах во время поединка, создавая иллюзию песочного замка... сложная завивка с большими шиньонами, вертикальные букли и локоны... затем большое обсуждение. Купить напольные весы, перед выступлением хористок взвешивают, только стройных в самой легкой и средней весовой категории, пение не прекращать, хор поет, девочки боксируют, мы впитываем алкоголь... на случай нокаута — нашатырь, боксировать только в вечерних платьях. Никаких съемок на видео, чтобы врезалось в память... это будет клино-

пись памяти. Боксирующие девушки на стенах моей усыпальницы, на чистом белом мраморе — боксирующие девушки.

Когда мои друзья ушли, пришла зима. Занавески вытянуло ветром наружу, и, когда я их достал из северо-западного окна, они уже были заснежены.

Где-то далеко от этих мест моя Мессалина стояла в церковном хоре и пела, ее ступни были прибиты к деревянной лавке огромными дюймовыми гвоздями, словно это были не очаровательные женские ножки, а ладони Христа. Ветер носил над землею сиреневые прекрасные облака. Мальчишки-демоны писали на стенах домов всякую непотребщину огромными буквами.

Было одиннадцать часов вечера. Я по-прежнему состоял на девяносто процентов из влаги и был только частью меняющегося мира, я был только частью того, что называется круговорот воды в природе. Я испарял влагу кожей, я дышал ртом. Влага, исторгнутая мной, поднималась в небо и превращалась в осколки льда и парила над землею в виде огромных пушистых снежных хлопьев. И я прекрасно понимал, что каждая снежинка была когда-то частью моего существа, моей влагой. Именно так Господь посредством влаги соединяет всех изнутри, омывает нас, Он купает нас друг в друге, и любовь — это и есть мощный и невидимый, хаотический поток воды, круговорот воды в природе, а мы на девяносто процентов состоим из воды, и мои восемьдесят процентов влаги завтра станут неизвестно чьими, а потом облаком и опять человеком! Вот что такое вселенская любовь! Круговорот воды в человекосфере!

И птица в небе тоже несет в себе брызги из Источника.

Я чувствовал, как во мне плещется Мировой океан, в моей глубине и в моей утробе плавают киты и дельфины, касатки и миллиарды тонн планктона. Ураганы и бу-

ри сметают все мыслимые и немыслимые преграды — нравственные устои, положительные мысли, доводы благоразумия, какие-то существующие и сложившиеся представления человечества о том, что есть верх и низ, нравственное и аморальное. В моей глубине есть еще одна глубина, о существовании которой я всегда знал, с самого рождения, и всю свою жизнь я ощущал эту бездну, ее холод и глубину (около двенадцати тысяч метров).

Мессалину сняли с лавки и унесли со стигматами на ногах в спальню. Это сделал ее муж — полный уважаемый человек в красивых пластиковых очках.

Rolling Stones записали новый сингл, я закончил пьесу и бросил ее в стол в надежде, что когда-нибудь перепишу от начала до конца. В моей жизни намечались перемены. Я не мог представить, что именно случится, но предчувствия были тревожными. У меня под языком лопались пузырьки, и это ощущение тоже было крайне важным в общей палитре чувств.

Я отодвинул штору и посмотрел в окно.

Луна вертелась в небе, как патефонная пластинка.

Я прорастал своим будущим. Войска Наполеона тонули в русских снегах. Они уже никогда не спасутся. Они будут всегда, во веки вечные идти по снежной пустыне, только потому, что левая нога короче правой.

Этого не учел Император.

Мне безумно захотелось увидеть ее хотя бы на мгновение!



Утром у меня разболелась голова. Я достал из кармана белый, кристально чистый носовой платок, сложил вдвое и смахнул слезы с лица. Они упали на пол и засветились во тьме слабым неоновым светом. Почему мои

слезы светятся во тьме, как светлячки, словно кладбищенский мох, как фосфор на часах у кремлевского часового? Почему они не сияют, как Альтаир и Полярная звезда?

Я затеплил бра и пошел пить свой утренний чай. По дороге взял со стола книгу, открыл и стал читать на случайной странице. В книге рассказывалось о преступлениях против человечности. Военная криминальная хроника сорокалетней давности.

По своей сути, вся история человечества есть одно огромное, большое преступление против человечности — подумал я и бросил книгу на стол. История это и есть преступление. Не случайно, подумал я, слева и справа от Христа на крестах висели уголовники. Разве это не символ истории? На двух отпетых — один святой.

Чему посвятил свою жизнь Гамлет? Он стал криминалистом. Он устроил блестящий следственный эксперимент и был отравлен в момент задержания преступника. В человеке есть ген, отвечающий за криминальный характер поведения. И здесь ничего не поделаешь. Вся история человечества вырастает из ДНК, закрученной в спираль.

Человечество как бы существует на перекрестке двух миров. Первый — это мир окольцованных, завьюженных элементарных частиц. Мир, удерживающий энергию в состоянии реальности, статичности. Второй мир — это льющаяся река сквозь эту воронку статичности. И человек каждое мгновение своей жизни испытывает трение статичности и неподвижности о мощный, проходящий сквозь него поток. Гены — это сама косность. Они построены по всем правилам фортификационного искусства. Но духовные ветры, дожди и ураганы все равно сравнивают их с землей. Природа найдет другие, более совершенные механизмы наследственности! Зача-

тие должно происходить от Духа. Когда-нибудь, я в это верю, так и будет. Нельзя доверять несовершенной материи наших детей. Она идиотка, дура, неуправляемая, грубая тварь.

После небольшой утренней прогулки в парке я еще раз заварил крепкий чай, на всякий случай отключил телефон, сел у окна, накрыл ноги пледом и стал читать. В комнате было тепло и уютно. Я прочитал страницы три-четыре и неожиданно для самого себя стал сочинять пьесу. По мере того как мой замысел обрастал плотью, персонажи по одному входили в комнату и тихо присаживались у моих ног. Когда я задавал им вопросы, они отвечали. Когда они разговаривали друг с другом, я записывал их диалоги.

Одного из персонажей еще не написанной пьесы звали Лиза, она вошла последней.

Лиза только села к моим ногам, сразу же сказала:

— Диана погибла вчера ночью в автомобильной катастрофе.

— Моя Ди?

— Да, наша принцесса!

— О мой бог!

Я тут же позвонил Джону.

— Все кончено, — сказал Джон. — На огромной скорости машина ударилась в бетонную сваю. Быстрая смерть. Как фотовспышка.

— Перезвоню завтра утром, — сказал я, взял в руки фотоаппарат и несколько раз нажал на спусковой крючок для того, чтобы воочию представить себе смерть принцессы. Я спустил, вспышка вспыхнула и моментально погасла. Я не мог понять, как можно умереть так быстро.

Персонажи ненаписанной пьесы смотрели на меня как на сумасшедшего и шурились, а я стоял с фотоаппаратом в руках и клацал затвором.

— Перестань, — у нас в глазах рябит, — сказала Лиза. Я бросил фотоаппарат на диван. Камера подпрыгнула, упала на шерстяной клетчатый плед, перевернулась на бок и застыла.

— Плохо, — сказал я.

— Надо как-то прожить этот день. Завтра все будет не так ужасно, — сказал Аркадий.

Я налил граммов сто водки в тяжелый стакан толстого стекла и слегка пригубил за упокой души принцессы, оделся, вышел на улицу, купил цветы и поехал к Британскому посольству и возложил цветы к ограде. Постоял недолго и поехал прочь. Через несколько минут я остановился у газетного киоска, купил пару десятков журналов и газет, чтобы узнать всю правду о трагедии.

Я был потрясен случившимся. Мы были близкими друзьями — я и Диана, мы вместе высаживали плантации стихотворений на Марсе, раскладывали пасьянс из подсолнухов. Мы играли в этой жизни в одну игру под названием «Никаких правил». Словно два великана, мы ходили ночами по кронам деревьев, мы пытались уподобиться ветру, мы гибли деревья до самого основания, мы пугали крестьян, кормили деревенских куриц антидепрессантами. Мы не верили в науку, никакая наука не могла опровергнуть сказанного нами. Любая наша иллюзия была истиной. И все, что было сказано, осталось навеки. Там, на небесах!

И вот что однажды она сказала мне за ужином в замке Трюфо: «Я люблю смотреть на помидоры, они красные, и даже приготовленные для употребления в пищу и даже мелко порезанные, они все равно светятся, излучают энергию. Я бы причислила помидоры к фруктам, потому что они красивые. Они сочные и оптимистичные. У меня на душе праздник, когда я вижу красный помидор!»

А какая Ди была чувственная и прекрасная любовница! При рождении она впитала в себя шелковистость семи морей и двух океанов, графика ее чувственности восходила к древнейшим кельтским, англосакским рисункам. Ее кожа шелестела на ветру, как все листья, когда-либо произраставшие под солнечным светом. Она была игольчата, как молодая лиственница, и прозрачна, как Ахиллесова пята.

Я понял, почему таким странным светом светились мои утренние слезы. Я понял, как мгновенно жизнь может оборваться, и все человечество не сможет воскресить тебя своей любовью. Никого оно не в состоянии воскресить. Мы все — закланники смерти. В кровавых революциях нового времени оно жестоко расправилось с персонажами наших любимых сказок: королями, королевами, принцами, принцессами. Сегодня человечество потеряло свою последнюю принцессу, свою последнюю мечту.

Якобинцы и коммунисты рубили красавицам головы и кололи их штыками.

В нашем прагматичном мире это была единственная сказочная красавица.

Я разозлился.

Я разбил корабельный компас топором и порвал в мелкие клочья северо-восточный ветер.

Ненавижу медный шлем и парусиновые крылья за спиной Сатаны!

Я вытряхнул из коробки шоколадные конфеты и разложил в пустых ячейках стоны египетских плакальщиц.

Я надавил на акселератор, включил магнитофон в машине на полную громкость, выехал за город и помчался с бешеной скоростью по шоссе. Ближе к вечеру я увидел стоящую на обочине Кассандру. Я нажал на тормоз, и мое авто встало, словно вкопанное.

Эта была нимфа из чистого мрамора. Дождевая капля ползла у нее по щеке. Она была чем-то похожа на Месалину: такие же лукавые и живые глаза! Я выскочил из железной коробки, раскаленной от быстрой езды, обнял ее и замер. Я почувствовал биение ее каменного сердца и ток крови в тонких серых жилах.

— Наша цивилизация уходит в песок, — сказал я. — Завтра мы станем прозрачностью воздуха в прекрасный погожий день. Мы будем невидимы, как нечто несуществующее, хотя на самом деле мы, конечно же, будем существовать.

Внезапно пошел дождь. Я набросил Кассандре на плечи пиджак, оторвал кариатиду от постамента. Она только и успела сказать: «Мне нужно быть дома в восемь часов вечера, родители будут волноваться».

— Ты совершеннолетняя?

— Да, мне восемнадцать с половиной.

— Ровно в десять ты будешь дома.

— Спасибо.

Я бросил ее в багажник и помчался вперед.

Я въехал в тоннель.

Я долго ехал в крошечной тьме.

Вдруг я увидел свет в конце тоннеля.

Я поехал на этот свет.

Когда авто выскочило с обратной стороны тоннеля, я обернулся. Тоннель за моей спиной был вывернут наизнанку, как чулок. У меня горлом пошел майский березовый сок. Я больше ничего не боялся и ни о чем не сожалел. С этой минуты я перестал ощущать страх. Я не хотел больше копить благодать, мне захотелось ее отдать. Я захотел снова восстать из семени, стать новорожденным, вырасти, впитать в себя жизнь и оплодотворить низко плывущие осенние облака, чтобы в них опять появилась жизнь, чтобы они со страшными родовыми криками

и стонами опять низвергли на землю ангелов и святых, греческих, римских богов, христианских святых, любимых, только бы они были настоящими божествами в сандалиях, с луками, в плащах и с нимбами над головами, готовые к чуду в любую минуту. И никаких революций среди смертных. Все революции должны происходить только на Олимпе, только на небесах, только в области духа и воображения.

Ведь боги бессмертны, они могут сколько угодно проливать кровь на баррикадах, они могут создать свое небесное ВЧК и расстреливать друг друга поочередно, ибо им не будет от этого никакого вреда! Они так богаты, что ни одна экспроприация не сделает их беднее. Они могут собираться на конспиративных купках и тихо, шепотом петь «Интернационал».

Зевс, Артемида, Иисус, Юпитер и Элвис Пресли.

Занятый этими мыслями, я вел свой автомобиль вдоль шестнадцатого меридиана. У меня в багажнике лежала мраморная кариатида. Она дребезжала и причитала. Она билась головой о крышку багажника и вспоминала школьную жизнь.

Я открыл стекло, высунул руку наружу и почувствовал прочный и густой поток воздуха. Стемнело. Справа от меня в голубом молоке плыл тонкий солнечный диск. Слева вдоль дороги стояли разорившиеся мелкие лавочки и огромные супермаркеты. Их было несколько миллионов. Они не справились с конкуренцией еще в начале нашего века. Почему они здесь? Почему, только увидев меня, они тут же гурьбой бросились мне в глаза? И тогда по старой привычке я стал задавать сам себе вопросы.

— Может быть, я что-нибудь хотел купить и забыл?

— Или назначил свидание около одного из них?

— Или это только иллюзия? Мираж. И на самом деле справа от дороги нет и в помине никаких супермаркетов?

— Может ли супермаркет обладать свойствами парусного судна, «Летучего Голландца»?

— Может ли субмарина обладать свойствами супермаркета?

— А смогу ли я прожить хоть один день своей жизни, если буду точно знать, что его вторая половина не будет мне принадлежать, могу ли я подарить свое чистое время?

— А что если Мессалина только что зашла в один из них?

— Или она дома, на кухне показывает балет полнеющему осьминогу?

— Забеременевшая, она танцует с кастрюлей в руках под музыку Вагнера? Макароны «Парсифаль» — его любимое кушанье.

— Или выводит чернильное пятно с указательного пальца?

— А что если она сидит одна у окна, думает обо мне и рыдает?

— А муж в это время мертвый, с головой, разбитой мясорубкой, лежит в кладовке и читает надписи на коробке из-под телевизора?

— А она, моя Мессалина, только что убившая его мясорубкой, идет к умывальнику, отмывает ненавистную кровь с ладоней, плачет и вспоминает, как мы бежали берегом моря и огромные дождевые тучи катились по песку, словно гигантские мячи?

Я почувствовал, что слишком далеко зашел в своих фантазиях, что в них нет и толики здравого смысла. Я нажал на тормоз, вышел из машины, вошел в первый попавшийся магазин (спортивные товары), купил горные лыжи, женские ботинки к ним, ядовито-алого цвета, бросил все это в багажник и стал медленно, но верно набирать высоту, двигаясь по высокогорной дороге. Через три

часа я оказался на горном перевале. Я вытащил мраморную девку из багажника на свет божий. Надел на нее пластиковые ботинки, лыжи, одел очки, поставил на ноги, поблагодарил, поцеловал и толкнул в спину. И она, античная лыжница, набирая скорость, покати́лась, покати́лась вниз по крутому склону в родительские пенаты. Через минуту она набрала скорость около шестидесяти миль в час, а еще через минуту вовсе исчезла из поля моего зрения. Ровно в 22.05 она была дома. Ровно в 22.05 она, счастливая, позвонила мне по мобильному телефону и доложила, что успела, что родители ее не журили, что хочет снова увидеться и т. д. и т. п. (см. «Энциклопедию юности», глава «Девичий бред», стр. 283).

Между тем солнце погасло.

Я достал блокнот из внутреннего кармана и написал: «Жизнь, еще одна жизнь, еще одна жизнь, еще одна жизнь. Нет ничего выше жизни. После моей жизни будут еще миллиарды жизней. Плюс еще одна жизнь. Она и будет для меня самой важной!»

Я не видел, как Мессалина выходила замуж.

Я только мог это вообразить. В белой фате она шла навстречу своей старости, смерти, деторождению, одиночеству вдвоем, самому страшному из всех одиночеств. Она спускалась под землю в царство мертвых, ибо таковы были ее убеждения, иллюзорная и лживая философия ее жизни. Она не хотела быть свободной. Мессалина спускалась в валгаллу семейной жизни так быстро, что облака не успевали прилипнуть к небу и падали на землю, повинувшись гравитации, она так быстро теряла себя, что ноты самых лучших моцартовских произведений превращались в навозных мух. Музыка жужжала, она не пела! Марш Мендельсона скрипел, как наждачная бумага, которой обдирают тысячелетнее дерьмо.

Нет, их глаза не поплывут вниз по течению реки, впитывая в себя пение птиц. Они зацепятся за корягу, лопнут и утонут в мутной воде!

Нет, у них не получится выпечь торт или прочитывать одну на двоих книгу.

И обсуждение неп прочитанной книги тоже не получится.

Теперь, обнимая его перед сном, она будет спотыкаться, как цирковая лошадь.

Объятия и слова любви будут заканчиваться падением в опилки! Я не пророк, но точно знаю, что они будут сориться из-за денег, соли и открытого настежь окна.

У меня было столько женщин, и я забыл их.

Почему я не могу забыть о тебе?

*
**

Самое дорогое, что есть в этой жизни, — ежедневная размеренная жизнь в любую погоду, при любых обстоятельствах. Вставать с постели, рассматривать обрывки самого последнего сна, думать сначала о тех, кого еще любишь, смотреть на часы и вспоминать о ежедневных обязанностях. Какая прекрасная и тихая грусть есть в этом прекрасном ежедневном ритуале человеческого пробуждения, в этом есть что-то от воскресения Христа.

На прогулку, всем на прогулку!

Я спускаюсь вниз, иду по подземному переходу и вижу девушек, торгующих в стеклянных киосках. Они похожи на рыб в аквариумах, они плавают в мутной воде среди видеокассет, компакт-дисков, кожаных сумочек и дешевой бижутерии. У них очень ярко подведены глаза и ресницы чернее черного.

Мимо проходит священник. Я бы на его месте остановился и благословил их всех, встал перед девушками на

колени и попросил прощения. Я не смотрю им в глаза, мне стыдно, как будто все они мои незаконнорожденные дочери.

Я иду дальше, положив руки на небеса, и вижу встречаемых людей: они бьют друг друга углами чемоданов, плечами, локтями и коленями, все они погружены в мир собственных иллюзий, все они разъедаемы жадностью, любопытством и похотью.

Вдруг в толпе я увидел знакомое лицо.

— Здравствуй, Таня!

Я протянул ей руку, и она схватилась за нее, как утопающий. Я подставил ей щеку, но она поцеловала меня в губы.

— Не может быть!

— Это я! — сказала она и засмеялась.

— И ты по-прежнему делаешь деньги из воздуха?

— Так много заработала, что дышать стало нечем.

— Как долго мы не виделись, — сказал я и вспомнил, что она тигр по гороскопу.

— Десять лет. Никогда бы не подумала, что встречу тебя на улице. Пойдем, я напою тебя чаем.

Она привела меня в свой дом. Я выпил чашку зеленого чая, взял в руку живого бенгальского тигра, в другую руку — зажигалку и стал медленно-медленно жечь тигру усы. Тигр зарычал и начал рвать мои внутренности зубами. С новогодней елки осыпались игрушки. Тельце акробата заиграло, как блесна.

Она была безумно нежной, я тихо умирал в ее объятиях, я чувствовал, как сквозь меня идет мощный поток чего-то большего, чем сама жизнь.

Вот я иду по лесу сквозь сумеречный осенний ад, под ногами трещат феодальные поместья, позолоченные лестницы, медные ангелы, великие мира сего, в одночасье превратившиеся в дешевую полемику, в лужицы оче-

видности, прогнившие до самого своего дна. Огромные бабочки сидят под широкими листьями папоротника.

Я прохожу мимо огромного старого дуба и вижу, как солдаты Ирода разделявают младенцев.

На опушке я обнаруживаю замерзший пруд.

Рядом сидит молодой Брейгель, он рисует хоккеистов на льду и большое электронное табло, стоящее напротив лютеранской кирхи.

Я выхожу из леса и вдруг понимаю, что осень ушла.

Я выхожу из леса, и вдруг перед моим взором открывается великолепный пейзаж: простор Ледовитого океана.

Я вспоминаю, как много лет тому назад на Северном полюсе я обучал тогда еще юную Танечку взаимности. Я восседал на белом медведе в бархатном седле, обшитом драгоценностями, в руках у меня была камча. Обнаженная, она бежала чуть впереди. Я бил ее камчой по раскрасневшимся на морозе ягодицам, приговаривая: «Вот о чем, милая, хотел бы тебя попросить. Не пытайся извлечь пользу из безумия, наши чувства не акции, не медь и не золото, не стоит их отдавать под проценты, пока чувствуем, мы нереальны, мы паранормальны, мы не мужчина и не женщина, сегодня мы никто!»

Она так ничему и не научилась, она строила отношения с партнером, прибегая к классической этике и бухгалтерии, расчету и лживым понятиям о пользе. Поэтому на веки вечные осталась без любви. Поэтому всю вторую половину своей жизни она висела вниз головой, бродила по ледяному северно-ледовитому потолку и пела песню «Ofrom» — песню одиночества, песню забвения, песню неведения.

А что мешало ей стать счастливой?

Ничто не мешало ей стать счастливой, просто не надо было считать и размышлять, когда пришла пора чувствовать.

Лед там, наверху, вместо неба.

И внизу тоже лед.

Замерзшая вода.

Под замерзшей водой — мертвая вода.

Ни флоры, ни фауны миллиард миль окрест!

Мама, кажется, у меня температура.

Под моим окном проехал трамвай, он осыпался искрами, как будто на скорости влетел под наждачный круг.

Мама, тебя уже давным-давно нет в живых.

На моем детстве стоит печать и чернильная подпись.

Я уже давно не обижаюсь на людей. Им мало, мало любви, при этом они делают все, от них возможное, чтобы любви не было совсем.

Танечка, милая, как можно было прожить эту жизнь в полном сознании?

Ни разу так и не потеряв контроль над собой?

Северно-ледовитое дерьмо.

Полярная метеорологическая станция, которая так воняет, что ветры обходят ее стороной.

В душе ужасно холодно. Повсюду только снег и лед.

Я шел и под ногами нашел деревянную коробочку, открыл ее, а в ней улыбка.

Улыбка в аду.

Какая редкость.

Какая драгоценность!

Остановите время, кто-нибудь!

Я поцеловал Танины улыбающиеся губы, и ад свернулся, как осенний лист. Я вспомнил, как она учила меня играть на рояле в квартире своей умершей бабушки.

Давай снова, как тогда, я присяду рядышком, сыграем в четыре руки какую-нибудь дребедень, шум, разноголосицу. Никаких нот и никаких правил! Сыграем Хаос!

Как аппетитно хрустит пианино! Хорошая музыка, бабушка, почему вы злитесь?! Вы правы, это не музыка, мы играем Хаос.

Мы играем в Хаос. Значит, мы сами и есть что-то бес-
связное. У нас нет ни времени, ни сил, ни желания при-
вести свои мысли, свои чувства в порядок, мы живем
в быстром, моментальном мире. Жизнь — смерть!

Хоп!

Заключительный аккорд звучит гармонично: теплая вода, в которой не чувствуешь своих собственных рук, женщина, рядом с которой не чувствуешь жизни, ребенок, глядя на которого сам становишься ребенком. Ночь, когда тебя посещает вдохновение и ты начинаешь видеть такое, что вдруг от ужаса и от счастья останавливается сердце.

Пойдем отсюда, Таня. Видишь, бабушка жует звезды. Здесь хуже, чем ад. Уже скоро здесь настанет грандиозная пауза между аккордами.

Пришел Хаос, пожирающий иллюзии. Татьяна платьем зацепилась за куст жимолости и повисла вниз головой, над Библией, касаясь пятками звезд.

Я взял ее руку в свою и сказал:

— Я с этим не справлюсь, не сумею сделать тебя дру-
гой! Прощай навсегда!

Она спустилась с небес для того, чтобы зачать от смертного.

Мы лежали, усыпанные всеми цветами мира, и сверху моросил дождь с кисловатым привкусом спирта.

— Только не кури, — попросил я.

— Почему? — спросила Афина.

— Попробуй на вкус, тогда поймешь!

— Отстань, — сказала она и щелкнула зажигалкой.

Я только и успел, что сделать шаг в сторону, как на форштевни обрушилось пламя, в котором сгорели все рояли этого мира, все письма и все ноты, все мелодрамы, все девочки не от мира сего и мальчики не от мира сего. Я стоял и равнодушно наблюдал за тем, как сгорает целая историческая эпоха под названием «Нежность».

Больше никогда не будет столь изысканных, тонких и возвышенных чувств. Прошлое ушло безвозвратно. Сгорели пудра, записочки, легкие обмороки, мнимая легкость бытия, самая зыбкая и единственная истина, которая зовется счастьем.

Лицо мое дымилось, и, чтобы снять безумное напряжение последних дней, я опустил его в огромную полынью, в Ледовитый океан, милях в ста от Шпицбергена, и почувствовал приятную прохладу. Железная субмарина коснулась моей щеки, я поднял голову, вытер лицо полотенцем и увидел тонкую красную царапину от уха к челюсти. Тут же, не мешкая прижег ее одеколоном, расправил спину, вдохнул и стал медленно набирать высоту. Сначала думал о вещах вполне земных, простых, житейских, о том, почему я не говорю на всех языках мира и не могу присутствовать одновременно во всех точках пространства.

После подумал о женщине, которую я любил когда-то очень давно, но не имел смелости признаться себе в этом. Я знал, что упускаю великий шанс в своей жизни. Я знал, что она любит меня и ждет, когда я подойду первый и заговорю с ней. Она была очень терпелива, двенадцать лет ожидания, она ждала, пока ее лицо не превратилось в газон для игры с мячом. А между тем она могла избавить меня от всех страстей одной-единственной страстью. Она бы уж точно не позволила мне размениваться на мелочи и жить не по уставу, попирая все двадцать шесть трансцендентальных принципов.

Мне предстояло прожить еще один день.

Земля была по-прежнему круглой.

Планеты парили в звездном небе, как диковинные птицы: Меркурий и Марс, Сатурн и прочие.

Ураганы всего мира лежали у моих ног и скулили, словно щенки на привязи. Звезды стали родинками на моем теле.

Все буквы алфавита еще находились в яйце, они кричали и царапали известковые стены, но еще были слабы и не могли пробить скорлупу яйца, на котором царственно восседала птица Логос.

Над моей головой цвели купы молоденьких хорватских девушек, они вместе с сочными зелеными листьями раскачивались на ветру и издавали волнующий аромат. Морские волны с накату бились в мои исполинские колени.

Афина грызла баранки, у нее чесались десны. Женщина с лицом античной богини и телом гончей собаки, поджарая, вытянутая, как дуга, ходила по квартире и учила роль. Она совершенно не понимала, какой характер ей нужно сыграть. В душе она уже отказалась от роли, но на всякий случай решила еще разок сходить на репетицию. Ее душила ненависть к режиссеру, который не понимал, как ставить спектакль, и прикрывался мертвым профессионализмом.

— Я не знаю, что здесь играть, — сказала Афина.

— К сожалению, ничем не могу тебе помочь, — заметил я.

— Но это же твоя пьеса!

— Пока писал, она была моей.

— Тупая скотина, он ничего не может мне объяснить.

— Неправда, он хороший режиссер.

— Ты лжешь, потому что он твой друг!

— Я правду говорю, — солгал я. — Он потрясающе падает лицом в амфитеатр!

— У вас против меня заговор.

- Не волнуйся, у тебя все получится.
- Я бездарная!
- Самая талантливая!
- Грубая лесьть! Лучше бы рассказал, как играть!
- Подальше от реальности и правды жизни.
- То есть?

— Постарайся завоевать сердца мужчин, которые тебе не нужны, постарайся нравиться лакеям, гусиным перьям, старикам, подстаканникам, всему, что тебя окружает, даже столу, за которым ты пьешь утренний чай. Твоя героиня — женщина на десять тысяч процентов. А к мужчине, который любит ее, она равнодушна. Вот тогда у тебя получится роль. Зрителю важно почувствовать, что она способна любить.

— Наверное, я устала от жизни, я потеряла свежесть, — сказала Афина. — Зачем я выхожу на сцену?

А я подумал про себя, с какой легкостью и мастерством сыграла бы эту роль Н.

— Не ходи из угла в угол, меня это раздражает, — попросил я Афины.

— А что, если мне подстричься покороче?

— Это не поможет, — сказал я.

Афина ушла, хлопнув на прощание дверью. Вместе со сквозняком ко мне ворвались тысячи преданных гейш, одна прекраснее другой!

Я попросил их бросить в шляпу бумажки, чтобы вытянуть жребий.

Только моя рука опустилась в шляпу и нащупала листок с именем, как кто-то со всей силой дернул за половик, и я упал, больно ударившись головой о шахматную доску.

Хор кастратов запел: «Славься, славься», брызги ушли в небо.

В это время некто таинственный пытался перестроить дантовские круги в американские горки, и для этого они

все до одного были поставлены на ребро. Грешники неслись по кругам ада со скоростью двадцать миль в час, их всех тошнило от собственной непорядочности.

Пришел Вельзевул.

«Ад тоже должен быть рентабелен, — сказал Вельзевул, — мы будем продавать билеты в ад, туристы будут приходить и смотреть на страдания горящих в геене огненной. Завороженные страданиями мучеников, спасаясь от жара, идущего от горящих котлов, они станут тоннами поглощать прохладительные напитки и мороженое. Это отличные деньги!» Мне показались крайне скучными складки на лице Вельзевула, я опустил ручку унитаза, и дьявол исчез в ароматизированной пене, на самом дне мироздания.

Там, вдали мне померещилось нечто светлое и прекрасное. Я навсегда порвал с Афиной, взял в руки биннокль, навел резкость и увидел лучшие дни своей жизни, которые мне еще предстояло прожить в компании трех молоденьких девушек на берегу Адриатики. Девушки были очаровательны. Я кормил их из рук, жуировал на скутере, делал дорогие подарки. Однако я не позволил нашей дружбе перерасти в любовь. Я не мог допустить, чтобы одна была счастлива, а другие ревновали. Я не мог такого допустить, чтобы две были счастливы, а одна ревновала. Я не мог такого допустить, чтобы все трое были счастливы и все трое ревновали. Я бежал как угорелый на другой конец пляжа, в ресторан за стаканом минеральной воды со льдом, мне нравилось заботиться о них просто так и ничего не требовать взамен. Мы расстались навсегда, расстались совершенно бескорыстно, не обменявшись адресами, без слез. Мы решили растаять в дымке, в безвестности и кануть в никуда. Я даже не позволил себе запомнить их имена. Мы были чисты как ангелы.

Через две недели я сошел с трапа самолета в Петербурге, ощущая себя полыхающим рассветом прекрасного августовского дня, тут же, долго не раздумывая, сдал свои крылья в камеру хранения, купил печатную машинку, лучший английский чай, заперся в гостиничном номере и начал пьесу о нравственном метаболизме. Сначала пьеса мне нравилась очень, потом значительно меньше, после я понял, что не написал главного — мелодию. Я оставил только один лист, все остальные порвал и решил, что когда-нибудь перепишу ее заново.

Завершив работу над полным фиаско, я тут же отправил известие о поражении своему агенту и завалился спать. Мне снились киносценические метаморфозы, ужасные и прекрасные декорации, окровавленные актеры, ползающие по сцене, ухающие, словно ночные птицы.

В пять часов пополудни, как только открыл глаза, получил телеграмму: *«Я дома в своей постели, у меня стучат зубы и звенит в ушах! Сегодня у меня последний свободный день. Мессалина».*

Я достал из чемодана аппарат Морзе и парировал в ответ: *«Дорогая! Возьми себя в руки, вставь в зубы шенкеля, расслабь мышцы, скоро ты почувствуешь по всему телу легкие электрические разряды. У тебя потемнеет в глазах. Я буду с тобой мысленно, прямо здесь, на расстоянии пяти тысяч километров. Итак, настройвай приемник на длинные волны!»* Я вообразил себе ее маленький и сочный приемник и почувствовал, как моя антенна ушла в небо. Из меня стали рваться радиоволны.

В ответ я получил послание: *«Никаких телепатических сеансов, никакой метафизики, никаких экспромтов. Хочу тебя реального!»*

Я понял, что на треть забыл азбуку Морзе, вышел из гостиницы, приехал на почту и отбил телеграмму: *«У меня в голове сражаются кастрированные евнухи-коротышки!»*

В ответ она телеграфировала: «Не могу забыть, как ты подбрасывал вверх и ловил ртом шоколадное драже!»

Моя телеграмма: «Ты погладила мужу рубаишку?»

Ее телеграмма: «Девочки, он ревнует меня, какое счастье!»

Я: «Как ты могла выйти замуж за этого человека?»

Она: «Он меня любил, и я подтаяла... была счастлива месяца два... у нас клуб любителей сладкого».

Я: «Ты изменяла ему?»

Она: «Да!»

Я: «Смягчающее вину обстоятельство. Вы развелись?»

Она: «Нет!»

Я: «Из таких мужчин делают сопливчики для грудничков!»

Она: «Девочки, его трясет от злости!»

Моя телеграмма: «Девочки, я спокоен, как молоко, мой нос холоднее зимней стиральной машины».

Ее телеграмма: «Твои слова задыхаются, они не похожи на равнодушие».

Моя телеграмма: «Рыбка не плавает вперед хвостом!»

Ее телеграмма: «Разговаривать с тобой все равно, что дышать слонами».

Я: «Дыши ящерицами!»

Она: «Тебе не кажется, что мы сделали первые шаги на встречу друг другу?»

Я: «У тебя из-под юбки торчит полтора миллиарда ножей!»

Она: «Моя похоть кровоточит».

Я: «Так в чем же дело?»

Она: «Я дала себе клятву, что никогда не вернусь к тебе».

Я: «Я хочу тебя видеть. Живой или мертвой!»

Она: «Потерпи лет двадцать, увидишь трупик».

Я: «Завтра в шесть в точке ИКС».

Она: *«У нас все равно ничего не получится!»*

Я: *«Знаю, все равно давай встретимся».*

Она: *«С тобой я не стану изменять мужу».*

Я: *«Почему?»*

Она: *«Абсурд».*

Я: *«Почему?»*

Она: *«Потому что я вышла за него замуж тебе назло».*

Я: *«Тем более стоит».*

Она: *«Нет!»*

Моя телеграмма: *«Солнце и есть Ван Гог, оно нарисовало виноградники и женщин, склонившихся до земли, и самого художника. И тебя нарисует солнце, если, конечно, победишь инерцию. Для этого надо сделать усилие. Тужься в обратном направлении. Расслабь мышцы и подкинь штангу в небо!»*

Ее телеграмма: *«Вчера я сожгла тебя поцелуем, а пепел развеяла над Гималаями!»*

Я и моя телеграмма: *«Пойду пройду по Петербургу. Буду смотреть в чужие лица и, может быть, даже заговорю с кем-нибудь из прохожих. С переспевшим, скучающим пенсионером, вполне созревшим для смерти пенсионером, великолепным сухим, потрескавшимся стариком. Я задумаюсь о том, сколько осталось жить этому человеку. Вечером в гостиничном номере я буду лежать один и с удивлением думать о скорой смерти не знакомого мне человека как о литургии, как о таинстве, как о высоком искусстве».*

Телеграфистка посмотрела на меня изумленными, детскими, полными слез глазами, она еще никогда в своей жизни не отправляла таких гигантских сентиментальных телеграмм.

— Все? — спросила она.

— Нет, это еще не все! — сказал я, взял чистый бланк и продолжил: *«Иногда это очень тяжелая повинность —*

думать о моих гуриях, об их нежности, их цветочности, об их легком метафорическом сходстве с ласточками, стрижами, об их задушевности и человечности. Когда они целуют меня в губы, все моралисты мира скручиваются в черные кулечки, словно отгоревшие фантики! У моих девочек на лицах лежит тонкая и ароматная пыльца. Эта пыльца и есть предмет моего вожделения, моей безумной страсти! И ты была одной из них. Горько мне об этом вспоминать!

В чем отличие моих прекрасных девушек, скажем, от трех чеховских одалисок? А именно в том, что чеховские девушки ходят по кругу и никак не могут сосредоточиться, в то время как мои одалиски сосредоточены целиком и полностью на моих предчувствиях. При этом они не теряют собственной свободы, ничем мне не обязаны. Они могут быть столь святы, насколько и порочны. И никто из них не станет корить меня за неверность. Подлинная свобода в моем понимании есть возможность созерцать тот мир, который ты желаешь созерцать. Измена есть способ познания Вселенной!

Но именно ты, моя любимая, не смогла этого понять! Так и сегодня — ты хочешь присвоить меня.

Сегодняшний день принадлежит мне. Я хочу увидеть его во всем блеске. Не думай обо мне. Я не буду думать о тебе. Прощай!»

Прочитав мою телеграмму, телеграфистка испытала просветление. Она поклонилась три раза на восток и три раза на запад и застыла, как смола.

Телеграфный аппарат сожрал мои слова и облизнулся. Саша промолчала в ответ предрассветной тишиной.

Я действительно все так и сделал, как обещал: я забыл о ней!

Я сбросил с себя прах столетий.

Закрыв глаза и затем открыл их.

Вышел на балкон и посмотрел на Неву.

Я представил себе своих прародителей — всех, всех!

Две тысячи лет истории, и в результате на свет появляюсь я!

Я появился на свет в результате одного-единственного брака. Но этому браку предшествовали два, двум предшествовали восемь, восьми предшествовали шестнадцать, и так до бесконечности. Огромное, невероятное количество свадеб предшествовало моему появлению на свет!

Я решил сыграть все эти свадьбы, прямо сейчас, здесь! Собрать вместе всех моих прародителей, в лучшую пору их жизни, когда они были еще совсем молодыми: тысячи и тысячи моих воскресших пращуров, молодых и красивых девушек и парней. Свадьба моих прародителей на земле и на небе, на севере и на юге, во всех часовых поясах, вечная и бесконечная свадьба, один огромный многотысячный праздник в одно время, в одном месте, сейчас.

И когда совсем стемнеет — одна на всех огромная и прекрасная брачная ночь!

Скажите, ну разве моя жизнь может быть напрасной или бесцельной, если она является результатом страсти тысяч и тысяч людей? Их титанических усилий, крови и пота, воображения, вдохновения, исполинского любовного труда!

Моя жизнь уже не бессмыслица, она прекрасна!

Я взял лист бумаги и порвал его в мелкие клочья. Он был совершенно чистым, но я порвал его в мелкие клочья.

Поставил бокал на стол, и на скатерти отпечатался влажный серый кружок.

Выдохнул сноп огня.

За каких-нибудь полминуты научился думать так, как думают вещи.

Засыпал снегом всю Сибирь — от Урала до Камчатки!

Покрыл пять тысяч лошадок орловской породы!

Я выставил часовых по ту сторону этого мира.

Гвоздями присобачил Лаэрта к Гамлету.

Вдруг пошел дождь.

Я иду по серому городу в сером плаще, подаю нищим, люблюсь архитектурными излишествами, как вдруг моя речь автоматически выстраивается в столбцы:

— Оазис моей души!

— Моя Мессалина!

— Единственная и неуголимая жажда!

— Все эти годы наши отношения не теряют своей свежести.

— Многие дни были свидетелем тому, а еще чайные ложки и подстаканники.

— Сегодня я Мать Земля (странно слышать такое от мужчины), я чувствую, как ты ступаешь по мне своими босыми пятками, розовыми от удовольствия жить.

— Душа вечна. Она модница. Она меняет платья и после каждой смерти подыскивает что-то новенькое; когда я впервые раздел тебя глазами, твоя вечная душа была одета чересчур экстравагантно: тонкие колени, линии тела, уходящие в стратосферу, глаза острые, словно копья нибелунгов, шея жирафа, по которой стекает дождевая вода со всех крыш этого мира.

— Тело было таким возбуждающим, что я, признаюсь, сразу не почувствовал твоей души. Я готов бесконечно, миллиарды лет проживать это мгновение, когда хрусталики наших глаз ударились друг о друга и зазвенели. Мои всепогодные цветы совершенно нелогичны. Однако на твоем лице они распускаются с нечеловеческим удовольствием.



Я вышел наружу из собственного Я.

Я находился на планете Земля, напроць забрызганной томатным соусом и кровью бабочек. Над моим родничком (Антарктида на черепе) совершалось в среднем около миллиарда сделок в одну секунду. Нашествия на меня варваров приобрели характер эпидемий гриппа. Ящеры с калькуляторами и кассовыми аппаратами сновали по всем меридианам и параллелям, по моим небесам и моим карманам. Я не успевал считать потраченные деньги. Деньги, которые я должен был заработать только через год, уже входили в планы каких-то компаний и уже принадлежали им.

Чесотка, недержание мочи, головная боль, перхоть, насморк приносили огромные прибыли предприимчивым гуманоидам, я уже не говорю о тысячах способов омоложения кожи и миллиарде способов лечения простатита.

Я стоял на перекрестке вселенных в позе Арлекино. Я чувствовал этот пестрый и зловонный мир за своей спиной. В ногах у меня валялась моя безжизненная тень. Она была после похмелья, она стонала, но я изо всех сил каждые полчаса избивал ее ногами, а она ползла на локтях все дальше и дальше от меня и тянулась, как жевательная резинка.

Я пошире открыл глаза и увидел, как из человечества уходит время, как дворники сметают в мусорные баки непризнанные шедевры, а стаканы в барной стойке хотят оказаться в самом центре этого мира, все сущее вопит о себе: «Я! Я! Я!»

И живое, и мертвое — все желает оказаться в центре бытия, но время душит монотонностью и стирает лица.

«Я! Я! Я!» — раздаются отовсюду голоса обреченных, и книга, лежащая на моем столе, и карандаш кричат о себе, не говоря уж о молодых дарованиях, подающих на-

дежды талантах, которые хотят быть услышанными и без этого не мыслят жизни. Но вот накатывает волна: там, где только что был чей-то голос, уже нет ничего, кроме пузырей, плывущих вверх к серебряной амальгаме.

Откуда такая жажда славы?

Почему утренний пейзаж просится в картину?

Новый прибор, больничная утка мечтают о большом кино и просятся в кадр?

А что говорить о людях?

Не ради ли собственной славы Господь создал этот мир, где все желает прославиться?

Все мы солома под ногами Господними!

Да не такая уж мы и солома!

И солома не такая уж и солома!

И она тоже восстает против забвения и просится в кадр!

В шесть ко мне в западный предел, освещенный светом шести созвездий, влетела птица с человеческим лицом — Гаруда. Она была вся, с ног до головы, в утренних нотах, на губах у нее висела флейта, трава под ее ногами ритмично раскачивалась слева направо с точностью метронома.

Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три... музыкальная, танцующая трава.

Амен!

Гаруда стояла настежь открытая, искренняя, она была готова честно рассказать свою историю, всю подноготную о себе. Я кивнул, она заговорила, и ее горячие слезы в три ручья потекли на мои плечи и грудь.

Она рассказала, как рано умерла мать, как в возрасте шести лет в девочке проснулась необычайная страсть к музыке, как однажды в кузове грузовой машины везли гроб с телом, и вдруг дети увидели, как машина упала в кювет, и гроб выпал, и покойник вывалился и покатил-

ся вниз, как вдруг ударила молния и пошел сильнейший град. Стеклянные бусы били об асфальт и рикошетом попадали в преисподнюю. Bravo! Великолепное шоу!

Гаруда исповедовалась. Я отпускал ей грехи. Она говорила, говорила, говорила, а я целовал ее лицо и думал: как это возможно так много блудить и лжесвидетельствовать, а ведь когда-то она была просто подающей надежды пианисткой. Я целовал ее пальцы, пытаясь хоть как-то разобраться в ее прошлом, понять, осмыслить и пролить свет чувственности на биографию прекрасной одалиски.

Из ее слов я также узнал, что три года тому назад в консерватории вспыхнуло пламя. По длинным коридорам в ужасе носились и задыхающиеся от копоти рояли, случайно забытые виолончели, студенты и преподаватели смотрели, как огонь рвется из окон, кричали от ужаса, а хористки, соединившись в небольшую группу, запели «Огниво радости».

Они понимали — это горит их будущее бессмертие.

Однако Гаруда не заплакала и не испугалась, она вошла в горящее здание и стала глотать пламя. Она его пила, лизала, вдыхала в себя, грызла огонь, она впитывала его как губка. Глаза ее закатились от страха и возбуждения, она сгорала заживо, огонь бушевал снаружи и внутри: в желудке, в крови, в фойе и гардеробе, в ее прошлом и будущем, на щеках, в легких, в нотной библиотеке, кипел в давно забытых детских грезах, детских воспоминаниях, и наконец душа вспыхнула, как солома.

Пот стекал по ногам, и бил озноб.

Гаруда сгорела дотла, но через несколько мгновений она воскресла, восстала из пламени, словно птица феникс. С тех пор флейта стала продолжением ее тела, она повисла у нее на губах, издавая чудесные мелодии.

Все говорили: гениальная, гениальная флейтистка.

В ее в руках флейта оживает и уносит в бушующее море, как будто она дует не в железную трубочку, а в пенис Аполлона. Что за трели, что за чудо — свист, равного которому нет и уже не будет. Какая радость, какая неземная радость есть в этой музыке, которая льется из заживо сожженной души и плещется в этой душе, как бездонный океан.

Она играет сама, она сама сочиняет, сама пишет ноты, сама водит машину, сама ест при помощи вилки или просто руками, сама звонит, приходит сама, когда я ее об этом не прошу, опережая мои желания.

И ее не надо ничему учить!

Я взял Гаруду за руку и пошел по правой оконечности неба прямо в кинотеатр.

И вот мы с Гарудой сидим в новом американском кинотеатре и смотрим, как тени людей с оглушительным воем носятся по туго натянутой огромной простыне, залпанной то ли кровью, то ли дешевой гуашью.

Вокруг нас сидят невротики, все истощенные, плоские, штампованные, с заусенцами, они только что напились кока-колы и съели по полтонны поп-корна. Этот напиток надувает ядовитыми газами их желудки и дает ложное ощущение своей личной причастности к буржуазной цивилизации: если пьешь эту вонючую жидкость, значит, ты не одинок, значит, не просто так коптишь небо!

Гуммозиво льется им в зрачки! Они и счастливы!

Но мы с Гарудой не причастились. Фильм-рахит, фильм-урод, порождение фантазии выжившего из ума режиссера-выкидыша нам не нравился.

Между тем у меня накопилось очень много дел, во вторник я должен приступить к репетициям, но суббота застряла в ходе времен. Время как бы остановилось. Вселенная подавилась этой самой так называемой субботой. День затянулся настолько, что терпение подходило

к концу. Мы вышли из кинотеатра и несколько дней ходили по бульварам, а день все не кончался.

Время остановилось. Отверстие, через которое время уходило в бесконечность, засорилось этой проклятой субботой, и время стало скапливаться в одном месте, превращаясь в гигантскую лужу. Тем не менее надо было как-то выходить из положения, как вдруг в мироздание решил вмешаться мэр города. Откуда-то появилось десяток ассенизационных машин, они стали дружно откачивать Время, и скоро рассвело.

Всю последующую неделю Гаруда бежала по гариевой дорожке и держала меня как эстафетную палочку в правой руке. В среду вечером Гаруда передала эстафету. Кому, я уже не помню.



Я вышел на улицу и увидел заснеженное петербургское Солнце, вокруг которого бродили поэты прошлого и читали свои бессмертные стихотворения. С неба сыпались микроскопические холодные балерины, и каждая из них танцевала танец неведения. Часа через два я вернулся в номер. Только я захлопнул за собой дверь, как в нее постучали. Я открыл. Вошел мальчишка и развязно сказал:

— Я собираюсь снять фильм, хочу, чтобы вы написали сценарий.

— О чем фильм? — спросил я.

— Я сниму фильм о себе.

— А кто будет играть главную роль?

— Я!

— А снимать?

— Я!

И тогда я превратил молодого кинематографиста в помидор, который тут же подарил горничной, что пришла сменить белье и полотенца.

Изойдите из меня все чужие печали!

Мне хочется вдохнуть аромат венецианских каналов в пасмурный день, долго бродить под дождем, разгадывая архитектурные кроссворды.

Мы просто разучились быть кем-то, кроме самих себя! Оживать в чужих душах, не используя для этого приспособления вроде целлулоида, окрашенного во все цвета человеческой страсти.

Через четыре часа я был в Венеции. Мне хотелось одиночества, вокруг бушевал карнавал. Я отдал карнавал в химчистку. Я остался с водой и камнем наедине.

Нас было только трое.

Я, вода и камень.

Как будто смерть и жизнь сидели друг напротив друга и молча смотрели в глаза.

...Восемнадцатого я вернулся домой, наевшись вволю апеннинских камней, нахлебавшись воды из каналов. Первое, на что я нарвался, был колоссальный, разрастающийся скандал!

Саша сидела на ковре в нижнем белье, пьяная, и сквернословила. Я еще не успел поставить чемодан в прихожей, как тут же, ни о чем особенно не задумываясь, бросился в бой, исторгая из простуженного горла клубы пламени и дыма. Чтобы вернуть ее в сознание, я разразился огромным пламенным монологом.

— Умоляю, не прикасайся ко мне, — закричал я, — получишь обыкновенный взгляд на вещи вместо вечного праздника!

— Я хочу тебя, — сказала она шепотом, и стекла в квартире задрожали.

— Как ты вошла в квартиру?

— У меня есть ключ.

— Откуда?

— Я хранила его десять лет.

— Давно ты здесь?

— Три дня не выхожу из твоей... квартиры.

— Ты пьяна!

— Да, я напилась!

— Зачем ты пришла?

— Я хочу, чтобы между нами все закончилось раз и навсегда.

— Что я должен для этого сделать?

— Оставь меня в покое!

— Я тебя давно оставил в покое!

— Ты постоянно думаешь обо мне, я это чувствую!

— Хорошо, я не буду думать о тебе.

— Ты играешь с моим образом.

— Я не буду играть с твоим образом.

— Ты удержишь меня, как собаку, на привязи. Дай слово, что оставишь меня в покое! Я хочу, чтобы ты поклялся прямо сейчас.

— Мне легче написать, — сказал я, взял Мессалину на руки, положил ее на письменный стол в кабинете, достал из ящика «паркер» и стал писать у нее на бедрах, от колена к животу, текст клятвы, но крупно, чтобы она могла прочесть завтра, когда немного протрезвеет.

Я написал: «Скоро я прольюсь над твоей головой кислотным дождем, ты вымокнешь вся до нитки, ты растворишься во мне без остатка, и все твои клятвы превратятся в пыль! Я растворю хрусталики твоих глаз, все твои сны, письма, наивные детские представления о смерти. У тебя уже не получится вернуться к прежней жизни. Я есть та самая вечность, которая принадлежит тебе одной: «Частная собственность, вход воспрещен». С тех пор как мы встретились, я всегда рядом с тобой, я — это ты! Мы одна личность! Много лет тому назад мы подошли слишком близко друг к другу, с тех пор любое мое движение отдается в твоём воспалённом вооб-

ражении болью. Наши души прыгают, как белки с ветки на ветку, спасаясь от картечи, от банальностей, летящих поверх наших голов».

Она подошла к зеркалу, прочитала мои слова и ушла в спальню, не сказав ни слова, закуталась в одеяло и заснула. На часах уже не было половины ночи: как будто снесло шрапнелью! Кто-то в углу Вселенной шелестел конфетной бумагой, где-то за бетонной стеной студент-китаец учил латынь, он хотел стать кардиохирургом, лифт скользил вверх и вниз, на стоянке визжала автосигнализация, и где-то в свободной нише мира образовалось пространство для игры в шахматы. Было три часа ночи. Я умылся, подстриг виски, постирал рубашку и долго ходил по квартире, прислушиваясь к собственным шагам, иногда поглядывая на спящую царевну. Потом я открыл окно, вдохнул ночь.

Я сказал: «Какая там к черту нежность».

Я увидел, как Босх, перепуганный им самим нарисованным миром, бежит по нашей улице в надежде встретить на своем пути простое и приятное человеческое лицо, исполненное красоты и обаяния.

Утром она тихо ушла, пока я спал.

Я проснулся, прошелся по квартире, ее нигде не было. Никогда не слышал такой тишины, ужасной, омерзительной тишины в своем собственном доме.

Душа болела.

Я вызвал детского врача.

Он попросил открыть рот и заглянул в меня.

— Вы в ауте, — сказал он.

На столе остался рецепт. Врач испарился.

Я взял его и прочитал: «Вы много говорите о скоротечности жизни, а ведете себя так, как будто вам даровано бессмертие. Что вам мешает жить счастливо с женщиной, которую вы любите, которая любит вас?»

— Люди, — ответил я, — они будут плотать жареные звезды, бегать по футбольному полю за блестящим комочком живой ртути, они будут импортировать в никуда выходные дни, пожирать картофельные очистки, уничтожать друг друга в мировых войнах, будут облаками вытирать нефтяные пятна, будут ломать и рвать у девушек колки и струны, растущие из прекрасного ниоткуда в прекрасное никуда, но при этом никогда не освободятся от пессимизма. И я один из них. Я — человек.

— Жаль, вы очень красивая пара!

Мне захотелось подышать свежим воздухом.

Я вышел в парк.

Мой парк.

Здесь каждое дерево — это памятник пережитому.



Я поднял голову вверх и увидел над собой поющие и реющие флаги, миллиарды флагов, и среди них необычайное разнообразие: шелковые, спелые, еще зеленые, соленые и сладкие, истекающие кровью, абрикосовые, стальные, резиновые и надувные, сияющие, из нержавеющей стали. Надо мной пронеслось войско Царствия небесного, и на небе появились новые знамена, сотканые из интуиций.

После на небесах началась страшная битва, я опрокинул лицо в небеса и стал смотреть. Нечисть скоро была повержена, мне на лицо пролился кровавый дождь, после чего со всех сторон слетелось воронье и стало пожирать останки поверженной сатанинской плоти. Вороны, пожиравшие дух, застилающие московское небо, иссеченные стрелами и мечами.

Увиденное натолкнуло меня на размышления о времени.

Секунда так устроена: первая ее часть — это наше рождение, вторая ее половина — смерть. Секунда подобна спектаклю, состоящему из двух актов.

Антракт такой короткий, что не успеваешь моргнуть после финального занавеса, сразу же начинается новый спектакль. В одном мгновении спрессованы рождение и смерть.

Смерть, переживаемая постоянно, прекрасна, потому что воскрешение происходит каждую секунду, и ты уже другой, свежий, сочный, оптимистичный и воскресший. Каждое мгновение ты новорожденный и непорочный, сияющий, чистый. Никто не имеет права обвинять тебя в твоих прошлых грехах, потому что они были в прошлой жизни и совершал их совершенно другой человек. Никто не имеет права судить меня, требовать от меня покаяния, и никто не имеет права быть со мною жестоким и выносить приговор, ибо я только что появился на свет.

Только-только.

Только что.

Только что.

Секунда — и снова родился.

Здравствуйте, это я.

Я радостный и сияющий, я не плачу, я смеюсь, я чистый и почти прозрачный.

Жизнь — это великая тайна, но еще большая тайна — это вечное воскрешение.

Между тем было прекрасное воскресное утро. Но уже совсем иное. Небеса распахнуты настезь. Ласточки сверкают всеми гранями.

Утро, прекрасное утро, разве оно непорочно? Конечно же, оно порочно, потому что желает своего продолжения, жаждет жизни, оно чувственно и похотливо, оно желает чувствовать и не стыдится этого.



Слепые дети идут через бескрайнюю степь, развернувшись в широкую цепь, они тащат за собой рыбацкую сеть, собирая рыжую, давно сгоревшую на летнем солнце траву.

Они идут и поют песни неведения, только на слух ощущая присутствие друг друга. Они идут туда, куда глядят их невидящие глаза: сквозь эпохи. Они начинают с античности, и наконец первый улов: в сеть попадают мраморные головы и отрубленные руки, амфоры с вином.

После они тянут свой невод через Средневековье, и в сеть попадают кресты, обгоревшие, обугленные ведьмы, книги алхимиков и горы ржавого оружия. Через новое время они приходят в наш век — в руках у них уже не сеть, а высохшая, разодранная ветошь, больше похожая на паутину.

Измощенные, они садятся на корточки и шарят по земле ладонями в поисках прошлого. Но нет, ничего нет, кроме пыли веков. Во второй половине дня идет снег. Из-под сугробов слышны стоны несчастных умирающих детей.

Они прожили десять тысяч лет и остались без улова.

Они не прозрели, они так ничего и не увидели, они не поняли цену жизни, не осознали, что жизнь — это великий дар.

Жизнь ушла. Вместо одного миллиона удовольствий осталась всемирная история. Дети ложатся животами вниз и умирают.

В живых остаются только двое: слепой мальчик и слепая девочка. Я и моя Мессалина. Мы сидим на привокзальной площади и копаемся друг у друга в карманах, для того чтобы наскрести на обыкновенный хлеб или, в лучшем случае, на тарелку супа в грязном привокзальном буфете. Какой-то прохожий в сером пальто и сто-

птаннных ботинках руками касается наших глаз, и вот оно — чудо из чудес!

Мы прозрели! Мы видим!

У нас в ладонях его деньги!

Неблагодарные... даже не сказали «спасибо» и сразу же, со всех ног бросились туда, где вертелось Чертово колесо и громко играла пустая, бездушная музыка. Да, да, мы забыли обо всем на свете и побежали в зимний парк на аттракционы.

Первым делом мы остановились около палатки и попросили горячий кофе. Я прижимал горячий бумажный стаканчик к своему сердцу, чтобы растопить ледяной панцирь, в котором оно заснуло, словно мертвая рыба. Время от времени я стаскивал с головы свою старую шляпу, пошитую еще во времена мезозоя, и сбивал, сбивал ею снежную пыль с Сашиных плеч, я боялся, что она растворится в холодном молоке, я боялся потерять ее.

К нам подошел огромный белый медведь. Он посмотрел на нас и сказал:

— Все царства этого мира сольются в одно, и вы станете новым Адамом и Евой, вы станете царствовать в этом новом мире, приготовьтесь, собирайтесь в дорогу, вас ждут эйфорические приключения. Скоро новый мир будет сотворен Всевышним.

Мы опешили, мы не знали, что ответить. Между тем медведь и не ждал от нас сентенций, он исчез за снежной белой занавеской, которая падала сверху вниз и никак не могла закончиться.

— Медведь говорил человеческим голосом, — сказала Мессалина.

— Все языки и голоса мира имеют одно происхождение, они все вышли из одних уст и туда же войдут. Все языки когда-нибудь вернуться в одну гортань, они будут проглочены, как леденец, — сказал я.

— Не всегда слова как сладкие конфеты.

— Есть слова, которые тают во рту, а есть такие, которые рождают шипы роз, кислоту и пламя. Я могу сжечь этот мир одним-единственным словом. Я сжег одним-единственным словом Трою. Я могу сжечь этот снег одним-единственным словом.

— Не надо, милый, я соскучилась по зиме!

— Разве ты не замерзла?

— Только ноги.

— Пройдемся.

Мы шли через парк. Вокруг не было ни души, только гипсовые изваяния, вечнозеленые деревья и горы железа, вращающегося вокруг своей оси с бешеной скоростью. Детские голоса носились в воздухе вместе с метелью, они то исчезали, то появлялись опять, но детей нигде не было. Звезды тоже были засыпаны снегом. Метель ворвалась во все пространства, в том числе и микромир. Завьюженные атомы и электроны плыли по своим орбитам. Электричество двигалось по проводам, клацая зубами, поеживаясь, как будто это был не направленный поток электронов, как будто это армия Наполеона бежала от азиатского минуса к европейскому плюсу.

Я задумался: вот это новость, скоро будет создан еще один, новый Космос. Что нужно для того, чтобы появилась еще одна Вселенная? Для этого нужен новый сквозняк. Значит, кто-то опять забыл закрыть дверь за собой. Каким же будет этот мир, в котором мы с моей возлюбленной станем новыми людьми, новым Адамом и новой Евой? С нас начнется новое человечество!

— Слушай, я хочу покататься на карусели, — сказала Мессалина.

— Прямо сейчас?

— Да.

— Но милая моя, здесь так холодно.

— Хватит болтать. Я хочу, чтобы оно понеслось с бешеной скоростью, и на одном из виражей у меня отлетела голова. Чтобы она у меня слетела с плеч, чтобы ее сдуло, как фантик со стола, я хочу забыть о лучшем из миров хотя бы на несколько мгновений. Я хочу тебя прямо сейчас, любой ценой, даже ценой своей собственной жизни.

— Но мы еще не осознали, кем друг другу приходимся, а ведь для тебя это было всегда очень важно!

— Если я потеряю еще одну секунду, я возненавижу тебя.

Скоро жизнь на Земле начнется сначала, подумал я про себя, и мы опять будем изгнаны из Рая. Я должен был найти другую женщину. Эта дикая, как плющ. Она живет только сердцем, только своими чувствами, а значит, новое человечество обречено. Сотни поколений наших потомков будут жить напрасно, они будут платить за ее грехи, история опять закончится полным фиаско. И все потому, что я дал волю своим чувствам, когда увидел ее в книжном магазине. Надо было сдержаться, уйти правым галсом на северо-запад. А я, дурачок, схватил ее на руки и бросился бежать на юго-восток.

— Ну долго ты будешь думать? — спросила Мессалина.

Я взял ее за руку и повел на помост, посадил на смешную карусельную лошадку в яблоках, спустился вниз, взял на себя рычаг, и мое колесо с бешеной скоростью завертелось. Мессалина вздрогнула и покрылась испариной, но это было только начало. Я уже не понимал, не понимал ни строчки из «Илиады», я только слышал ее истошные вопли и еще как скрипят ремни и шестеренки, приводящие в движение аттракцион. И все эти мощные ремни и стальные искрящиеся шестеренки были плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Я был счастлив, ибо все это богатство получил от рождения, ибо я был создан

по образу и подобию аттракциона, карусели, на которой за свою жизнь я с ветерком прокатил миллионы прекрасных фей, и они тоже кричали, обливаясь слезами, проваливались в бездну и вставали из нее. Они как полоумные смеялись, визжали от страха, некоторые даже просили меня остановиться. Но самые бесстрашные просили: «Еще! Еще! Еще!» И я поступал всякий раз так, как велела мне совесть — я прибавлял обороты. Но так, как моя Мессалина, не кричал никто.

Вдруг она замолчала, это был верный признак того, что пора останавливать машину. Я так и поступил, после поднялся на помост и подошел к Саше. Они сидела не на лошадке, куда я ее посадил, а на двугорбом верблюде. На плечах у нее не было головы.

Я стал искать Сашенькину голову.

Я взял в руки разорванный потрепанный трал и пошел просеивать снежную муку.

Я вспомнил о Марии-Антуанетте.

Я шел несколько дней, пока наконец в мои сети не попался долгожданный улов. Саша терпеливо ждала, когда наконец к ней вернется сознание.

Я еще раз поднялся на помост и поставил голову ей на плечи.

И она сразу же залепетала, залепетала, запела.

— О мой возлюбленный, — сказала Мессалина, — я умерла, я воскресла, только что я была по ту сторону жизни. Я была счастлива.

— Прекрасно.

— Больше не боюсь смерти, — сказала она.

— Кто воскресал, тот не боится смерти.

— Я знаю, какая она.

— Кто?

— Моя душа.

— Ну?

— Она огромная рыжая собака. Я гладила ее по шерсти и против, она терлась о мои ноги.

Я обнял Мессалину и закрыл глаза.

— Пить, — сказала она. — Я хочу пить.

Я напоил ее талым снегом, и, повинувшись року, уже в который раз в этой жизни мы расстались навсегда.

*
**

Дождь идет с поздней ночи до утра. Дорогие шлюхи сжигают огнеметами страсть жирных резиновых кашалотов. Поэты пьют жестяную водку, настоящую на ржавчине. Их неудавшиеся стихотворения бродят по заплаканным улицам, подняв воротники, слоняются бесцельно, заходят в ночные рестораны, приходят на ум таким же пьяным завсегдатаям, бьют лампочки в подъездах, заглядывают в сияющие окна, наконец возвращаются к поэтам в клетчатые тетради и черновики и заканчивают жизнь самоубийством.

Пока вода грызет жесть на крышах и в трубах, рабочие ночной смены, в твердых фартуках мечтают о прекрасной праздности, их мускулистые руки тонут в беспредельности, их руки становятся медузами и плывут по течению все дальше от берега в открытый океан... отдыхая, отдыхая, отдыхая, покачивая синими оборочками и отдыхая...

Иногда, в редкие минуты, почти чудом дождевые тучи уходят. И тогда с неба на людей смотрят не звезды, а танцы. Я сижу с душой, открытой настежь, и позволяю свободно продвигаться воздушным массам сквозь мою грудную клетку. Чтобы развлечься, я представляю себе движение воздуха и ветра как некое движение во мне Святого духа: привязал к своим обнаженным ребрам красивые пестрые ленточки, и они залепетали на все голоса.

Случайно я вдохнул в себя редчайшее по своей изумительной красоте мгновение. Я понял, что нахожусь повсюду, во все времена, и последнее мгновение стало расползаться, как кофейное пятно на скатерти, но только очень быстро... со скоростью света. И уже через минуту я впитал в себя Абсолют. Все рождения и все смерти всех живых существ во все времена. Я впитал в себя Господа Бога, как промокашка.

Минуты мне вполне хватило для того, чтобы прожить жизнь всех живых существ, когда-то обитавших на этой планете. Такого ощущения полноты бытия я не испытывал никогда.

Если человечество — это огромный корабль, плывущий в будущее, в смерть, в Ничто, тогда я сделал свой выбор: я прыгаю за борт, потому что хочу иной перспективы и обязан о себе позаботиться. Чтобы не испытывать судьбу, я хочу умереть прямо сейчас, но при этом остаться в живых.

Я хочу умирать каждое мгновение, а не один раз, но крупно, всерьез и по-настоящему. Я хочу раздробить свою смерть при помощи железной чаши и ступы для колки орехов, я хочу стереть свою смерть в пыль и принимать ее каждый день по чуть-чуть каждое мгновение.

Умирать и рождаться снова и снова.

Наполеон ежедневно принимал мышьяк, чтобы яд не имел над ним силы. Так и я желаю ежедневно принимать смерть, чтобы привыкнуть к ней, чтобы однажды не вылететь в дыру, не бухнуться лицом в грязь, чтобы ни ад, ни рай не стали для меня автобусными остановками, но всегда оставались духовными ориентирами, несли в себе символический смысл.

Я отпил из ладони последние прекрасные мгновения, которые принадлежали праздным, избранным счастливым, сделал последний глоток, вытер рукавом губы.

Опять пошел дождь. Я стоял босыми ногами на холодном полу. На стене за моей спиной сидела огромная цикада, она стрекотала, отсчитывая мое время, вращая усики разной длины. Моя жизнь медленно и плавно уходила вверх по диагонали.

Дождь между тем ни на минуту не прекращался. Он лупил по подоконнику, как железный заводной кролик. Я открыл форточку и стал вслушиваться в барабанную дробь. Мои глаза захлебывались дождевой водой. Вдруг мои мысли остановились. И стрелки на часах тоже. Остановилось мое сердце. Остановилась земля. Я перестал дышать, и дождь остановился, и огромная масса воды повисла между землею и небом.

Моя душа отделилась от моего тела.

Моя душа села на подлокотник кресла и положила голову на стол.

Она закрыла глаза и заснула.

Я посмотрел на нее с сожалением, я понял: она устала, ей надо отдохнуть, ее нельзя беспокоить пустяками! Пока моя душа дремала, я ничего не чувствовал: ни жизни, ни смерти, ни альфы, ни омеги, ни неба, ни земли.

Наконец она очнулась ото сна, медленно открыла глаза, медленно потянулась и сладко зевнула. Дождь с утренней силой обрушился на землю, и планета чуть было не раскололась надвое. Земная ось накренилась вправо и заскрипела.

Позвонили в дверь. Я открыл. Вошла Саша. С бутылкой вина, батонем белого хлеба и огромной банкой черной икры. Я снял с нее в прихожей мокрый плащ. Глаза у нее были шаловливые, безумные, в них отражался Париж недельной давности и затхлый, заплесневелый Страсбург. Мы сразу же откупорили вино.

— Я закрою форточку, — сказала она и потянулась рукой к окну.

- Я сам закрою.
- Я замерзла.
- Как поживает твое химическое машиностроение?
- Никаких сенсаций.
- Когда-то, давным-давно, ты хотела стать актрисой.
- Хочешь, я прочитаю тебе монолог Офелии?
- Прочитай.

Ни разу в своей жизни я не слышал такого цветочного и потустороннего, такого влажного и речного и одновременно такого эфемерного исполнения этого прекрасного монолога.

- Талантливо, — сказал я.
- Спасибо. — Саша отвела взгляд.
- Я же говорил, ты никогда не станешь актрисой.
- Ну, это мы еще увидим.
- Волосы растут обратно в голову, а не из головы.
- Ты о чем?
- Сегодня утром пошел побриться, посмотрел на себя в зеркало и представил, как прическа растет в обратную сторону... в голову!

— Не заговаривай мне зубы. Я кое о чем хочу тебя спросить.

- Давай.
 - А у тебя есть система ценностей? — спросила Саша.
- Это был неожиданный для меня вопрос. Это был слишком отвлеченный вопрос. Это был качественный вопрос.

— Нет, — сказал я, — у меня есть только система образов.

— Не кажется ли тебе, что наша Вселенная — это огромный бутерброд, падающий маслом вниз?

— У меня есть ощущение, что мы упадем маслом вверх.

- Как ты обрел такой масштаб чувств и мыслей?

— Я увидел тебя пять лет тому назад и обрел.

— А если честно?

— Я взял в руки сиротку, ударил ею по другой сиротке, и в результате этого удара родилась элегия. Потом вывернул кузнечика наизнанку... и готово!

— Твой рецепт счастья?

— Полкенгуру, триста граммов запрещенного танца, все это перемешать с коротенькими юбочками неформалок и сплюнуть через передние зубы, но так, чтобы струя резала металл не хуже автогена. Этой раскаленной дугой режешь небо на части. Каждому ангелу по огромному куску пирога. Ангелы задули свечи, и звезды погасли. Доброе утро, москвичи!

— Ты можешь говорить на человеческом языке?

— Нет.

— Ты счастлив?

— Да.

— У тебя в сердце ноль?

— Пустота.

— Я жила в твоём сердце?

— Семь раз отрежь, один раз отмерь!

— Где мы сейчас находимся?

— В полной неочевидности. В шивороте-навывороте.

— А именно?

— В кондитерском облаке. В туче из барбарисок. В центре мировой стиральной машины. Она даже с камня отмывает письма.

— Съешь что-нибудь.

— Я хочу напиться.

Я не хотел заниматься с ней любовью, мне хотелось вот так сидеть и разговаривать. Всю ночь напролет. Говорить и слушать по очереди, однако очень скоро совершенно случайно я обнаружил у себя на плечах ее ноги (вот оно, провидение!), причем беседа наша ничуть не

потеряла смысла, наоборот, разговор стал еще глубже и заинтересованнее.

— Ад и Рай, — говорил я, — представляют собой некие крайности. Впрочем, такой же крайностью является бессмертие. Но бессмертие еще более ужасно, потому что оно несет в себе бесконечность и является прямой антитезой нашему миру... какая она у тебя живая и болтливая... одним словом, я не хочу заключать никаких контрактов и соглашений с потусторонними силами, я свободный человек... он опять выскочил... когда живешь своей собственной жизнью и подолгу не подписываешь контракта с сатаной, дьяволом, коммерческими представителями вселенской агни-йоги, членами правительства, бухгалтерским сифилисом, редакторами воображения, директорскими шлюхами... аккуратнее, ты его сломаешь... административными щелочками, червячками сомнения, тогда и дышится по-другому. Да, жизнь иллюзорна! Однако ты права! Каждый человек имеет право иметь что-то надежное. Например, каждый должен знать: где верх, низ, запад и восток, где заканчивается он сам и начинается кто-то другой, другое дело — любимая женщина... здесь никогда не знаешь, где заканчиваешься сам и начинается она. Вот сейчас, когда я в тебе, скажи, где ты, а где я? Где заканчиваюсь я сам и начинаешься ты? Руку протянул. Вот она ты. Ноги протянул — вот она, смерть. Ты сидишь у меня на груди. Конопатая курносая девка щекочет мне пятки. Ты — моя жизнь, она — моя смерть, а теперь все вместе втроем займемся любовью! Я, ты, смерть! Дождь барабанит в окно. Пушкин слишком далек от нас! Байрон догорает где-то вдаль! Мчится, мчится тройка, и только дантесы летят из-под копыт! Давайте втроем запряжемся в тройку и помчимся по степи, заглушая безмолвие малиновым звоном гениталий. Поэтому прежде чем сгнуть на

веки вечные в бесконечности, украсим себя цветами... колокольчиками и комплиментами.

Мама!

Я закричал.

И потерял сознание.

Через несколько мгновений я очнулся.

Саша лежала у меня в ногах, у нее в глазах стояли утренние озера. Я продолжал говорить и не мог остановиться:

— Я часто был жесток с тобой, я не само совершенство, я не чист и не белоснежен. Прости, любимая, все, что оскверняет этот мир, оскверняет и меня. Я просыпаюсь в своей постели, весь перемазанный в нефти только потому, что где-то в Персидском заливе затонул танкер с полутора тысячами нефти на борту. Где-то в аэропорту расстреляли заложников, и кровь проступает через мои поры. Я бы с удовольствием променял свою шкуру, задымленную смогом, на ангельскую белую чешую, но это будет вопиющая ложь, посмотри, я ползу по песку, как выдра, перепачканная солярой, я рыдаю, я умираю от зловония. Все преступления этого мира на мне. И только ты — мое единственное вдохновение, единственная радость этого мира. Помнишь, как на осенней распродаже вдохновения ты пела псалмы и целовала поэтов, независимо от таланта, напивалась до полной потери памяти и боролась с бабочками на ринге, используя запрещенные приемы греко-римской борьбы? Помнишь, как ты кусала им крылья, как трещали шоколадницы в твоём стальном зажиме?

— Помню, — сказала Саша и грустно по-детски улыбнулась.

Я замолчал.

Заткнулся!

Наступила пауза.

Часы этого мира хрустнули и остановились.



Демоны несколько раз просыпались этой ночью: на крышу с деревьев сыпалась железная кленовая смесь. Ночь была тихая, слишком теплая для октября и совершенно безветренная. А в три часа началась инаугурация одного из католических поэтов павшей империи. Повсюду завертелись христианские мельницы, поднялся ветер, и народы вместе с пылью и бумагой полетели вдоль земли. Пламя, от которого не было ни тепла, ни света, захлестнуло все пустое, вторичное, и оно сгорело на наших глазах. У нас в ногах бушевало пламя, в котором корчились все порождения зла, все похоти, все знаки бесчувственного времени: закладные камни с надписями, бронзовые головы, мемориальные доски... словно все они были сделаны из бездымного пороха.

Море шумело где-то совсем рядом. Поднялся ветер, и начался бешеный шторм. Мы с Сашей вышли на берег. Море выбрасывало на береговую отмель странные вещи.

Сначала мы нашли несколько сотен утопших кардиналов де Ришелье, мертвых, раздувшихся от воды, их лица были похожи на государственные печати. Потом мы нашли поющего кита и стащили его обратно в воду; вскоре на берег выбросило огромный белый рояль. Крышка была открыта настежь, и струны гудели на ветру, они чревовещали из белого ящика.

Я зарыл свою правую ногу в песок, чтобы меня не унесло ветром, и застыл словно ящерица, прислушиваясь к гудящему пророчеству. Сашенька впитывала в себя мои иллюзии, порожденные струнной вибрацией. Она сняла с себя платье, чтобы уменьшить парусность, и закрыла глаза.

Мы стояли на ветру времени и дрожали от холода.

Мы закрыли глаза, и перед нами пронеслось наше будущее.

Роза ветров впрыснула мне в глотку свой гремящий аромат.

Рояль гудел мощно, как электрическая подстанция.

За нашими спинами шумели сосны.

— Такого ветра я не видела тысячу лет! — закричала Саша.

— Он дует со скоростью света!

— Чулки трещат по швам.

— У меня качаются зубы.

— Я слышу, как охают корни моих волос.

— Этот ветер вырвет сердце из груди.

И точно.

Вдруг нас подняло и понесло куда-то.

Мы летели по воздуху, взявшись за руки, и уже не слушали, что будет потом, нам стало безразлично наше будущее.

Мы влетели, как два футбольных мяча, в чужие окна, проломили раму и стекла и упали на пол. Нам было все равно, мы больше не могли ждать.

Спустя много-много лет я написал ей письмо, где подробно описал случившееся в этот вечер. *«Ты помнишь, милая, как выло раненое небо, как мы упали на пол в чужой квартире и покатались под стол, как мои зубы выбивали чечетку, как осень отступила на два шага назад, мокрые стаканы посыпались на подтаявший лед.*

Умирать и воскресать под моей тяжестью на полу из грубо оструганных досок, снова и снова в течение этих двух часов. Только твои феи, потерявшие последние надежды на собственную совесть и поэтому совершенно бесстрашные, могли позволить себе желать так откровенно не прятать, не скрывать, не подавлять желаний.

Всю жизнь я смотрел на твоих фей с любовью и вождением, я чувствовал, что в моих недрах поспел тяжелый и раскаленный уран, титан, никель, магний, марганец, я

чувствовал, как по моему лицу стекают вниз потоки раскаленной лавы, что опять, снова и снова, я готов к новым извержениям, что эта гремучая и раскаленная рубиновая смесь уже поспела, что, если я не освобожусь от нее, не выброшу наружу, она сожжет меня изнутри, превратит меня в пыль, золу, в шинель Александра Македонского, в зеро! Я должен был выплеснуть наружу все, что так долго, многие годы, хранил в себе.

Твои феи окружили нас (я был сверху), они сидели вокруг, подняв подола своих сарафанов, они гремели кольцами, серьгами, украшениями и прищелкивали языками. Я поднял голову и посмотрел на них. В моем взгляде было много битого стекла и молдавской музыки.

И тогда они поняли: надо бежать, чтобы не забеременеть от меня!

От моей зажигалки!

От моих шнурков!

От моих черновиков!

От горы Фуджимаки.

От руки учителя, перепачканной мелом.

От латинской Q.

От зенитного патрона, прошедшего сквозь нарезной ствол, летящего в цель.

Но пришло мое время. Я взорвался! И лава полетела во все стороны, вызывая законное негодование ревнивых мужей, моралистов, старых дев, давая жизнь без разбору всему на своем пути: листьям, траве, кометам, научным теориям, озарениям.

Полтора часа прошло так быстро, что я и не заметил. Мы вышли из чужой квартиры и, взявшись за руки, пошли по улице. Ветер давно успокоился. Между тем быстро, очень быстро стемнело. В желудке, в небесах и в моей опустошенной гигантской душе. Солнце краешком своим еще едва касалось моих воспоминаний о детстве: вот он, ма-

ленький городок на берегу теплого моря. Дерево, на котором растут турецкие кривые сабли-ятаганы. Они время от времени падают на землю. Я поднимаю один и вгрызаюсь зубами в проржавевшую черную сталь. В глубине лезвия — круглые и плоские зерна в медовом отваре. Надо идти в школу. Я еще ребенок, мне семь лет.

Я подхожу к школе. Пахнет сиренью и чернилами. Дети строятся на школьном дворе по классам. Вступает оркестр. Несколько рабочих стаскивают с четырехэтажного здания школы крышу под радостное, счастливое улюлюканье старшеклассников. Крыша планирует, падает на землю и разламывается на куски. Над школой рабочие устанавливают брезентовый шатито.

На баскетбольной площадке стелят ковер. Выбегает директор школы — рыжий. На нем красный парик, на носу — пробка. Он делает несколько сальто, достает из штанишек скрипку и листок бумаги, а потом произносит маленькую речь. Он поздравляет детей и их родителей с началом учебного года, корчит рожицы, косит глаза и высовывает язык. Ему аплодируют. Опять вступает школьный оркестр. Директор спускается вниз по ступенькам и дает пинка своему заместителю по воспитательной работе, клоуну Франсуа, тот подпрыгивает и мчится к крохотной трибунке. Он несколько раз падает по дороге. Дети в восторге. Я, семилетний, поднимаю голову и вижу в небе серебряный маленький самолет».

Саша остановила мои воспоминания.

— О чем ты задумался? — спросила она.

— Даже не верится, что когда-то мы были детьми.

— Мы постоянно превращаемся и перерождаемся, как заколдованные. В кого мы превращаемся сейчас? — спросила Саша.

— Не знаю.

— Знаешь, но боишься сказать. Мы стареем.

— Неправда! Мы медленно превращаемся в цветы, в гроздья сирени, в звезды, в дождь. Мы пришли в этот мир детьми, а уйдем в мир иной дождем.

На этом свете мы шли с Александрой по улице.

На том свете, в подземелье Харона, беременные феи гребли в полночной тьме, и повсюду, тут и там, были видны их белые, фосфоресцирующие синевой весла, их полупрозрачные белые платья.

Я съел живую истину, вытянул правую руку вправо. Я стал шарить в темноте, зацепил пальцем скандал и вытащил его на свет божий. Спустя полгода Мессалина случайно увидела нас, идущих по улице с Афиной Палладой.

Мне предъявили страшные обвинения.

**

Я защищался, как мог.

Вот моя речь на суде: «Неправда, я никогда не проклинал твоих платьев, никогда не ломал твои каблукы, однажды я поссорился с пылью и стер ее влажной тряпкой с твоего изнеженного лица! Я никогда не выворачивал наизнанку твои бедра, не доставал оттуда перламутровую красную раковину, я не разбивал камнем ее панцирь, подставляя под беспощадные лучи солнца твой влажный, дрожащий от возбуждения моллюск.

Украл всего один раз. Я носил его три недели во рту, чтобы он не высох и не умер, а после аккуратно, нежно и незаметно вернул его на место.

Ты спрашиваешь меня, как он вел себя эти три недели? Он скрипел, переворачивался, прыгал, как кузнечик, он играл с моим языком в иллирийские игры, он стучал в мои зубы, как в ксилофон, перламутровой жемчужинной, я ходил с закрытым ртом, а из моих ушей сочились сладкие звуки танцевальных мелодий. Он перепутал не-

бо и океан, он смотрел в мою тьму, как будто она голубая бездна. Эти две недели я был для него волной, бьющейся о коралловые рифы, морским простором, лучшим другом, визирем, его надворным советником.

Мы разговаривали с твоим моллюском часами, в своих магических и телепатических беседах с ним я касался кончиком языка самых разных тем — от высокой литературы до музыки. Однажды он оказался прав, и мы сильно поссорились.

У меня не было иных доводов, кроме одного: я открыл рот, и он стал медленно сохнуть. Лишенный животворной связи с тобой, за несколько мгновений он обветрился, и тогда из жалости я закрыл рот.

Далее...

Я не резал твои платья ножницами, не убивал твоих мужчин. Твое личное дело, по какой земле ходить. Однако мне всегда казалось, что они недостаточно одухотворенные существа, а для любви к тебе, помимо шестидюймового пробойника, нужна живая душа. Твои самцы никогда не бегали босиком по лужам и не пытались ягодицами вытащить земную ось, торчащую из центра Антарктиды. Их всех похоронят в кошельках, я тебе клянусь, у одних гроб будет на защелке, а у других — на молнии. Но ангелы пятого неба не станут читать по клубным картам и визитным карточкам. Каждому из них влепят с размаху по двадцать миллиардов лет на посудомойке в аду за то, что они были поверхностны и очень формальны с тобой... и это будет правильно и хорошо! И как только ты могла вынести все это.

Ты грешила с ними только из любопытства! Всех попробовать, пригубить, прикусить, прижать к пятому меридиану, придумать любовь, какой на самой деле никогда не было, и в результате прожить воображаемую ночь с воображаемым Казановой.

И вдруг среди ночи — хлоп! Казанова лопнул, как мыльный пузырь, и сдулся. Наткнулся на острое слово. Ты просто хотела пошутить, бедняжка не понял юмора!

Я не могу тебе сказать правду о себе — это все равно, что выстрелить из ружья в бабочку. Мои тайны сокрыты за моими стальными ребрами, в недрах моего базальтового черепа.

Я никогда не экспериментировал с жизнью. Смешно, когда человек стремится к полноте бытия, сам себя сажает в клетку, сам себя превращает в кролика, сам себе вживляет в мозг электроды, сам себе подмешивает в пищу наркотики, химикалии и сам за собой наблюдает. Или, например, занимается любовью в ночном метро, потому что никогда не пробовал. Это искусственно и лживо. Пусть эти безмозглые черви жрут наркотики, делают себе клистиры из сусального золота и спят на остро заточенных фамильных драгоценностях. Есть только одна материя, с которой я согласен экспериментировать, — это мысль.

Амба!

Ты — мое счастье. Ты пробуждаешь мысли. Мы можем строить свои отношения, искать новое только на этой территории. Зачем нам с тобой дешевые эксперименты с грибами, семенами спорыньи.

Мысль — вот главное. Не океан любви, не моя страсть. Моя мысль о тебе. И твоя мысль обо мне. Моя мысль о мире. О шахматном тупике, в который попадает каждый живущий. Я пытаюсь думать, но мир создан для того, чтобы не дать мыслителю сосредоточиться:

Дюймовочки матерятся.

Голый кочегар идет под дождем и курит.

Старуха пытается разбить телефоном грецкий орех.

Нападающий выходит к пустым воротам и сдувается!

Далее.

Я не для того проливаю слезы в черные лужицы Вселенной, чтобы из нее произрастали драконы. Я хочу знать, кто ответит за детей, которые заживо сжигали других детей.

Давай я застегну на спине твои проклятые пуговицы! Глупо ревновать к женщине, с которой я шел по улице.

Далее.

Я сижу за круглым столом и разговариваю с Антихристом. У него всегда свежий белый воротничок и грязь под ногтями. Его тело есть странная смесь: он на четверть состоит из заблуждений Гегеля о том, что мир двоичен, и на три четверти состоит из гоголя-моголя. Он говорит мне, говорит, говорит, я делаю вид, что слушаю, а на самом деле думаю о тебе, вдыхаю аромат осеннего тления, слушаю трамвайные зонги и впитываю через поры аромат грозовой тучи. Сатана ведет себя как настоящий герой, напрочь лишенный скромности, его слова пахнут дешевым одеколоном, он соткан из тысячи заблуждений, а что такое заблуждение? Это мысль, лежащая на поверхности, это такая мысль, к которой только надо дотянуться рукой.

Он говорит.

Я слушаю.

Он улыбается.

Я плачу.

Он выдыхает.

Я на вдохе.

Он берет вилку.

Я беру нож.

Он смотрит в пол.

Я в потолок.

Мы едим облака, жаренные на оливковом масле, покрытые тонкой ароматной аппетитно пахнущей корочкой.

Пятна расходятся по небу и оседают на ребрах далматинских борзых.

Антихрист ест пудинг из солнечной плазмы. Это очень радостный и вкусный пудинг. Его подают всегда на тарелке, сделанной по образу и подобию китайской пагоды, то есть Антихрист ест солнце, зацепившееся на закате о крышу пагоды.

Я завидую ему, я догадываюсь: это очень вкусно и жалею о том, что отказался. А он, знай свое, — продолжает свои атеистические бредни:

Он совращает меня, несет ересь, он говорит: “Посмотри, как все просто. У Господа тоже есть душа и тело. В Святом Писании сказано: “Церковь есть тело Христова”. И там же сказано, что любая душа хочет противного телу. Значит, душа Христова хочет противного Церкви. Если Церковь есть тело Христово, тогда душе Господней Церковь противна”.

Я не хочу больше слушать, опускаю пальцы в гипс и замазываю себе уши, и вдруг начинается дождь. Капли бьют со всей силы о золотые купола сорока сороков. За одно прикосновение они впитывают в себя молитвы всех страждущих, а после отлетают, исчезнув в дождевой стене.

Антихрист протягивает мне свою визитную карточку. Я ему отдаю свою. Он позвонит мне вечером в пятницу в театр. Я буду сидеть на сцене перед раскрытой истиной и молчать, как яблоко перед яблоневым деревом. Я буду частью истины, истина останется высокой. Я — часть истины, я плод с древа ее, но как же она высока!

Далее.

Я встал в шесть часов утра, солнце уже стояло над горизонтом, словно часовой. Был летний день, повсюду по небу разъезжали египетские боги и святые на своих огромных колесницах. Земля благоухала, цветы впитывали в себя соленый солнечный нектар, босые детишки бегали

по траве, играя в мяч. Ласточки носились по воздуху, показывая фигуры высшего пилотажа. Весь мир, так и не умеющий летать, смотрел на них с завистью.

Антихрист садится в девятисотый «мерседес», и «Прощай гуси».

Далее.

Незаметно смеркается, наступает эпоха модерна, я вхожу в огромный балетный зал. На спинках стульев висят вечерние платья. Обнаженные балерины гримируются в соседней комнате, они мажут свои изможденные тела жиром своих очень состоятельных поклонников, попавшихся в тенеты их музыкально-пластического сладострастия. А не пошутить ли мне над ними? Я опускаю платья в море, достаю их, отжимаю, начинаю вязать на платьях узлы так, чтобы ни за что не развязать. Я наступаю ногой на подол, а потом изо всех сил тяну двумя руками за лиф. Платья хрустят, охают, пенятся, злятся, кричат от боли.

Я бросаю их на пол и ухожу, до выхода на сцену остается ровно полчаса. Балерины бросаются к своим платьям, ломают о них ногти и рыдают.

Я стою, приложив щеку к оконному стеклу. Каким бы желанным ребенком наступающий день ни был, он еще сирота, и необходимо почувствовать его бездомность и понять, что у него нет ни имени, ни числа, ни родителей, у него еще нет места в чьей-нибудь памяти, нет ни единого значительного события.

Сегодня тебе не нужны никакие радости жизни, удовольствия и впечатления. Можно сидеть где-нибудь в кафе, пить чай и думать о человечестве как о феномене, с которым полчаса тому назад впервые столкнулся.

Вдруг посмотреть на себя в зеркало!

Я Человек!

Невиновен!»



Чашки и подсвечники на столе, дрожащие от близости моря, серые волны, заливающие мраморный пол ресторана, запах жареной рыбы и фруктов. Мелко нарезанные огурцы, занесенные первым снегом, помидоры в осенних ночных скандалах, большие листья салата, исписанные мелким почерком.

Рыба алюминиевая, стальная, местами никелированная, сверкающая на осеннем солнце всеми своими гранями, издающая глубоководные ароматы.

Ты сидишь как королева на открытой веранде ресторана, в огромном, очень тяжелом платье и дышишь, и от твоего дыхания запотевают небо. Время от времени я протираю его багряной салфеткой для того, чтобы видеть пенсионеров в спортивных тренировочных костюмах, проживающих в санатории «Солнечный берег» и каждое утро бегущих по пляжу ради всего святого, то есть своего собственного здоровья ради.

Официант приносит мороженое: огромный бриллиантовый айсберг. Ты, словно змея, открываешь рот и обтягиваешь эту огромную глыбу фруктового льда своей плотью, своей кожей, ты сильно увеличиваешься в размерах, но платье не лопается по швам, и я начинаю понимать, для чего оно такое тяжелое и для чего оно так сильно присборено.

Итак, айсберг оказывается в твоих недрах, и ты делаешь все возможное, чтобы расплавить сто сорок четыре тысячи тонн пломбира, те самые, о которые почти сто лет тому назад ударился двенадцатипалубный «Титаник».

— Не простудишься? — спрашиваю я и на всякий случай набрасываю свой пиджак тебе на плечи.

Ты смотришь мне в глаза, и я таю вместе с твоим мороженым.

Я то и дело подливаю тебе виноградной ностальгии розлива одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года, мужчина в черном двубортном костюме садится за рояль. У него странное лицо: тонкие монгольские глаза и тонкие монгольские губы, и на лице печать, поставленная святым Серафимом. Он извлекает из недр черной полированной горы священную музыку, она прекрасна, придумана Шопеном, но не отвечает пианисту взаимностью. Этот человек восемнадцать лет тому назад умер из-за несчастной любви. Он живет скорее по привычке, по инерции, и так же по инерции садится за инструмент.

Я опять смотрю на тебя, я мечтаю стать твоими глазами каплями и раствориться в твоей роговице без остатка. Я хочу проникнуть в эту чарующую и обворожительную тайну твоего взгляда и твоей души.

Снег на огурцах растаял и придал им некоторую солоноватость слезы, я смотрю на тебя и таю, море медленно растворяет сушу, свежая холодная ягода тает у меня во рту, тает айсберг в недрах моей возлюбленной.

Волна накатывает за волной и заливают полверанды, одна из них заходит так далеко, что мы оба с воплями вынуждены поднять ноги. Снова и снова море играет с нами, а после отступает.

Официанты приносят новые блюда.

Жареный сыр, острый и пряный, перемешанный с тонко нарезанным картофелем, купающийся в соусе из белого вина, весь обрызганный черными маслинами. Приносят великолепный салат из одуванчиков, салат из нимбов, салат тончайший, как кисея за невестой, салат, вздрагивающий от каждого прикосновения ветра, летящий по ветру салат из нимбов одуванчиков, салат, за которым надо лететь, поглощая его...

Когда мороженое стаяло, моя Мессалина снова стала маленькой девочкой в огромном платье с тысячью складок и с аппетитом принялась за еду.

У нас было два моря: море времен и море под ногами. Второе море напоминало мне огромные часы, ровно отбивающие такт. Волны звенели, словно стрелки, а в глубине этой бездны колыхался огромный маятник. Мы были оторваны от человечества. Я был счастлив, мои поры были открыты настежь, так широко, что чайки летели сквозь кожу, и я не чувствовал боли от прикосновения их бритвенно-острых крыльев. Они принимали меня за облако, а я и был облаком, я парил над жизнью и вот-вот готов был пролиться дождем.

Я ждал, когда Саша наконец насытится, для того чтобы войти в ад, врата которого находились у нее под платьем, и залить огонь под котлами, где кипели грешники. Я слышал вопли и стоны из нижней части ее живота. Я еле сдерживал себя, чтобы не перевернуть к чертовой матери этот столик и не броситься на помощь к несчастным.

Мне было жаль их.

Я всегда был противником наказания.

Я дважды пытался оспорить существование ада.

Шестнадцать тысяч теологических диспутов с ангелами всех семи небес не принесли никаких результатов.

Я всегда был против геенны огненной, как бы люди низко ни пали.

Я контрабандой пытался провезти в христианский ад обезболивающие.

Я писал статьи против концентрационных лагерей на небесах и обивал пороги небесной канцелярии, я стоптал шестнадцать тысяч перьев и выплеснул из души две тонны чернил.

Я не могу видеть облака, опутанные колючей проволокой, и ангелов на сторожевых тучах.

Я проповедую невинность для всех живых существ.
Изначально все невинны.

Будь моя воля, я бы взял в Рай всех, кто попросится.
Всех — без исключения.

Я ждал, когда мне подадут счет, когда наконец мы выйдем из ресторана, прогуляемся по пляжу и вернемся в гостиничный номер, и я ворвусь в ад, открою кингстоны и затоплю его.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Прекрасно, еще один глоток вина.

Официант налил, она пригубила вино.

— Скоро стемнеет, как обидно, прекрасный был день! — сказала Саша.

— Я попробую остановить солнце.

— Не надо, завтра детям в школу, уроки отменят, если солнце не взойдет.

— Верно, дети должны учиться.

— Ты когда-нибудь проливал чужую кровь?

— Ну конечно. Я тореадор четырех морей, я убивал огромных голубых быков, я убивал океаны.

Взявшись за руки, мы шли по пустому осеннему пляжу и разговаривали.

— Давай пройдемся босиком, — сказала Саша. — Мой отец очень любил, чтобы мать и мы с Наташей ходили дома босиком, он делал вид, что читает газету, а сам, бесстыжий, рассматривал наши пятки.

— Не стой босиком, песок холодный.

Однако на нее мои слова не подействовали.

Мы сняли обувь и пошли босиком по земле, по небу, по лицам патриотов, умерших за свою Родину, по рукописям Пушкина и Заболоцкого, по утренней росе первого дня творения, по туго натянутым рояльным струнам. Мы наступали босыми пятками на символы власти, предсмертные записки, судебные приговоры, на вращающие-

ся с бешеной скоростью лопасти вертолетов и трассирующие пули. Босые, мы шли по минным полям, под ногами у нас бушевало пламя, и осколки летели во все стороны, не причиняя нам никакого вреда, мы вдавливали в песок президентов, культовых киноактеров, рок-звезд. В этом бешеном марше мы возвращали кровь в тела невинно убиенных и достоинство в души всех униженных и оскорбленных.

Так совершенно незаметно часам к шести вечера мы вернулись в гостиницу. Саша еще была полна творческих сил, я бросил ее через бедро, сорвал с нее все паруса.

Влага зашипела под котлами, угли погасли, грешники успокоились, впервые за несколько тысячелетий боль ушла. Раскаленные орудия пыток шипели, как змеи, испуская белесый пар.

Ад тонул медленно, вода поднималась все выше и выше, заливая горящий материк возмездия. Сатана обезумел от ужаса, выбежал из парикмахерской в кальсонах (ему брили ноги), взял такси и помчался домой. Он ворвался в ад с жестяной лоханью в руках и стал лихорадочно вычерпывать воду и сливать ее через край небосвода.

Он делал это так быстро, что вода не успевала превращаться в перистые облака и падала на землю сплошной стеной. Сатана плакал, преисподняя медленно опускалась на дно Марианской бездны, грешники барахтались на поверхности, как весенние воробьи.

Дождь стучал по подоконнику, течение уносило нас в небытие. С каждой секундой все ближе и ближе.

Мы с тобой, две чудесные и диковинные птицы, сидим на вершине древа жизни, смотрим вниз на землю сквозь облака, но над нашими головами уже нет ничего. Наши крылья свисают в бездну, их слегка щекочет латынь и молитвы епископов. В крови нашей полощутся серебристые карпы, наши души светятся.

Мне трудно представить тебя, не воплощенную, не созданную, не рожденную, не представшую однажды пред моими очами.

Из твоего царственного клюва, из твоего позолоченного рта льется византийская речь, слова, которые для меня уже давно не имеют ровно никакого смысла, — для меня имеет значение только волна музыки, поднимающаяся из твоих глубин. Лучшие твои слова я запоминаю для того, чтобы накормить ими изголодавшихся желторотых птенцов.

Они питаются царственными слоганами, никелированными машинами вымысла, прекрасными стихотворениями, которые созданы при помощи последних достижений точной механики и античной эротики.

Они есть наши дети.

Наши дети, не по крови и не по родству, но именно в них мы с тобой получим свое продолжение, мы не знаем их имен, мы никогда, быть может, не увидим их лиц и не услышим их голоса, но именно в них оживет наш дух, выскользнув из сложной цепи смертей и рождений, не подчинившись наследственности.

Это будет самая великая линия родства, это будет великий род Сириных, птиц в человеческом облике, паранормальных существ, воскресших выкидышей, геркулецов, шепотом передвигающих все престолы этого мира, воскресшего несколько миллионов лет назад благодаря моей улыбке.

Наши птенцы прекрасны. Они вырастут и впитают через поры то, что другие постараются употребить в пищу и размолоть зубами.

Они не вышли из нашего чрева и не являются нашим физическим продолжением, мы собирали их по всему темному лесу истории, они вывалились из гнезд, они пищали в траве незнания.

Небо — это молот, земля — это наковальня. Небо бьет о землю, и сыплются искры. Раскаленные птицы летят во все стороны, птицы в человеческом обличье, их крылья горят во тьме ночной.

Ты и я.

Ты падаешь с ветки вниз и летишь над моим лицом, как будто оно бесконечный пейзаж. Я смотрю на тебя снизу вверх и восхищаюсь твоими вытянутыми прекрасными линиями, особенно меня волнуют твои плечи и бедра, твоя шелковистая кожа, искрящаяся на фоне голубого неба. Ты паришь легко и свободно, садишься на купол храма, на самую вершину золотой горы и осматриваешься на все четыре стороны света.

Справа от тебя — пшеничное поле, слева — рига. Ты бьешь крыльями, взлетаешь и плавно превращаешься сначала в пятно, потом в точку и медленно исчезаешь за горизонтом.

Я слышу, как за стеной ударила железная дверь лифта.

Я опять остаюсь один.

Я уже начинаю скучать по тебе.

Я смотрю на твои помятые джинсы, на майку, безжизненно обвисшую на стуле, на стакан на подоконнике, в котором осталось несколько капель вина, и долго не могу сосредоточиться.

И вдруг получаю удар в спину. Дирижабль сорвало ветром с причальной мачты, и он изо всей силы бьет мне в спину, я падаю лицом в древнюю Ассирию. И долго потом вычесываю из волос трупы солдат: мидийцев и египтян, я трясую головой, и они сыплются, сыплются на пол, они скрипят под ногами.

Я сажусь на холодный пол, закрываю глаза. Мне хорошо в моей тьме, она не похожа ни на одну другую бессолнечность и нелучезарность. Я слушаю тишину, вдруг свистит чайник, выплевывает свисток и замолкает, мое

сердце дрожит мелкой дрожью, в моем почтовом ящике лежат слова, отпечатанные на газетной бумаге, адресованные мне, бумага, на которой слова напечатаны, еще может гореть, а сами слова ни на что не годятся. Во мне только что умерли чувство справедливости и желание изменить мир к лучшему.



Я счастлив, я встаю на колени, выравниваю баланс, наклоняюсь вправо за бутылкой вина, мои пальцы прилипают к темному стеклу, я переворачиваю ее кверху дном, и в мои недра, в мою глубину летят новые багровые, перебродившие ягоды. Мое будущее уже не так меня волнует, проклятые вопросы уходят и забирают с собою мою смерть. Я сижу, обалдевший и голый, на полу и лакаю из горлышка.

Я иду в облачный развал на краю четвертого неба, достаю из Финального Порциона кусочки красной глины, начинаю лепить первочеловека — Адама, я начинаю лепить новое человечество, прекрасное, новое аморальное человечество, кусающее яблоки, сосущее, грызущее, предающее, убивающее и лжесвидетельствующее, прямо стоящее, пресмыкающееся, глубоководное человечество, витальное и вербальное, верущее и безбожное, святое, героическое человечество, любое — только не скучное и не безмятежное.

Кончиками пальцев я им создаю хрусталики глаз. Я вдуваю в них душу и дух и отпускаю с миром. Они меня больше не интересуют, я загляну к ним в души по прошествии нескольких тысячелетий, а пока я вижу справа над головой поющую, танцующую мысль, я протягиваю к ней руку. Мы уносимся в бесконечность в диком фантастическом танце. Амен.

А в это время моя возлюбленная, моя Мессалина идет по улице, вверх по Тверской, плывет в осеннем дожде, она идет ко мне.

Она открывает дверь ключом, я обнимаю ее и навсегда прижимаю к своему сердцу.

Мое сердце говорит человеческим голосом:

— Когда-то очень давно, когда земли еще не было и Дух Святой носился над водами, ты ругала меня за то, что я не умею завязывать галстук! Наш еще не рожденный сын играл с котом из красного мрамора, а мы, опаздывая на вечеринку, набивали карманы раскаленными углями, чтобы не замерзнуть по дороге в гости. Была зима, и демоны на перекрестках варили в серебряных наперстках дух изгнания, и будущие наши души предчувствовали бытие. Когда мы расходились после буйного веселья, Хозяин Дома нам сказал, что скоро будет создан материальный мир... и я заплакал. Мы шли домой, не было еще ни улиц, ни фонарей: повсюду однообразный серый свет. В прихожей кот мраморный ел дождевую мышку. В тот вечер мы выгребли пепел из карманов. Легли в постель и навсегда заснули. И в день седьмой проснулись навсегда!

Москва, 1992–2007

Охота в зоопарке

роман



1. КОНЕЦ СВЕТА

Наполовину прожитый день не предвещал катастрофы. Едва стемнело, кто-то ударил железной палицей о жестяной короб, и вдоль земли полетели большие холодные капли.

Андрей Ильич листал книги и делал по мере необходимости записи в тетради. В читальном зале было тепло, уютно, божественно. Голова слегка потяжелела, и от усталости кристаллизовалась спина. Наконец он встал, сложил в стопку книги — их было шестнадцать — и пошел на выход. Совершенно случайно дубовая дверь, уходящая куда-то ввысь, в потрескавшееся от старости белое, лепное небо, выскользнула из руки, и еще раз грянул гром. Библиотекарь — толстая, намагниченная тишиной и отчаянной скукой дама, — прищурясь, очень внимательно с головы до ног рассмотрела немолодого, сильно сутулившегося Зевса. Ее взгляд был полон шелестящего электричества.

— Извините, сквозняк, — сказал громовержец в свое оправдание. Про себя она отметила, что он симпатичный мужчина, что черты лица хоть и не какие-нибудь там особенные, но приятные, что в этом человеке есть и статья, и своя прелесть: тонкие, как у женщины, мелкие черты лица, маленький, с большим вкусом сделанный нос и акkuratные саркастические, выгнутые змейкой губы. Брови вразлет, а под ними — близорукие, но дьявольски умные, пронизательные глаза. Лицо очень приятное, очень

интеллигентный человек и, по всей видимости, очень нервный. А это хорошо для женщины, если мужчина нервный. Такой никогда не впадет в медвежью спячку и не утащит за собой на самое дно жизни. В пустоту, равнодушие и безразличие.

— Откуда им взяться, сквознякам, — ответила она. И когда хранительница тишины и библиотечного вакуума сказала то, что она сказала, Андрея Ильича посетило очень дурное предчувствие. Он понял: сегодня случится что-то ужасное. Спускаясь вниз по лестнице, ступая по теплой, напитанной кровью ковровой дорожке, он тем не менее с удовольствием думал о том, что в скором времени ему предстоят два удовольствия. После первого он ополоснул руки, вытер их большим носовым платком и... отправился в гардероб менять пластиковый жетончик на второе. Оно состояло из сигареты, хорошего демисезонного пальто и широкополой шляпы — велюровой, тяжелой, как бы обитой кровельным железом, и еще тихих московских переулочков, которыми ему предстояло спуститься вниз к площади Восстания, чтобы почувствовать всю прелесть увядания природы, прелесть вкуснейшей осенней тоски. Прежде чем выйти, он позвонил домой и пообещал жене через четверть часа быть дома, и еще пожаловался, что очень проголодался.

Ступая с пятки на носок, он чувствовал, как оживает тело после десятичасового утомительного сидения на одном месте. Он был совершенно счастлив и уверен в том, что улица, по которой он идет, ведет в рай и что ключи от рая он несет в своем кармане. Надо было только пройти прямо и направо, два раза свернуть налево, открыть дверь, подняться на лифте на седьмое небо и открыть двери Рая, на которых была привинчена медная табличка с номером его квартиры. В Эдеме его ждали две гурии: жена и тринадцатилетняя дочь.

Он с наслаждением подумал о том, что после ужина можно будет втроем «расписать пульку». Поленька была очень умненькой девочкой, она одинаково хорошо играла на рояле, в шашки и в преферанс. И часто обыгрывала родителей. Она никогда не была ребенком, в сущности, она всегда была маленькой женщиной. Когда ей было пять лет, она уже умела произвести нужное впечатление. В восемь лет она стала опытной интриганкой. У нее была своя манера говорить, кокетничать, свой стиль в одежде — все свое. Она очень любила нравиться, это было врожденное, это была не странность, это была черта характера.

Моросил мелкий дождичек. Осень была поздней, и, по всей видимости, скоро должен был лечь снег. Он иногда уже сыпал, но вперемежку с градом и дождем. Прогулка была очень приятной. Единственное «но» — огромный портфель из свиной кожи, до отказа, до боли в никелированной пряжке набитый тяжелыми книгами. Какое удовольствие было бы идти по улице, будь он чуточку потоньше и полегче. Плечо очень скоро заныло. Из-за этого Андрей Ильич немного ускорил шаг.

До дома оставалось пройти самую малость, когда он услышал за своей спиной пронзительный вопль. Андрей Ильич остановился и... обернулся. Ему очень этого делать не хотелось, однако инстинкт самосохранения взял верх над естественным страхом. Боже... Что он увидел...

Улица была совершенно пустынной. И по этой улице, совсем недалеко от того места, где он теперь находился, двое огромных мужчин гнались за девушкой, о нет... за девочкой. Андрей Ильич еще раз огляделся по сторонам и не нашел ни одного свидетеля ужасной сцены, ни единой души. Девочка бежала изо всех сил. Она звала на помощь. Она не кричала, она пищала, она задыхалась,

она выбрасывала вперед худые коленки, и каждый ее шаг в этом драматическом и страшном движении представлял попытку сделать невозможное, то есть как можно сильнее оттолкнуться от земли, преодолеть силу земного притяжения. Но планета жестоко притягивала к себе, а ветер издевательски толкал в грудь, хватал за рукава и тянул назад. Бандиты что-то кричали ей вслед. То ли угрожали, то ли уговаривали, то ли просили, то ли что-то обещали.

Не раздумывая ни полсекунды, Андрей Ильич решил во что бы то ни стало спасти ребенка. Из рта у него вывалился страстный и воинственный вопль. Но от чего-то этот самый вопль не смог привести в действие машину резонанса и, ударившись о сырой, темный, загустевший вечерний воздух, упал ему под ноги. Что это были за слова — он сам не знал. Однако уже то было хорошо, что они не застряли в горле. Иначе он задохнулся бы, уж как пить дать.

Он сделал первые десять шагов навстречу подвигу, как вдруг в его голове что-то весело хрустнуло, и мысли потекли в сторону противоположную той, на которую указывали носки ботинок. «Ну, честное слово, стоит ли так расстраиваться, зачем паниковать? Зачем давать волю своему воображению? У страха глаза велики. А если посмотреть на вещи трезво, тогда и дурачку станет понятно — ничего страшного не происходит. Допустим, один из преследователей — ее папа, а другой — ее брат. Ребенок капризничает и не хочет возвращаться домой к положенному часу. Она не сделала уроки, разбросала тетрадки, набезобразничала и убежала на улицу. И вот бедный папа и братик сбились с ног. Уговоры на нее не действуют. Они никак не могут ее отловить».

Девочка еще раз позвала на помощь, и версия лопнула, как мыльный пузырь. Голос показался ему знакомым.

Вне всякого сомнения, он принадлежал его дочери. Захлебываясь встречным, горячим и густым, как кисель, потоком воздуха, Иванов закричал: «Эй, вы, вы что, эй, что вы делаете, а ну-ка! Оставьте ребенка в покое!» Но где там! Плевать они хотели на эти его интеллигентские капризы. Они гнали ее, как зайца. Они гнали ее к машине. Машина — «мерседес» цвета пьяной вишни — стояла в глубине двора.

Андрей Ильич бежал изо всех сил, но отчего-то расстояние между ним и преследователями росло, не в пример дистанции между девочкой и подонками. Это было несправедливо. Это было обидно, потому что в результате несложных подсчетов в уме, сложения и вычитания скоростей складывалась странная картина: ребенок бежал значительно быстрее, нежели взрослый, сильный, начитанный мужчина, но медленнее, чем двое других мужчин, которые, может быть, в своей жизни не прочитали ни одной книги. Более того, Иванов понял, что рядом с ним находится еще один, пока невидимый, соучастник преступления. Он мешал бежать, цеплялся за руку профессора и тянул назад. Именно он железной хваткой держал за кисть и вис на руке. Андрей Ильич захотел обернуться и заглянуть мерзавцу в лицо, обернуться и тут же что есть сил ударить подонка, но девочка вбежала в сноп фонарного света, и он увидел на ней точно такое же красное коротенькое пальцецо, какое он купил своей дочери месяц тому назад. Более того, на ногах у девочки были такие же, как и у Поленьки, лакированные ботиночки. Странное совпадение, ужасное совпадение, какое подлое совпадение, подумал Андрей Ильич. Не может быть, кто угодно, только бы не она.

Наконец один из преследователей схватил девочку за руку. Другой закрыл ей рот ладонью. Подъехала машина. Они втиснули жертву в заднюю дверь, взревел мотор,

и автомобиль в одно мгновение исчез, испарился, растворился в темном и густом воздухе.

Вдруг стало тихо и хорошо. В маленький московский дворик вернулась осенняя прелесть, запах прелых листьев и покой. Могло показаться, что ничего страшного не случилось. Однако Андрею Ильичу захотелось до конца исполнить свой долг: выбиваясь из последних сил, очень долго, совершенно напрасно, до полного изнеможения бежать за красным автомобилем и, потеряв всякую надежду, упасть плашмя на мокрый асфальт, разрыдаться. Лежать в холодной жиже и в отчаянии бить кулаками по земле, которая носит, все-таки носит, несмотря ни на что, носит таких мерзавцев, как эти двое, как тот в автомобиле и как этот, который держал за руку. Кормит, носит, дает силы и жизнь. Какая несправедливость. Он хотел исполнить все точно, как и воображал себе, но, к счастью, вспомнил, что видел когда-то в кино точно такую сцену, и... устоял на ногах.

Драма закончилась так же внезапно, как и началась. Но кто-то по-прежнему держал его за руку. Тот самый, что мешал бежать, бил, лупил по ногам, ставил подножки, а главное — тянул назад. Андрей Ильич опешил: почему он не скрылся в автомобиле вместе с другими? Это еще не закончилось? Он осознал, что и над его жизнью тоже нависла угроза. Он собрался с силами и резко развернулся, но рядом никого не было. Однако кто-то по-прежнему держал его за руку, мало того, поставил свою ногу между его коленей. Андрей Ильич опустил глаза и увидел свой портфель. Это он тянул назад, это он больно бил по ногам. Это он был соучастником преступления. Андрей Ильич бросил портфель на асфальт и стал что есть силы бить его ногами. Пряжка хрустнула, из карманов посыпались книги и тетради. Андрей Ильич впал в бешенство со сладким привкусом азарта.

Невозможно сказать, сколько длилось возмездие. Когда преступление было отмщено, пострадавший собрал внутренности, спрятал их в кожаную утробу и отнес негодяя в отделение, оно находилось недалеко, он хорошо знал, где именно: за универсальным магазином.

Иванов протянул портфель оперативному дежурному со словами: «Задержите его. Это соучастник. Он ставил подножки, он мешал бежать, он бил меня по ногам». Лейтенант улыбнулся, взял портфель и засунул его под стол.

— Возьмите лист бумаги и ручку и подробно все опишите — все, как было. — Андрей Ильич высунул язык, сел на краешек стула и стал лихорадочно и очень подробно, в мелочах, записывать свои последние впечатления от созерцания собственной жизни, апокалипсиса.

2. ПОНОЖОВЩИНА

С того самого рокового вечера минуло тридцать дней. Душа горела синим пламенем, как будто целую вечность горела. А всего-то-навсего прошло каких-нибудь четыре недели. Попытки потушить пламя слезами, алкоголем, свежим, только что выпавшим снегом не имели успеха. Пожар разрастался во все стороны. Оказалось, горючего материала в душе больше чем достаточно, значительно больше, нежели можно было предположить. Из-за сильного внутреннего жара Андрей Ильич стал сохнуть. Он уменьшился в размерах, от высокой температуры его остов повело, он сгорбился, потрескалась кожа, на лице появилось много новых морщин.

А еще выцвели краски. Мир выцвел внутри и снаружи. Сначала в небе, потом на земле, затем только в самих недрах Андрея Ильича. Потом засохшие краски осыпались и осталось только два цвета: белый и черный. И эти

два цвета, оставшись наедине, устроили розыгрыш: они поменялись местами.

Было раннее утро. Андрей Ильич стоял перед зеркалом и разглядывал негатив своего лица. Время от времени он закрывал глаза в надежде, что, когда снова откроет их, изображение на серебряной амальгаме опять станет цветным и позитивным. Однако тщетно. Лицо оставалось черным, а брови белыми, как у альбиноса.

В доме стояла непривычная, необыкновенная тишина. Многое изменилось к худшему с того дня, как пропала дочь.

Наташа сказала: «Я этого не вынесу. Жить вместе, жить так, как раньше, делать вид, будто ничего не случилось, я не могу. Я не могу дышать, есть, спать и видеть сны в этой квартире. Я не могу умываться по утрам и вечером чистить зубы в доме, где мы были когда-то счастливы. Я не могу садиться с тобой за стол, спать в одной постели, я не хочу повторять ставший совершенно нелепым, потерявший смысл и святость сокровенный ритуал». Наташа ушла со слезами в глазах неизвестно куда и больше не вернулась. Она звонила лишь изредка и спрашивала: «Ну как? Есть новости?» Андрей Ильич качал головой влево, вправо, забывая, что говорит по телефону, что собеседник его не видит. «Зайди сегодня в отделение», — говорила она. Он качал головой вверх, вниз, как пони.

Было восемь часов утра, когда Андрей Ильич вышел на улицу проветриться. С неба сыпался юношеский, декабрьский пушок. Он аппетитно хрустел под ногами богочеловечества, опаздывающего к девяти часам на крест, к началу ежедневных, плохо оплачиваемых страданий. С моря, плескавшегося на другом конце планеты, задувал непроницаемый, тугой, соленый ветер. Это он принес с собою снег. Андрей Ильич был очень рад снегу. Ему по-

мерещилось, что из снега можно будет извлечь практическую пользу. Ему пришла в голову превосходная идея: а что если на снегу остались следы протектора того самого малинового автомобиля? Трагедия случилась осенью, в октябре, когда снега и в помине не было, а был только один дождь. Да и тот еле-еле моросил. Он понимал, что идея не совсем отвечает некоторым требованиям реальности, однако нисколько не смутился и направился решительным шагом к месту происшествия проводить «доследование».

В самые тяжелые минуты жизни надежда не покидает человека. Она лишь видоизменяется, приобретая форму галлюцинации. Она становится дрожащим над раскаленной землей изображением озера, из которого умирающий от жажды странник все-таки успевает отпить несколько глотков до того, как оно исчезнет, растает в раскаленном мареве. Он решил еще раз осмотреть место, где случилась беда.

Андрей Ильич шел по улице очень сильно, очень решительно. И каждый шаг его напоминал щедрый и широкий жест. В нем чувствовался некий излишек энергии, душевного богатства и красоты. Он как бы дарил свои богатства миру, раскидывая их налево, направо своими стопами. Снег был еще слабенький, тощенький, теплый. Совершенно девственный, черный из-за своей первозданной белизны. Во внутреннем дворике дети, чумазые, как кочегары, бросали друг в друга комочками хрустящей, рассыпающейся в полете грязи. С неба сыпалась маленькими крупинками зола. Андрей Ильич поймал в ладонь маленький кусочек грязи. Снежинка растаяла, но только после того, как он успел заметить ее лучики, расходящиеся в разные стороны.

В небе парила стая белых ворон. А небо было темно-темно-серым. Андрей Ильич изумился столь прекрасной

картине. Он очень долго и дотошно изучал следы на снегу, но так ничего существенного не обнаружил, кроме следов собственных ботинок и пустой пачки сигарет, которую на всякий случай положил в карман. Дорога в казенный дом была несчастливой и нелегкой. Но уже через полчаса Андрей Ильич был в дежурной части.

Следователь, очень полный, коротко стриженный человек, встретил Андрея Ильича очень радушно. Он улыбнулся, протянул руку и показал в знак особого душевного расположения свои черные от копоти, прокуренные зубы. Рубашка на нем была чистая, но сильно мятая, брюки без ремня. Лицо одутловатое — огромное, доброе лицо. Глаза воспаленные, красные. Следователя звали Юрий Петрович, а фамилия Юденич, как у белогвардейского генерала. Правая щека у Юденича была выбрита очень гладко и хорошо, а левая кое-как, видно, не успел, опаздывал, торопился утром. Следователь производил впечатление человека надежного, сильного, но его расхлябанность, его мятая рубашка и стертые, косые каблуки полуботинок — Андрей Ильич заметил этот непорядок, когда шел за ним сзади по коридору, — немножечко портили это, в общем-то, хорошее впечатление. И еще немного огорчило то, что следователь не сумел узнать в лицо пострадавшего, более того, с кем-то спутал профессора.

— Очень рад вас видеть, — сказал он, пропуская Иванова вперед в кабинет, — давно освободились?

— Как то есть освободился? — растерялся Андрей Ильич.

— Как давно вы прибыли из мест лишения свободы? Если мне не изменяет память, статья 144-я?

— Изменяет. Меня зовут Андрей Ильич Иванов. У меня украли ребенка.

— Вспомнил. Мальчика из коляски. На автобусной остановке... присаживайтесь.

— Девочку тринадцати лет. Увезли на автомобиле марки «Мерседес-Бенц», — сказал Андрей Ильич.

— Прекрасно, — сказал Юденич, — присаживайтесь. — Он показал рукой на стул и вдруг понял, что сказал глупость, покраснел и добавил: — Прекрасно, конечно, не в том смысле, что увезли, а в том смысле, что я вспомнил, о чем речь. Ничего существенного на данную минуту доложить вам не могу, успокоить, обнадежить нечем, — и развел руки в разные стороны. Пальцы у него были коротенькие, но очень веселые, живые. Во время разговора они то и дело перестраивались, делали самые невообразимые фигуры, они как бы гримасничали, старались привлечь к себе побольше внимания.

— Вы не нашли ее? — у Андрея Ильича взмокла спина.

— Мы не нашли, но некоторые мысли у нас имеются, как ее отыскать. Но сами понимаете, человека найти — это не иголку даже в стоге сена. Тем более человек беспомощный, маленький, несовершеннолетний человек, да еще и девочка. Да еще красивая какая. У меня тоже дочь, но не такая красавица, как ваша. У нас, честно говоря, особенно не в кого. А у вас жена очень эффектная. Да и вы тоже человек симпатичный. А у нас в роду все здоровые, а толку от этого никакого. И девки здоровые — не девки, а мужики в полный рост. Им бы на войну ходить, а они девками уродились.

— Значит, никакой надежды?

— Какая-то надежда всегда есть, даже тогда, когда ее в помине нет, — сказал Юрий Петрович.

— Я не понимаю, как это есть надежда, когда ее совсем нет.

— Объясню, — следователь улыбнулся, — пять дней тому назад в четырнадцатом доме вывалился ребенок с шестого этажа. Вообще с детьми что-то неладное тво-

рится. Одни под машины лезут, другие пропадают без вести, вам-то еще повезло, вы видели, как за ней гнались, а так представьте: был и нет, пошел гулять и не вернулся. А этот вывалился из окна. Взрослый уже ребенок, лет восьми... Как я могу успокоить отца? Виноватых нет, надежда есть. Это он мне так сказал. Никто ведь не обнадежит человека, если он сам себя не обнадежит. Это сам папаша и сочинил.

— Я не понимаю. Что это значит?

— Отец мальчика очень страдал, мучился, а потом подумал: а что если это не мой ребенок? Оказалось, что жена наставила ему рога девять лет назад, когда тот был в командировке. И ему всегда было все равно, подгуляла она мальчика или нет. А когда гром грянул, он стал выяснять, разбираться стал. Он так и сказал, что надежда всегда есть, даже когда ее нет. И точно, оказалось, что ребенок чужой. То есть когда все было нормально, ему было плевать, что ему наставили рога. А как гром грянул, стал прошлое ворошить. Люди странные такие существа.

— Какая разница, чей ребенок? — возмутился Андрей Ильич.

— Ну не скажите. Кому есть разница, тот верит в лучшее. Надежда умирает последней. Я понимаю, вам очень тяжело, я просто так говорю, к слову. А вообще-то ни один мужчина не может доказать, что его ребенок — это его ребенок. Вы подумайте как следует, быть может, у вас найдутся другие мотивы для успокоения души, не обязательно ревность.

— У нас не тот случай, мы с дочерью похожи, как две капли воды.

— Успокойтесь, не кричите. Может быть, девочка влюбилась. При царе в ее возрасте уже детей рожали. Влюбилась, голова пошла колесом, обо всем девка на свете забыла. А? Парень ее посадил в свой кабриолет и увез.

А все эти ваши погони, бег наперегонки — это все игра воображения. У страха глаза велики. Может быть, она от вас, не от них бежала? Они все втроем бежали от вас. У них медовый месяц, а мы с вами строим версии, ночами не спим. Он ее испортил, ей признаться страшно, вот и не звонит. А парень испугался, что ему срок дадут за то, что у него роман с малолеточкой. Денег у него вагон и маленькая тележка. Вот они спрятались и живут себе тихо-нечко, поживают, а чего ждут — сами не знают. Дети есть дети. Нашалили и спрятались. Всякое может быть. Сколько лет этому парню — никто не знает. Скажем, лет девятнадцать.

— Ахинею вы несете, Юрий Петрович, чушь. Она еще совсем маленькая, она ребенок.

— Это по вашим, родительским, меркам она дитяtko малое, а ее друзья так не думают.

— Ее друзья все сопляки до одного. Видел я ее друзей.

— Какой же вы упрямый. Стоит ли так упорствовать и цепляться изо всех сил за самый неблагоприятный исход событий? Чего только в жизни не случается. Вы себя пожалейте. Вот я к чему. Вы на себя посмотрите. Вашу дочку мы найдем, а вы о себе подумайте. Пока мы ее искать будем, сами себя не потеряйте. У одного полковника в отставке угнали машину месяц тому назад. Старая, раздолбанная тачка, но она ему, видите ли, как жена, потому что она у него уже десять лет и ни разу не отказала, и все такое. И он так расстроился, что через неделю умер от инфаркта, а еще через два дня мы машину нашли. Так что вы уж сильно не убивайтесь. Я понимаю, это горе настоящее — для души серьезное испытание. Но представьте, Андрей Ильич, мы вашу дочку найдем, вернем вам ее, а вы умом тронулись. Зачем душевнобольному дочка? Зачем дочке вашей душевнобольной папаша? Так что возьмите себя в руки, если не можете быть немножечко легко-

мысленнее. Все обойдется. Вы — человек упрямый, вы, как назло, цепляетесь за самый неблагоприятный исход событий. Выше, выше нос.

— Ни за что я не цепляюсь. Но вы не понимаете...

— Держите удар. Идите домой и живите. Несмотря ни на что, живите. А мы свое дело знаем.

— Ну хорошо. Я пойду, — сказал Андрей Ильич.

— Да и портфель свой заберите.

— Вы думаете, он не виновен?

— Абсолютно. У него алиби.

— Какое?

— Какое алиби может быть у портфеля?.. Хотите, я вам дам успокоительного? Странные вы вопросы задаете. Портфель — он и есть портфель. Хотите таблеточку тазепама? Железное алиби. Он — портфель, он — кожаный. Портфель — это не человек, это портфель. Вещь. Вот какое алиби.

— Верно. Портфель — это портфель, — сказал Андрей Ильич понуро.

— Только одного я понять не могу: почему вы его не бросили сразу же, как только увидели, что за девочкой гонятся, почему вы его не выпустили из рук? Почему вы не разжали пальцы? Все у вас портфель, с первого дня портфель виноват, друг мой. — Юденич улыбнулся и похлопал Иванова по плечу. — Вы толкаете расследование на ложный путь. Зачем? — Юденич засмеялся. — Глупо, не надо, мы очень опытные люди. Подумайте о себе. Вам надо отдохнуть, переключиться. Жизнь прожить — не поле перейти.

Андрей Ильич ушел в скверном расположении духа. Они вернули ему злополучный портфель, который, воспользовавшись случаем, опять повис на руке. Андрей Ильич зашел за спину казенного дома, расстегнул ширинку, помочился и, рассерженный, пошел восвояси.

Дома он совершил акт возмездия: взял в руки огромный нож. Лезвие вошло под крокодиловую кожу слева от никелированной пряжки, там, где должно было биться сердце. Из раны почему-то не хлынула кровь. Ночью убийца закопал труп за гаражами. Так, чтобы никто ни за что не отыскал.

3. SOS

Едва солнце опустилось за горизонт, сразу же стало необычайно светло. Андрей Ильич лег спать в полдень, проснулся во втором часу ночи. Открыл глаза, сладко потянулся, прищурился, зевнул, встал с постели, задернул занавески — его очень раздражала молочная белизна за окном — и отправился пить чай с черствым хлебом. В квартире был ужасный беспорядок. Когда-то здесь было уютно: на подоконнике в гостиной росли экзотические цветы, повсюду царили необыкновенный порядок и чистота. Гурии, покинувшие эдем, украшали его ароматом редких и очень дорогих духов, и каждая вещь знала свое место, с утра до вечера были слышны их сладкие и звонкие голоса. Одна из них иногда прикасалась к лицу Андрея Ильича, и от этих прикосновений по всему телу поднимались и шли горячие волны, а другая гурия, та, что поменьше, порхала, как стрекозка, по комнатам, смеялась, шутила и рассказывала небылицы о школьной жизни.

Но прошло несколько недель, и от рая не осталось ровным счетом ничего. Эдем переехал в другое место. Теперь так весело и хорошо уже другим людям. Теперь другие счастливы в своих семьях, со своими детьми. В раннем детстве он испытал подобное чувство. Однажды маленький Андрюша пришел на представление вместе с мамой. Любимый номер закончился, любимые мед-

веди ушли с арены, затем закончилось представление. А спустя несколько дней цирк уехал, и на пустыре, где недавно стоял шапито, остались лишь мусор, газеты, пустые консервные банки и кислый запах навоза. А медведи были такие чудесные, такие ловкие, такие неуклюжие. Они очень смешно танцевали, кружились, а теперь их не стало. И неоткуда было их взять.

Андрей Ильич налил кипятку в чашку, бросил в кипяток щепотку заварки, несколько ложек сахара. Достал из целлофанового пакета засохший батон черного хлеба, попробовал отрезать один ломтик. Ничего не получилось — хлеб был как каменный. Профессор несколько раз ударил батоном о край стола и в конце концов капитулировал, положил булжжик на стол, выпил чая и вернулся в комнату.

Несколько часов он просидел в кресле молча, взгляд его при этом был неподвижен. За окном выла метель. Тени сновали за гардинами, соседский мальчишка плакал за стеной. Иванов вдруг понял: ему надо срочно что-то найти. Он захотел вспомнить что именно, но не смог. Тогда он решил не ждать, пока вспомнит, и незамедлительно приступил к поискам того, что потерял. Навел беспорядок в шкафу, на антресолях, заглянул в ванную комнату, заглянул под персидский ковер, скинул книги с полок, но, к сожалению, ничего не нашел. Понял, в чем состоит ошибка, и решил искать на улице, накинул на пижаму кашемировое пальто и вышел.

Снег, летящий по ветру, слепил глаза, и не было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Мороз пронизывал до костей, и ребра, как решето, словно сито, просеивали метель, снежный поток.

Андрей Ильич шел против ветра и помнил только одно: найти надо, обязательно, во что бы то ни стало, найти. Однако он ничего не видел из-за того, что снег больно

колол глаза. За четыре часа, что он бродил по ночной Москве, найти ничего не удалось, кроме поломанной спички и нескольких медных монеток в карманах пальто. Сначала они лежали на ладони, потом он осязал их только кончиками пальцев, а потом они куда-то исчезли. Для того чтобы отыскать их еще раз, Андрей Ильич зашел в подъезд. Конечно, они не потерялись, он просто перестал их осязать, вот в чем фокус: окоченели пальцы. Хорошо было стоять, прижавшись спиной к радиатору, и слышать, как оттаивает окоченевшее, превратившееся в кусок льда сердце, как кровь стекает тонкими ручейками вниз, к ногам.

Андрей Ильич прикурил сигарету, прижался к радиатору правым плечом, потом грудью, постоял немного, изменил позу и подставил ягодицы. Он то и дело выпускал изо рта клубы дыма в сторону желтой поржавевшей лампочки, излучающей грязный свет, дотошно и кропотливо изучая строение табачных протуберанцев и воздушных замков. В подъезде было очень тихо. Жильцы многоквартирного дома спали. Такая вялость, такое безмолвие, такая немота... Все они находились в совершенно ином мире, бодрствовал он один. Ему показалось, что он остался один в живых после страшного боя. Вечная слава так бесславно почившим. Господа легли в свои постели и умерли все до одного после ужасного, еще одного очень тяжелого дня в их жизни. Но ничего, прозвенит будильник, и они снова воскреснут. А пока грешникам снятся кошмары, а праведникам — сладкие сны. Как прекрасен этот миг одиночества. Размышляя, Андрей Ильич не заметил, как сигарета истлела в руке, как красный тлеющий уголек подкрался к указательному пальцу и пребольно прижег ноготь. Андрей Ильич вскрикнул от боли и бросил окурок под ноги... и мгновенно вспомнил, что именно он хотел найти. Свой душевный покой. Свое бывшее

счастье. И поиски эти были совершенно бессмысленны, безнадежны. Каждую ночь и каждый день он выходил из дому на поиски. Но надежда возвращалась к нему только тогда, когда он напрочь забывал о том, что разыскивает свою дочь.

Как только вернулся рассудок, Иванов сразу же, не мешкая заплакал, поднял воротник, застегнулся на все пуговицы, спустился вниз по лестнице и вышел вон. Он шел долго, не поднимая глаз, потом огляделся. Его дом был где-то рядом, в Грузинах. По-прежнему мелко. По дороге домой он лишь однажды остановился — зашел в телефонную будку и сам позвонил себе же домой. Никто не отвечал, несколько минут он стоял и слушал монотонные гудки, однако это были не совсем монотонные гудки, между ними были странные перерывы и паузы. Три коротких, три длинных, три коротких. В молодости Андрей Ильич служил на флоте радистом. Он сразу же вспомнил, где и при каких обстоятельствах слышал подобный ритмический рисунок. Однажды недалеко от крейсера, на котором он плавал, потерпело крушение голландское рыболовное судно. И в наушниках была та же музыка, эта простенькая джазовая композиция называлась «SOS». Сюжет ее был чрезвычайно прост: некие люди терпели крушение и просили других людей спасти их души. Андрей Ильич повесил трубку, вышел из будки.

Домой отчего-то идти не хотелось. Профессор бродил по городу до самого рассвета. Вернулся под утро продрогший и, не раздеваясь, прошел в гостиную, лег на диван в ботинках и провалился в мертвецкий сон. Спал очень долго, а проснулся от глубокого чувства недоумения, которое ему... приснилось. Недоумение было вызвано тем, что ему приснилось, будто он счастлив. Иванов открыл глаза и тут же закурил. Впервые в своей жизни он спал в ботинках и курил в постели. Ему всегда хоте-

лось вот так лечь в постель в ботинках и закурить, но раньше он не позволял себе ничего подобного. Эти два факта поразили его своим колоритом и новизной. Андрей Ильич смотрел в потолок и улыбался. Сначала он сам перед собой притворялся, будто не понимает причины внезапного счастья.

Само слово «счастье» подходило лучше других, хоть и было кощунством. Заснул совершенно прибитым, раздавленным, а проснулся, когда душа была на подъеме, когда она медленно, но верно набирала высоту. И, конечно, дело не в ботинках и не в том, можно или нельзя курить в постели. Не теряя времени даром, Иванов внутренне преобразился и тут же почувствовал настоящий неподдельный аппетит. Он еще раз вышел и вернулся через час с бутылкой сухого вина под мышкой, яркой полиэтиленовой сумкой в правой руке, и долго, тщательно и терпеливо, как истый гурман, начал готовить себе роскошный ужин. Когда все было готово, накрыл стол в гостиной. Какое это было удовольствие — есть в полном одиночестве, много, вкусно и неопрятно. Как приятно ронять крошки на пол, на стол, на отвороты пиджака, держать вилку в правой руке и заглатывать огромные куски, не пережевывая их тщательно. Какое это было удовольствие не подавать никому за столом примера, не поучать и не талдычить о пользе тщательного пережевывания пищи и гигиене желудочного тракта, слюноотделении — как первом акте пищеварения. А потом опять лечь с ногами в постель, закурить, выпить и так вот лежать в обнимку с самим собой и молчать. Он вспомнил свою юность и студенческие холостые годы, когда с особым азартом и вдохновением ждал отъезда родителей на дачу или на курорт с тем, чтобы остаться в квартире одному. Это было настоящее счастье — остаться одному. Отец никогда не давал выспаться. Он бу-

дил в семь часов и спрашивал: «Какие у нас на сегодня планы?» Мама всегда давала тысячу поручений. А когда они уезжали, он расхаживал по квартире «nudus», включал магнитофон на полную громкость, не строил никаких планов на предстоящий день. Ложился спать днем, ел в постели. Часами разговаривал по телефону, приходил домой за полночь, когда вздумается, или не приходил вовсе. Приглашал друзей и подруг, и они с радостью тут же ехали к нему. Встречал их в костюме и галстук. Но это были короткие моменты и мгновения свободы. Как мало было в его жизни такой вот прекрасной свободной жизни. Почему-то сейчас Андрей Ильич с удовольствием вспомнил об этом. Но таких дней в его судьбе было очень мало. Набралось бы, при тщательном и педантичном подсчете, не более недели. А ведь когда-то у него была мечта: чтобы все ушли, все оставили в покое. А ведь когда-то на самом деле была мечта остаться надолго одному и вдоволь насладиться романтикой одиночества. Или, например, хорошо, если друзья ушли бы, а самая красивая из девушек осталась. Но, к сожалению, ни одна из двух придуманных им в молодости фантазий так и не сбылась, так как он слишком рано женился. То есть одна из фантазий сбылась, но только наполовину, потому что одна из девушек осталась, ее звали Наташей Сомовой, и больше не ушла никогда. Последующие шестнадцать лет он каждый день просыпался в одной постели с ней. Поэтому в глубине своей души всегда мечтал о счастливом опыте одиночества.

После этого удивительного открытия Андрей Ильич месяц наслаждался комфортом одиночества. Ему с самим собой было очень весело, очень хорошо. Он опять любил себя, а больше ему никто не был нужен.

Однажды вечером он прогуливался по гостиной, ходил из угла в угол, думал, говорил, громко спорил, обсуж-

дая с собой один очень смелый, выдающийся план, как вдруг почувствовал, что в одной из комнат произошло еле уловимое движение. Ему показалось, померещилось, будто он не один в доме. Андрей Ильич обошел все четыре комнаты, заглянул во все уголки, в шкаф и даже под кровать — ни души. Он открыл бюро и пересчитал наличность. Это был его последний гонорар за серию научных статей, опубликованных в течение минувшего года в Германии в очень солидных научных журналах.

Он не знал, сколько стоит это, а именно то, что ему предстояло совершить, но был уверен, что денег ему хватит. Несколько часов он бесцельно слонялся по квартире, склеивая в фантазиях тот самый очень дерзкий план. Затем быстро навел порядок в доме, принял душ, позвонил и узнал точное время. Было двенадцать, полночь. Самое время, чтобы...

4. КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ

Он поднял руку, остановил такси и поехал к Palas Hotel, туда, где на перекрестке около подземного перехода несут свою нелегкую вахту каждую ночь десяток-другой девушек. Андрей Ильич первым назвал цену. Приличный человек и прекрасный семьянин, ни разу в жизни не изменивший жене даже в мыслях, теоретически, человек, считавший себя интеллигентом до мозга костей, закашлялся, закрыл рот кулаком и назвал явно заниженную цену. Девушки рассмеялись. А одна из них, маленькая крашеная блондиночка, ударила себя ладошками по бедрам, слегка присела и не выпрямилась, пока не перестала смеяться. «Ой, я сейчас умру, — сказала она, — пятьдесят долларов, ну, я сейчас умру».

Ветер сорвал шляпу с его бедной головы, Андрей Ильич чудом успел ухватить ее за отворот. Эта маленькая по-

нравилась ему значительно больше других, ему не было жалко денег, просто он и представления не имел о том, сколько может стоить такая вот симпатичная и, наверное, очень легкомысленная девушка. На вид ей было около двадцати, одета она была очень экстравагантно и причудливо: очень коротенькая каракулевая шубка, очень короткие сапожки, очень короткая стрижка под мальчика, при этом сама она была коротенького росточка.

— Как вас зовут? — спросил Андрей Ильич.

— Зорька, — сказала огромная дородная брюнетка.

— Да нет, не вас.

— Меня никак не зовут, — сказала хохотушка.

— Почему?

— Потому что пятьдесят — это очень мало.

— А сколько не мало?

— Не мало — двести. — Она сказала «двести» и перестала улыбаться. Ему даже показалось, что она разозлилась.

— Хорошо, я плачу двести. Двести пятьдесят. Триста.

Девушки, как по команде, повернулись к нему своими большими и маленькими спинами, а безымянная звезда взяла его под руку, они пошли к машине. По дороге он выяснил, что ее зовут Лизой, и отдал ей в качестве аванса первую часть суммы — ровно половину, одну зелененькую. Пока он не дал ей денег, она не позволила себя обнять. У нее были мягкие руки и такой же мягкий пульсирующий зрачок, он то увеличивался, то уменьшался, как будто кто-то невидимый, может быть, ее ангел-хранитель, стоял рядом и колот ее время от времени такой же невидимой иглою. Но она смеялась, она не чувствовала этой боли.

— Я хочу вина и вкусно покушать, много и вкусно, — сказала она. — И еще шоколадных конфет с темной начинкой.

— Остановитесь, — обратился Андрей Ильич к шоферу, когда справа вспыхнула огромная витрина американского супермаркета. Профессор вышел из машины и побежал вверх по ступенькам. Ему показалось, будто девочка что-то прокричала ему вслед, вдогонку.

5. Зеркало и пузыри

Впервые в жизни у него появилось ощущение гостя в собственном доме. Она грациозно переступила через порог, он помог ей снять шубку и сразу же поцеловал ее в шею. У Лизы по спине пробежал озноб, и она приподняла вверх свои остренькие плечики. И тут же задрала голову вверх.

— Какие высокие потолки, как в музее, честное слово. Сколько комнат?

— Пять.

— Мне нравится. Какая красотища, б... с лепниной, обожаю потолки и мебель такую, как у вас, крученую, со всякими штуками. И прочей... — она произнесла очень нехорошее слово.

— Я прошу тебя, Лиза, не сквернословить. Мы можем говорить по-немецки или по-французски. Только без мата. Я тебя умоляю, подбирай, пожалуйста, слова. Я терпеть не могу русского мата.

Под шубой было коротенькое из зеленого бархата платье без рукавов. Без шубки и сапог она сразу же помолодела. Теперь ей можно было дать шестнадцать. У нее была чистая, идеальная кожа и очень выразительные линии. И шея, и руки, и плечи — все это было великолепно нарисовано, легко, безупречно, на ослепительно белой бумаге.

— Какой французский, к... я в этой четверти прогуляла почти что все уроки.

— Ты учишься в школе?

— В девятом классе, нет, в десятом.

— А сколько же тебе лет?

— Шестнадцать.

— А в школе знают, чем ты занимаешься? Чем ты по вечерам занимаешься?

— Я еще во втором классе решила, что, когда вырасту, буду проституткой.

— Какая целеустремленность.

— Еще раньше, мне было лет шесть, когда я это решила.

— Не может того быть, — сказал обескураженный Андрей Ильич.

— Может. Моцарт написал свою первую музыку, когда ему было четыре года.

— Но это же Моцарт.

— Какая разница — Моцарт или не Моцарт. Я тоже Моцарт, только немножечко другой.

Она засунула себе в рот сразу три конфеты, и пошла на экскурсию по квартире, и долго, долго ходила по комнатам молча, прежде чем заговорила.

— Это что за женщина? — спросила Лиза и ткнула указательным пальцем в фотографию его жены.

— Это моя сестра, — солгал Андрей Ильич.

На него самого эта чудовищная ложь не произвела никакого впечатления, кроме самого положительного.

— А это что за девочка? — Лиза ткнула пальчиком в лицо Полине.

— А это... это моя племянница.

— И ты живешь один в такой огромной квартире?

— Да, я один живу.

— Я хочу такую же квартиру. А это что, пианино?

— Нет, кабинетный рояль.

— А где мы присядем?

— Или в спальнной, или в гостиной, или в кабинете.

— Давай в кабинете. Там у тебя огромный такой стол.

— Зачем нам стол? — спросил Иванов.

— Может, пригодится и стол. Все, что может пригодиться, все в дело пойдет.

— Возьми конфеты, иди, я сейчас... — приказал Иванов.

Он вернулся в кабинет с фужерами и легкой закуской на блюде. Она полулежала на диване и грызла конфеты. В глазах — выражение неги и блаженства. Лицо, щеки, руки — все перепачкано шоколадом. Андрей Ильич сел на венский стул, что стоял около бюро.

— Иди ко мне, — жалобно попросил он.

Она встала, подошла. Он посадил Лизу себе на колени. Девочка окольцевала руками его шею и поцеловала в лоб. Он рассмеялся и легко и артистично коснулся лбом ее носа. Она расстегнула пуговицы на его рубашке, он запустил пальцы в ее полубокс и потянул на себя, а другой рукой опрокинул ее лицо и поцеловал в шею. Лиза рассмеялась, легла на спину, обвила его шею ногами и медленно и очень нежно стала душить свою жертву. У него потемнело в глазах от легкой асфиксии, он быстро и счастливо потерял самую несущественную часть своего сознания и сказал что-то о том, что ему, мол, очень хорошо. Он не солгал. Девушка перевернулась на живот, отпила прямо из бутылки вина и, перевернувшись еще раз на спину, схватила зубами воротничок его рубашки и потянула на себя.

— Отпусти, — сказал он на выдохе.

— Я пойду приму душ, пока я стояла на улице, сильно замерзла.

— Пожалуйста, не уходи, посидим еще немного.

— Скажи... Что, влюбился в меня?

— Ничего подобного, — сказал Иванов. Он не любил надменных и самоуверенных людей. Особенно молодых людей.

— В меня всегда влюбляются с первого взгляда. Меня всегда разбирают первой.

— Почему тебя разбирают первой?

— У меня есть секрет.

— И в чем твой секрет?

— Я хитрая.

— Я это уже понял. Так в чем твой секрет?

— Когда подходит клиент, я смеюсь. Нас много, он один, или их двое, например, но нас всегда больше. Поэтому я смеюсь. А когда женщина смеется, это очень нравится мужчине. Веселых все любят.

— Какая ты хитрющая. Такая маленькая и такая опытная.

— Ну, я пойду приму душ.

— Не уходи, погоди немного, мне без тебя будет скучно, посидим поболтаем немного еще, — попросил он и отпил вина.

— Чтобы тебе не было скучно, я тебя посажу на травку. У меня есть очень хорошая травка. Такая веселая, задумчивая... травка.

Она достала спичечный коробок, пачку толстых папирос из сумочки, пересыпала зеленые гранулы из коробка на ладонь, перемешала их с табаком, забила этой смесью папиросу, прикурила ее и воткнула в губы Андрею Ильичу.

— Что это? — спросил он после первой глубокой затяжки.

— Сейчас будет очень весело, — сказала она. — Это марихуана.

— Это вредно, я не употребляю, я не буду.

— Марихуаной глаукому лечат, она, кроме добра, людям ничего не приносит. Все, конечно, от дозы зависит. Можно и блинами до смерти обожраться. Так что не бойся. Дыши.

— Хорошо, я покурю, только не уходи.

— У меня озноб, я замерзла, я хочу согреться, я хочу залезть в горячую ванну. Ты какой-то странный. У тебя что, неприятности какие-нибудь, а?

— Неприятности не то слово, но я держусь молодцом. Она его искренне пожалела:

— Ничего, не тужи, дядя, ты еще молодой, у тебя все будет как надо когда-нибудь. Только без паники. Это я тебе говорю. Я знаю, что говорю. Я всегда что-нибудь скажу, а потом это так и бывает. Жизнь — такая вещь.

Он промолчал, взял ее руку и почему-то пожал. Некоторое время они сидели молча и по очереди курили папиросу «Беломорканал», набитую смесью табака, гашиша и марихуаны. Андрей Ильич смотрел в окно и терся о ее плечо щекою. Скоро он почувствовал, что на душе у него становится все светлее и сама душа становится воздушнее и легче. Андрей Ильич закрыл глаза, а когда открыл их, увидел Лизу, по пояс обернутую в большое махровое полотенце. У нее было розовое, распаренное лицо, а сам он лежал на белой твердой накрахмаленной простыне и все так же курил. Андрей Ильич внимательно рассмотрел свое тело. Это было по меньшей мере тело юного Париса, оно ему очень понравилось, оно напугало его своим изяществом. Потом он снял полотенце, в которое была обернута Лиза, завернута, словно конфета, в желтую фольгу, и полотенце с шелестом отвалилось и спланировало на пол. Он наступил на полотенце, и оно хрустнуло. Лиза смеялась, и смех ее звенел, как пристяжной колокольчик. Она что-то говорила, но смысл слов, сказанных ею, совершенно был не доступен для понимания. Он

и сам что-то говорил. И сам смеялся. А иногда плакал. Исчезла разница между счастьем и несчастьем. Он забыл о своей горе, он выпускал ртом воздух и смотрел, как пузырьки уходят вверх, туда, где над его головой раскачивалось жидкое серебряное зеркало. Это было странное ощущение, ранее неведомое. Нижняя часть тела как будто бы летела по воздуху, и в пуповине свистел ветер. А верхняя часть вместе с Хароном переплывала через реку. Андрей Ильич прилег сверху на Лизу и закрыл ее собою, закрыл так, чтобы не было видно. Он спрятал ее. И если бы ему сейчас показали желтое и спросили — как называется этот цвет, он бы наверняка растерялся и заплакал, как первоклассник у доски. Он все на свете и навсегда забыл. Он чувствовал блаженство. Но только интуитивно. Это была, скорее, гениальная догадка, непроверенная гипотеза. Переворачиваясь с боку на бок, Иванов произносил имя Лизы как единственное, но самое важное доказательство своей правоты. И зачем-то говорил о любви. Он ссылался на любовь, как на первоисточник, как на самый большой авторитет.

Прелюдия закончилась вполне благополучно, вот-вот должно было случиться самое главное, из двух расплавленных капель олова должна была получиться одна, но ничего такого не случилось, потому что вдруг Андрей Ильич открыл рот и заговорил:

— Я найму тебе репетитора, я закрою тебя дома и уйду. Будешь сидеть дома, и никаких тебе прогулочек. Я всегда был сторонником физического наказания. Девочек нельзя пороть, и я тебя никогда пальцем не тронул. Но я ведь могу и умею быть очень строгим... Ты уже взрослая девочка, и я не могу быть и не буду либеральным и бездеятельным наблюдателем. Я буду воспитывать тебя в очень строгих рамках. Воспитанием девочек надо заниматься очень серьезно. Иначе из них выраста-

ют ветреницы или шлюхи. В нашей семье не принято произносить таких слов, но я говорю для того, чтобы ты знала, что такие слова есть. И, уж поверь мне, лучше слова не найдешь, не отыщешь. Именно шлюхи. А в моем представлении все это едино. Где твой дневник? Я хочу сейчас же видеть твой дневник. Держать в руках.

— Что? Что ты сказал? — оторопела Лиза, ее руки стали холодные, как лед.

— Не смей пререкаться со мной! — прогремел Андрей Ильич. — В те времена, когда я был твоим ровесником, наши родители не говорили нам таких слов, какие я тебе сейчас говорю. Это очень жестоко, и, может быть, это покажется чересчур для такой рафинированной семьи, как наша. Но, милая моя, времена настали другие. И раньше не было столько вокруг пошлости и гадости. И родители не были так обеспокоены будущим своих детей, потому что в обществе была какая-то целомудренность. Не совсем чтобы уж... очень, но какая-то целомудренность была... по крайней мере, ее видимость. А это, кстати, немало важно. А для того чтобы иметь хорошую профессию, в наше время надо очень много и прилежно учиться. Поэтому давай сюда свой дневник. К тому же нужно быть просто хорошей девочкой.

Закончив монолог, Андрей Ильич протянул руку:

— Давай, давай.

— У меня нет дневника, — ответила Лиза. Глаза у нее от удивления вышли из орбит.

— Вот еще чего. А где твой дневник?

— Зачем мне дневник? Я что, на панели с дневником буду стоять? Чтобы мне мужички оценки ставили?

— Вот это новости. Если у тебя нет дневника, откуда ты знаешь, что задали на завтра?

— ...я хотела, что нам задали на завтра, — сказала Лиза.

— Это никуда не годится, значит, ты опять не сделала уроки.

— ...я на эти уроки.

— Который час? — Андрей Ильич посмотрел на умершие месяц тому назад часы, висевшие на стене. Они показывали семь. — Так, семь часов утра, а ты еще в постели. Ты опять опоздаешь в школу. А ну-ка, быстренько вставай, одевайся, завтракай и бегом.

— Ты с ума сошел! Какая школа? Сумасшедший. Никуда я не пойду.

— Нет, пойдешь. Ты будешь учиться хорошо. Ты будешь ходить в школу, это твоя обязанность, святая обязанность.

— Укурился дядька в дым.

— Я сказал, вставай с постели. И собирайся.

— Отстань, — сказала Лиза и добавила к этому красочную тираду, в которой каждое второе слово было связано с «народными образами телесного низа».

У Андрея Ильича лопнуло терпение, он схватил ее за руку, стянул с постели. Проволок по коридору и вышвырнул ее совершенно голую на лестничную площадку. Вслед полетели: платье, каракулевая шубка, коротенькие сапожки, чулки и сумочка. Он закрыл дверь на замок и отправился в детскую, собрал учебные принадлежности: портфель, тетради, карандаши, линейки, учебники — и все это тоже выбросил на лестничную клетку. Когда он закрывал за собой дверь, девочка одевалась и плакала. Но его сердце не дрогнуло. Он был очень возбужден, очень зол, но сердце его не дрогнуло.

— Еще сто пятьдесят долларов, — потребовала она.

— Зачем тебе такие большие деньги? Вот тебе пятьсот рублей на завтрак в школьном буфете. Одевайся, собери учебники, и чтобы ровно в два часа была дома. На дорогу из школы домой я даю тебе ровно десять минут.

Он закрыл за собой дверь, вернулся в кабинет. Чтобы успокоиться, он решил промочить горло. Он сделал два раза по сто. Не помогло, тогда он приложил горлышко к губам и стал жадно пить.

6. Ах, папочка, ах

Иванов проснулся очень поздно, часа в два после полудня, и, к своему удивлению, обнаружил, что его тело кто-то расчленил: руки, ноги, плечи, лодыжки лежали в холостяцком беспорядке на некоем расстоянии друг от друга. Во рту горчило и жгло. Левая рука пылилась под кроватью, правая — бледная, обескровленная лежала на груди. Левая нога, бесстыжая, босая, лежала на кожаном диване, застеленном белой простыней, правой ноги, сколько Андрей Ильич ни оглядывался по сторонам, не было вовсе. Головы тоже не было. По всей видимости, подумал он, ногу надо поискать в ванной или в прихожей, а голова, скорее всего, закатилась под письменный стол. Кроме всего прочего, туловище было совершенно неподвижным, оно было прибито дюймовыми гвоздями к полу, а на подоконник тем временем сыпался пепел.

Андрей Ильич захотел оторвать тело от пола, но не смог, попытался привести в движение хотя бы один из отрубленных членов — бесполезно. Набрав на всякий случай в легкие побольше воздуха, он погрузился в глубокий и мокрый сон. На самое дно. Когда дышать стало нечем, он проснулся и всплыл. Туман в голове медленно стал рассеиваться, предметы стали осязаемы. Сквозил между тем вечерний бриз. Паркет в некоторых местах шел волнами.

Благодаря титаническому усилию воли левая рука все-таки ожила, выползла, как змея, из-под кровати, схватила за горло почти опорожненную бутылку, что плавно пока-

чивалась на волнах, и стала душить ее. И задушила бы, если бы не отлетела пробка. Андрей Ильич коснулся воспаленными губами горлышка, но оттуда не пролилось ни капли. Потом поднес бутылку близко к глазам: там лежала записка. Все точно так же, как у терпящих кораблекрушение.

Андрей Ильич встал на обе ноги и ударил бутылкой со всех сил о батарею, достал из-под обломков записку, аккуратно развернул ученический клетчатый листок и прочитал:

Дорогой мой папочка!

Извини меня и прости меня, конечно, я сама во всем виновата. Сколько раз ты мне говорил не задерживаться до самого поздна на улице и одеваться скромнее. Говорила мне мама — не выставляй напоказ свои длинненькие хуленькие ножки, острые коленки, не мажь рожицу тайком, не крась губы, не подводи глаза. Но я еще ребенок совсем, и я не знаю, какое сильное воздействие оказывает все вышперечисленное на взрослых мужчин, среди которых много таких, которым и подлечиться бы не помешало лишний раз. А слово «возбуждает» мне ни о чем не говорит. Я могу только наугад отгадать самый примерный смысл этого слова. Я все всегда делала наоборот. Я подводи глаза и талию затягивала широким ремешком, чтобы была поуже. Поэтому-то они и бросились за мной в погоню, потому что я им показалась уж больно привлекательной. Боже ты мой! Какая я была дурочка. Я смеялась над вами, я считала вас очень старомодными, даже думала, что вы с Наташей (Полина звала маму по имени) зануды, ханжи и трусы. Как я ошибалась. Какой ты храбрый, папа. Я представляю, что бы ты сделал с этими двумя дураками, если бы догнал их. Ты бы из них отбивные котлеты сделал, ты бы их на колбасу собачью пустил,

ты бы им показал диковинные страны, в которых раки зимуют.

Подонки будут гореть в аду, а мы, наоборот, будем попивать лимонад и прохладиться.

Ой, а как ты смешно бежал, папа. Я обернулась и увидела. Какой ты у меня тщедушенький, слабенький и в то же время сутуленький, как ты смешно бегаешь. Животики от смеха можно надорвать. Я раньше никогда не видела, как ты бегаешь, а теперь увидела: голова болтается влево, вправо, вперед, назад, падает то на плечо, то на грудь, щеки трясутся, глаза становятся от такой болтанки огромные, папа, язык вываливается. Плечи дрожат, ноги заплетаются, как у пьяного, — ну просто умо-ра. Ты бы видел себя со стороны. Ты был похож, когда бежал, на желтенького новорожденного цыпленочка, мне даже было тебя жалко, папа. Не немножко жалко, а по-настоящему. Как страусенок бежал. Зато храбрости тебе не занимать. Но одной храбрости, как ты сам убедился, мало. Нужны еще и сноровка, и хитрость, и оружие самообороны. Например, Сережа Добкес, помнишь, я тебе о нем рассказывала, у которого руки в цыпках, который был в меня в третьем классе влюблен, так вот, он всегда носит с собой тяжелую свинцовую гирьку, подвешенную на прочную цепочку от унитаза. И еще самопал, газовый баллончик и никелированную трубку, и полные карманы гороха. Ах, папа, если бы только у тебя была такая трубка, ты бы набрал полный рот гороха и как дунул бы изо всей силы! Может, все бы и сложилось иначе, и мы бы с тобой сидели в гостиной и играли в четыре руки польку Шопена или собачий вальс. Знаешь, как больно горохом, а если повезет, можно и в глаз попасть. А если б ты видел, как Сережка дерется.

Однако же ничего уже поделать нельзя. Но я надеюсь на лучшее. Я пока еще жива, не знаю, здорова ли. То, что про-

изошло потом, после того, как ты меня не догнал, словами не передать. Если бы ты видел, какая у меня стала походка. Передавай привет Наташе, извини за неряшливые мысли и плохой почерк.

Меня держат взаперти в доме, адрес которого я не знаю. Ни названия улицы, ни номера дома. Что они от меня хотят, я сама не знаю. Они мне сделали два рентгеновских снимка. Они очень заботятся о моем здоровье. А один давит рукой туда, где почки, и смотрит мне в глаза. Надеюсь, мы скоро увидимся, еще в этой жизни. Мамочку целуй, а я тебя целую.

Твоя Полина.

P. S. Вот если останусь жива, буду каждое утро поднимать тебя на полчаса раньше для пробежки. Но есть и положительная сторона твоей немоции: когда на душе тяжело, вспоминаю твою трусцу. Улыбаюсь. Как весело у тебя заплетались ножки.

Андрей Ильич без единого слова вслух или про себя подошел к окну, открыл фрамугу, умылся снегом, что лежал с обратной стороны на подоконнике. От лица его валил густой и сизый пар. Потом он вернулся к записке, оставленной им на столе, чтобы еще раз ее прочесть. Но ее, увы, на столе не было. Ее не было нигде. Ни там, ни здесь. Повсюду ее не было. То есть ее не было нигде.

7. Слон, Ты дурак

Он давным-давно забросил преподавание, исследовательскую работу. Больше года он не показывался ни в университете, ни в библиотеке, ни в лаборатории. Когда-то сам факт выхода человека из клинической смерти вызывал у него восторг естествоиспытателя и фанатичес-

кий энтузиазм. Он изучал проблему многие годы и добился больших успехов. Оказалось, в организме млекопитающего существует резервное сердце, про запас. У человека это — печень, и, когда останавливается первое, второе поддерживает ничтожно малое давление в крови, которого иногда бывает достаточно, чтобы питать мозг умершего. Поэтому после нескольких часов, а иногда и суток пребывания в клинической смерти человек способен ожить.

Теперь ему было лень думать на естественно-научные темы. И еще было лень умыться, стричь ногти, чистить зубы. Лень одеваться по утрам. Лень вставать с постели и готовить завтрак. Лень потому, что в этом теперь не было никакого смысла. Какой смысл делать вдох, если точно знаешь, что за вдохом последует выдох. Зачем работает эта странная, живая, изнеженная, чувственная, хрупкая машина. Вдох, выдох. Бодрствовать, спать. Пить, мочиться. Смеяться, плакать. Как ритмично, как бессмысленно. Прилив, отлив. Вверх, вниз. «Зачем питать эту машину?» — думал он, сидя у окна с прикуренной сигаретой в руке. — А что же душа? Разве она не машина? Весело — полный вперед... Грустно — сдавай назад.

Андрей Ильич захотел, повинуясь старой привычке, провести рукой по лбу, но передумал. Когда человека никто не любит, он сам себя гладит по голове. Глупо. Самого себя гладить по собственной голове. Разговаривать с самим собою, самому себе отпускать комплименты перед зеркалом. Есть много разных способов заниматься любовью к самому себе и любовью с самим собой. Но почему-то совершенно нет никакого желания, подумал Андрей Ильич, еще разок приударить за самим собой, разведелить самого себя, обольстить собственным умом, своими достоинствами и планами на будущее. Лень оторвать

от подлокотника руку и коснуться своего лица. Фантастическая лень. Полная апатия к самому себе. Надо заставить себя сделать этот жест, подумал Андрей Ильич, но сил не было. Душевных не было, физических не было.

Он сидел на стульчике, курил и смотрел в окно. За окном происходили странные вещи: два молодых человека стреляли из пушки по летящему в небе вертолету. А двое других лежали, прижавшись друг к другу лицами, как влюбленные. Они были мертвы. Это было не совсем обыкновенное окно. Это было окно в мир. В нижнем правом углу, на оконном стекле, там, где обычно врезают форточку, стоял значок из трех букв CNN. Последние политические новости начисто опровергали всю предыдущую научную деятельность Андрея Ильича. Из только что увиденного можно было сделать только один правильный вывод: у млекопитающих нет ни одного сердца.

Он тут же переключил канал и увидел детей, танцующих вокруг новогодней елки. Ему было неприятно видеть радость на детских лицах, и он еще раз щелкнул тумблером... и сразу за окном пошел дождь, и закипел океан. Андрей Ильич несколько минут наслаждался его беспредельностью и щедрой широтой, пока к стеклу не прилипло лицо ведущего. Ему не понравилось это лицо. Оно было чересчур добродушным. Могло показаться, что у этого человека никогда не было в жизни неприятностей. Он выключил телевизор и решил заняться делом: набрал полную ванну горячей воды, положил на стеклянную полочку опасную бритву, выпил две таблетки от головной боли. А когда все было приготовлено к финальному выпуску, разделся донага и лег в ванну.

Он ждал, пока кровь разогреется. «Человек подобен головоломке, — размышлял Андрей Ильич, — всю свою жизнь он пытается понять принципы, по которым устро-

ен. Непонятно, как его основные компоненты связаны друг с другом. Ничто так не обнажает человека, как смерть. Головоломка рассыпается. Судить человека можно только после смерти».

Он взял в руки опасную бритву. Ему очень не хотелось, чтобы вся прожитая им жизнь в одно мгновение пронеслась перед его глазами. Поэтому он решил закончить дело быстро. Одним махом. Одним сильным движением... Только Андрей Ильич приложил стальное лезвие к руке, как вдруг зазвонил телефон, молчавший уже несколько месяцев. Телефон звонил настойчиво, он рыдал, он умолял подойти, снять трубку и приложить ее к уху.

Иванов встал в полный рост, с укоризной качнул головой, положил лезвие на полочку, стряхнул с себя воду, накинул халат и подошел к аппарату.

— Алло, — промычал он.

— Здравствуйте, — сказали по ту сторону фальцетом, — скажите, это зоопарк?

— Что? — переспросил Андрей Ильич.

— Скажите, это зоопарк? — повторил вопрос мальчик лет семи-восьми.

Андрей Ильич очень рассердился. Он знал, каким будет следующий вопрос. Мальчик спросит, здоров ли бегемот, и попросит позвать его к телефону. А потом рассмеется и положит трубку. Андрей Ильич захотел сам первый бросить трубку и очень разозлился на мальчика, но почему-то трубки не бросил. Наоборот.

— Да, — солгал он, — это зоопарк.

— Позовите, пожалуйста, к телефону бегемота.

— Бегемот занят.

— А что он делает? — Мальчик рассмеялся.

У него был прелестный смех. Чистый, совершенно ангельский, невинный смех. Легкий и озорной, как легкий ветерок, играющий с сухим кленовым листом. Мальчик

к тому же не испугался и не бросил трубку, он с удовольствием продолжил игру.

— Бегемот читает книгу. Могу позвать слона.

— Позовите слона.

— Минуту.

Андрей Ильич сделал паузу, изменил тембр голоса и снова прижался к трубке.

— Слон слушает, — пропел он низким тоном, как певчий.

— Ты слон? — спросил мальчик.

— Я слон.

— Ты дурак, слон, — сказал мальчик, свистнул слону в ухо и бросил трубку.

Андрею Ильичу стало очень, очень обидно. Он запахнул халат, в последний раз посмотрел на себя в зеркало и потихонечку пошел умирать.

Вода в ванне немного остыла, впрочем, его кровь тоже. Поэтому он сначала скинул халат, залез с ногами и добавил горячей воды. Иванов смотрел на белую, цвета свежего известняка вертикальную струйку воды и старался ни о чем на этот раз не думать. Но человеку в такие минуты бывает очень сложно заставить себя не думать. На самом деле в глубине его сознания шла тяжелейшая, титаническая интеллектуальная работа. Мозг заявил о своем полном суверенитете и отделении от Андрея Ильича. А после всерьез занялся поиском: «Где-то, когда-то была допущена ошибка, жертвой которой могут стать ни в чем не повинные нервные клетки в центре и на периферии: душа и тело». Человек ведет себя странно, иррационально, он не имеет право решать сам свою судьбу. Такой умный человек, такой красивый, такой добрый, такой любвеобильный. В расцвете сил, на пике своей карьеры, в стране, которая только что порвала с несостоявшимся прошлым. Для того чтобы спасти человека, для того что-

бы найти и указать ему на ошибку, осталось совсем немного времени. Память сориентировалась безукоризненно, и уже через мгновение перед внутренним взором Андрея Ильича предстала картинка из его прошлого. Он, двадцатилетний, стоял на ступеньках Большого театра под руку с очень красивой девушкой. Она держала в руках туфельку, у которой был сломан каблук. Вдвоем они стояли на трех ногах и ждали, когда закончится дождь. Она держала в руках белую туфельку, а правая ее босая стопа повисла в воздухе. Девушку звали Ириной, у нее были такие красивые, огромные, голубые, широко посаженные глаза, тонкий пух на щеках и замечательное чувство самоиронии в уголках губ. Но вот в чем дело — через три года он женился совсем на другой. Почему? Может быть, это и есть ошибка, та самая ошибка, которая увела в тупик, в объятия к смерти. Надо было жениться на Ирине. И тогда бы жизнь сложилась совершенно иначе. Какие у нее замечательные глаза. И сама она была изящна, как фарфоровая статуэтка, умна и расчетлива. И в ее наивном или тщательно скрываемом расчете всегда было столько очарования, столько прелести. Ей нравилось сводить с ума молодых людей, она любила интриги, а он ломал над ними голову, разгадывая, как новогодние праздничные шарady. Какой у них был красивый роман. Очень странный, очень запутанный — одним словом, не совсем обычный роман. Андрей Ильич захотел вспомнить причину их разрыва, но не смог. Он стал мучительно думать на эту тему, но память нарочно держала и не выдавала тайну. В конце концов это не важно. Важно другое, если бы ЧЕЛОВЕК женился на другой женщине, в его жизни не произошло бы апокалипсиса. И он теперь держал бы в правой руке не бритву, а, к примеру, бокал с шампанским, или «паркер» с золотым пером, или яблоко, или рыжую прядь, свисающую с ее виска.

Неизвестно, что это была бы за жизнь, но, вполне возможно, все было бы чудесно. Вот как.

А что, если еще не поздно, подумал Андрей Ильич. И на этот раз память поддалась. Он тут же вспомнил все семь цифр в точной последовательности. Это был ее номер телефона. Вот только бы она не переехала. Только бы не сменился номер. Иванов еще раз встал в ванне в полный рост, еще раз подождал, пока стечет вода, еще раз положил бритву на стеклянную полочку, накинул халат и пошел к телефону.

Он набрал эти самые семь цифр, закрыл глаза. И стал ждать. Не кто-нибудь, именно она подошла к телефону и сказала: «Алло».

— Здравствуй, — сказал он.

Они не виделись больше пятнадцати лет, но она сразу же узнала его.

— Ты?

— Я.

— Что случилось, Андрей?

— Ничего.

— Ты говоришь неправду. Что стряслось? Почему ты звонишь мне? Ничего не выдумывай, не фантазируй, сразу говори правду, ну!

— Просто так звоню, вспомнил и позвонил, — еще раз солгал Андрей Ильич.

— Она выгнала тебя? Я знала, что рано или поздно кончится этим. Но я не испытываю никакой радости. Столько времени потеряли даром. Сколько всего пережили, намучились, и совершенно напрасно, — она заплакала.

Сердце Андрея Ильича учащенно забилось, защемило в груди, стало очень трудно дышать. Сразу, как только он услышал ее голос, сразу же стало очень трудно дышать.

— Что правда, то правда, — сказал он неправду, — мы поссорились, и на этот раз окончательно. Навсегда. Все. Кончено. Ты была права. Мы были не пара друг другу.

— Я ей никогда не прощу.

— Все это уже не важно.

— Тогда зачем ты звонишь?

— Не важно то, что в прошлом. Я звоню, чтобы начать все сначала. Я люблю тебя. Я всегда любил только тебя одну.

— Тогда почему ты женился на Сомовой?

— Потому, что она забеременела и никаких условий не выставляла, а ты себя поцеловать не давала и краснела, когда Веня Егоров рассказывал анекдоты про то, как Сара с Абрамом спали под кроватью в первую брачную ночь. Ты хотела, чтобы я женился на тебе, но никогда об этом открыто не говорила, но на самом деле хотела, и даже добивалась. Вот мы время и потеряли из-за этой дипломатии. Потому что я понять не мог. То ты такая, то ты сякая, то любишь, то не любишь, то я тебе нравлюсь, то я тебе не нравлюсь.

— Кто у вас родился?

— А ты разве не знаешь?

— Мне это было все равно.

— Девочка.

— Девочка — это очень хорошо. Ей уже лет десять?

— Больше. Ты замужем, так ведь?

— Я была, — сказала Ира и глубоко вздохнула. — Ты хочешь начать все сначала через пятнадцать лет?

— Да, я хочу начать все сначала с тобой. И не когда-нибудь, а сейчас, сегодня, сию минуту.

— И как ты себе это представляешь? — спросила она и перестала плакать. — Расскажи об этом подробнее.

— Это будет так. Сначала мы должны с тобой увидеться.

— И как ты себе представляешь нашу встречу?

— Я назначу тебе свидание, и мы увидимся. Ты и я. Через час. В девятнадцать.

— Где?

— В метро, мы всегда с тобой раньше встречались в метро. На Красной Пресне. На радиальной, в центре зала.

— А если мы не узнаем друг друга? Столько лет прошло.

— Не шути так.

— Мне страшно, — сказала она, — тебе не страшно?

— Есть немного, но надо взять себя в руки, я возьму себя в руки, и ты возьми себя в руки.

— Я, конечно, попробую...

Она сказала, что попробует, и, когда она это сказала, Андрей Ильич вытянул губы трубочкой, ему захотелось коснуться губами ее щеки, он опять забыл, что разговаривает по телефону. В нем проснулась эта забытая давнишняя мальчишеская нежность. Во время разговора он смешно трубочкой вытягивал губы и покачивался вперед, а потом тихо откатывался назад, ударяясь о пустоту, о невоплощение, о многолетнюю, несправедливую, страшную разлуку.

— И ты опоздаешь, как всегда? — спросила она.

— Ну разумеется, — сказал Андрей Ильич.

— Потому, что очень занят, да? Я слышала, что ты кандидат.

— Я уже давно профессор. Но я опоздаю, — сказал он, — но не потому, что я очень занят. Я приду вовремя. Я создам иллюзию, что опоздал. Я спрячусь за мраморной колонной. Ты придешь вовремя, а меня нет на месте, а я тем временем буду рядом. Я стану из-за укрытия разглядывать тебя. Я должен увидеть тебя первым. А вдруг ты совсем не такая, какой я тебя представляю и помню?

А что, если ты сильно изменилась не в лучшую сторону? Я тебя, Ира, помню девочкой восемнадцати годков. В коротенькой юбочке и сиреневой кофточке. У тебя уши были тонкие, почти прозрачные, они просвечивались. Лицо — это зеркало души. Я хочу знать первый, какое выражение лица у тебя сейчас. Что у тебя за душою. Именно поэтому я немного опоздаю. И если впечатление будет скверным, тяжелым, я развернусь и тихонечко ретируюсь, то есть я совсем не приду на свидание. Вот почему я опоздаю. А не потому, что очень занят.

— Я по-прежнему очень смазливая, я не изменилась, не похудела, не поправилась. Скажи, ведь ты этого боишься? Вот откуда все твои страхи. Знаю я вас, мужчин. Вы любите глазами, а думаете затылками и никогда не умнеете, сколько бы лет ни прошло, все равно не умнеете. Я приду, чтобы ты знал, раньше условленного времени. Минут за пятнадцать приду. Мне самой любопытно, какой ты стал. И если ты мне не понравись, я первая убегу. Скажи честно, ты сильно изменился? Я тебя увижу еще до того, как ты спрячешься.

— Да, лиса, я очень изменился. Но все-таки я хитрее. Я тебя, лиса, перехитрю. Я возьму такси и поеду сейчас же к твоему дому. Спрячусь в тени под старым тополем и притаюсь. А когда ты пойдешь на свидание со мной, я первым подсмотрю, какая ты.

— Не-а.

— Почему это «не-а»?

— Потому что моя взяла.

— Ерунда.

— Не ерунда. Две недели назад я встретила на улице человека, очень похожего на тебя. Но я не подошла и не заглянула в лицо. В грязном пальто, без шляпы, он шел такой несчастный, разгромленный на голову, абсолютно деморализованный, еле ноги за собою тащил. Очень

сильное портретное сходство с тобою, похож, похож, что уж тут говорить. Я подумала: нет! Не может быть! Все-таки ты был такая умница. Такая духовная силища, мощь. Я нашла выход из положения — я придумала, что это не ты, а человек, на тебя очень похожий. Но теперь я точно знаю, что это был ты. Потому что в твоём голосе я чувствую страшную слабинку. Как будто тебя, Андрюшка, переехали. Как будто у тебя на плечах такой страшный груз. Это был ты.

— Да, это был я, Ирочка.

— И поэтому я не приду сегодня на свидание. Я не знаю, что происходит в твоей жизни, мне тебя, конечно, жаль. И больше не звони мне. Дам тебе один очень хороший совет. Попробуй взять себя в руки. Ты очень опустился.

— Да, я знаю, я опустился, я попробую.

Она повесила трубку. И Андрей Ильич тоже повесил трубку.

Он долго разговаривал с самим собой на разные темы, и губы его двигались, а шепота не было слышно. В комнате был полумрак, но жизни не было, и вещи молчали, и были немые, и ни о чем не говорили, не напоминали. Все такое знакомое и родное стало вдруг чужим. Оконное стекло подрагивало в раме. В трубах пела жалобным нищенским голоском вода. Он говорил, говорил, говорил... сам с собою. Но серьезного разговора не вышло. Кто-то вмешался. Позвонили в дверь. Иванов пошел открывать.

За порогом стоял старый человек, с сумкой через плечо, на его плечах лежал снег.

— Письмо, заказное, — сказал он и протянул лист бумаги, — распишитесь. Вот здесь распишитесь.

Андрей Ильич поставил крестик вместо подробной подписи в графе «получатель (адресат)».

— Ого, — сказал почтальон, — не годится, вы распишитесь по-человечески, или вы неграмотный?

— Я грамотный.

— Ну тогда расписывайтесь как следует. Телеграмма с доставкой, мне надо отчитаться.

— Я ничего не хочу делать по-человечески, — закричал Андрей Ильич, — мне все человеческое чуждо, в этом эпитете «человеческий», который вы только что употребили, милостивый сударь, ничего хорошего нет. Это страшно — «по-человечески», это ужасно, невыносимо. Страшно жить в этой человеческой оболочке. Я не знаю, как угораздило мою бессмертную душу попасть в эту оболочку. Я подозреваю, что наше человеческое существование представляет собой не венец природы, а самую обыкновенную ловушку. Я подозреваю, что мир, в котором мы существуем, есть не космос, но обыкновенная яма, на пути к водопою, прикрытая ивовыми прутьями и лапником. И мы с вами уже провалились в эту яму, мы на самом ее дне. И если все живущие на этой планете станут друг другу на плечи, чтобы выбраться из этой ямы, поверьте — ничего не получится. По-человечески — это значит на самом дне, это значит — в кромешной тьме.

Речь произвела на почтальона очень сильное впечатление. Он весь как-то поблек, его лицо как бы погасили в извести, и даже новая зеленая шапка потеряла праздничный вид, она стала неопределенно-серого цвета и к тому же вся съежилась, опала.

— Не знаю, может быть, — сказал он, — но вы все-таки поставьте свою фамилию вот здесь, в графе под словом «получатель». Пожалуйста.

— Откуда письмо?

— Из-за границы.

У Андрея Ильича свело лицо. Он вспомнил, что когда-то читал статью о борделях в Малой Азии. О публичных

домах Таиланда, где несовершеннолетних девочек приковывают цепями к кроватям.

— Давайте-ка сюда.

— Нет уж, вы сначала распишитесь как следует.

— Хорошо, — он расписался рядом с крестиком и тут же забыл о своей трагической космогонической теории, вырвал у почтальона письмо из рук, забыл поблагодарить, невежливо хлопнул перед его носом дверью, с огромной высоты упал в кресло, вскрыл конверт ножницами и прочитал:

«Уважаемый господин Иванов! Европейская ассоциация зоологов имеет честь пригласить Вас принять участие в научной конференции, посвященной проблемам экологии. Конференция пройдет в Ганновере с 20 по 26 января 1995 года. Просим убедительно Вас сделать доклад на тему «Механизм анабиоза». Расходы по Вашему проживанию, а также транспортные расходы берет на себя Берлинский Университет. Ждем с нетерпением».

В этом же конверте он нашел письмо от своего давнего друга, профессора, зоолога Мартина Бейля. Тот писал:

«Здравствуй, Андрей! Бесполезно скрывать от коллег свои последние достижения, слухами земля полнится, и мы кое-что уже знаем о твоих последних открытиях. Ждем тебя с нетерпением. Мы хорошо проведем время, у меня, в Ганновере, очень много друзей. Я обеспечу тебе полноценный, хороший отдых помимо большого успеха на конференции. Махни на все рукой, даже на самые неотложные дела, и приезжай. По-прежнему горжусь дружбой с тобой и обнимаю тебя.

Привет Наталье и Полине. Кажется, для нашей Полины я нашел прекрасного жениха из одной очень богатой семьи в Дрездене. Они ищут русскую невесту. Все теперь

ищут русских невест. Твоя Поленька — ну просто красавица, да и молодой человек тоже ничего. Мартин.

Р.С. Приезжай, всерьез займемся сводничеством. Покушаем, поболтаем, напьемся пива, вообще проживем в свое удовольствие. Ну заодно с похмелья, ха, обсудим поведение щитовидной железы у гагары обыкновенной при облучении ее инфракрасными лучами».

«Это выход, это грандиозно, — подумал Андрей Ильич, — уехать отсюда навсегда. Эмигрировать. Сначала тысячелетнее рабство, потом еврейские погромы и убийство царя, революция, концентрационные лагеря, застой, перестройка — и вот он, результат: страна становится напрочь криминальной. Никаких гарантий личной безопасности... никому никогда никаких. Здесь невозможно жить, здесь всегда все были несчастливы. Давным-давно надо было бежать отсюда без оглядки. Уехать отсюда навсегда. Это выход. Сменить все: страну, улицу, небо, одежду, речь, веселое русское сумасшествие на бравый немецкий педантизм. Это шанс. И навсегда забыть о прошлом. Начать жизнь сначала. Мартин поможет найти работу. С языками проблем нет. Кафедру сразу не получу, но со временем дадут семинар в университете. Квартиру продать. И вон отсюда. А теперь надо привести себя в порядок и написать доклад, чтобы на конференции был большой успех. Мне очень, очень понадобится большой успех».

Он сразу почувствовал титанический прилив сил. В течение одного-двух дней он навел идеальный порядок в доме, в мыслях, во всех отделах и подразделениях своей нервной системы, в архиве — одним словом, на небе и на земле, и сел за работу. Предстояло написать доклад на английском языке. Он писал и немедленно переводил. Через две недели он закончил работу, ему на дом принесли билет на самолет. Квартиру не удалось продать, он перепоручил это дело одному из своих друзей.

Накануне днем, чтобы отъезд не выглядел как позорное бегство, он прошелся по Москве и навсегда простился с памятными ему местами. Зашел и помолился в Елоховский храм, где сорок два года тому назад был крещен, съездил на Воробьевы горы, прогулялся по бульварам. Вернулся домой, собрал чемодан и благополучно отъехал в аэропорт.

8. В Эмиграции

Все свободное от науки и от своего друга Мартина время он бродил в полном одиночестве по Ганноверу, знакомился с милыми людьми, широко улыбался и старался думать на родном языке, то есть по-немецки. Вот что говорил когда-то его первый учитель математики: «Если задача не решается, начни сначала. Еще раз прочти условие, возьми чистый лист бумаги». И Андрей Ильич блистательно справился с новой задачей.

Здесь повсюду было в избытке очень тихой, очень спокойной, очень благополучной жизни, особенно в маленьких провинциальных городах.

Жизнь повсюду была отменного качества. Мартин одобрил идею Андрея больше не возвращаться в Россию и обещал найти работу, жилье и оформить вид на жительство. И даже успел похлопотать насчет маленького пособия.

А пока Иванов расположился в гостинице. Ему нравилось возвращаться в номер по очень длинному коридору и, лежа на диванчике, читать бульварные романы. А вечером по винтовой лестнице спускаться вниз в погреб, чтобы вкусно поесть и выпить пива или, на худой конец, крепкого чая со смородиновым листом. Профессор с удовольствием мечтал о своей квартире, подробно читал объявления в газетах о сдаче в аренду недвижимости

и ждал, когда же ему наконец надоеет эта милая гостиничная жизнь. Еще он купил себе несколько новых рубашек. У него появился вкус к покупкам и хорошей одежде. Огромное удовольствие доставляли магазины, где продавались аксессуары. Он ходил сюда, как на экскурсию, прицениваясь к зажиточной и благопристойной холостяцкой жизни. Сколько удовольствия можно получить от красивой курительной трубки, хороших запонок и кожного ремешка для часов. Сколько счастья и радости можно приобрести почти за бесценок. А нам все грезится журавль в небе, счастливые и роковые случайности, грациозные движения, па, вращения на одной ноге уставшей, измученной души.

Однако потехе — час, а делу — время. Этот день настал. В восемнадцать часов ему предстояло выступить с докладом.

Иванов выпил крепкий кофе в студенческом баре и через четверть часа воодушевленный и совершенно счастливый вошел в переполненный конференц-зал и занял свое место в пятом ряду. Мартин сидел справа и кокетничал с генетиком из Кембриджа. Они ворковали, как голубки, а Иванов никак не мог понять, кто он, этот генетик, — мужчина или женщина. Когда воркование становилось чересчур громким и сладким, Мартин незаметно толкал Андрея Ильича в бок локтем и подмигивал и прищуривался, как рептилия. И еще высовывал язык и прятал его — и так много, много раз, очень, очень быстро. Мартин любил ящеров и с удовольствием демонстрировал их повадки. Наконец начались бесконечные доклады, диспуты и рукоплескания. Андрей Ильич терпеливо ждал своей очереди, а когда дождался, не спеша, с достоинством поднялся на кафедру и закашлялся в кулак. Он начал на английском с легким акцентом: «Дамы и господа. Я хотел бы выйти за рамки регламента, не дожидаясь,

пока истечет время, отведенное секретариатом для доклада. (Оживление, веселое оживление в зале, шутка удалась.) Я думаю, что вопрос, который я затрону сегодня, настолько актуален, что мы имеем полное право обсуждать исключительно этот вопрос, не только отступив от регламента, но и умышленно прекратив обсуждение всех других тем.

Мисс Чаплин изучает поведение фламинго в брачный период, а я изучаю механизм анабиоза. Как жаба обыкновенная может выжить подо льдом при максимально низких температурах и воскреснуть весной. Сегодня у нас настоящий праздник, настоящий международный научный шабаш: очень много замечательных мыслей, редкое изобилие остроумных и талантливых идей.

Но у меня есть подозрение, господа зоологи и биологи и господа биохимики, что мы с вами не тех животных, не тех зверей изучаем. А в первую очередь нам следовало бы изучить совершенно других животных, совершенно иных зверей. А именно тех самых животных и зверей, которые рождены в облике человеческом. (Беспокойство в зале.) Именно эти животные менее всего изучены, более того, они до сих пор не выделены наукой в отдельный подвид. Таким образом, официальная наука делает вид, как будто их не существует. И это неправильно, нечестно. Я не понимаю, что такое человечество. Это очень аморфное определение с точки зрения теории биологических видов.

Да, животные в образе человека обладают абсолютной схожестью с человеком и даже умеют говорить, они обладают именем и прямохождением, но это чисто внешние признаки. У них нет главного, того самого, что отличает человека от животного: совести, сочувствия к ближнему. Поэтому они вовсе не люди, а звери, поэтому их надо выделить в подвид и изучать. Тем более что

они являют собой огромную опасность для общества. Этот подвид я бы назвал «человекоподобное животное». Представьте себе хамелеона, который меняет окраску для того, чтобы не увидеть самого себя. Вот почему многие из них сами не знают, что они животные, звери, пока не совершат тяжкого преступления. Этот подвид животных занимается охотой на людей. Давайте с вами посмотрим, что пишут газеты в разделе криминальной хроники. Сколько каждый день эти звери убивают ни в чем не повинных людей. И это — наша с вами вина. Потому что мы совершенно их не изучаем. Нас привлекают медведи, кабаны и рыси, но вы наконец поймите, самое неизученное животное — это животное в человеческом облике».

По залу пробежала первая волна возмущения, она поднялась в последних рядах, у линии горизонта, и двинулась к сцене, а потом закипела пеной и шепотом у самых ног Андрея Ильича.

«Сами мы, черт побери, уже давно превратились в корм для этих самых животных. Сделаем еще одну попытку обратить хищных гиен и шакалов в христианство? Бесполезно. Возьмите любое самое умное животное, например, крысу, и попробуйте обратить его в христианство или буддизм. Собаку можно научить разговаривать, считать, как в цирке, но вы никогда не научите ее медитировать. Попробуйте волка научить сочувствовать и прощать. Я вам отдаю прекрасную идею для смелого научного эксперимента. Попробуйте, если у вас получится, вы прославитесь. Но вы опытные ученые, вы сами лучше меня знаете, что из этого ничего не получится. Никогда.

И вот он, результат: все мы оказались в положении овец, и никто не знает, когда пробьет час каждого из нас. Вы скажете, мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать криминальные проблемы. Но, мисс Чаплин, почему

вы позавчера просили меня проводить вас домой? (Подумал про себя: «Зачем я привязался к ней и все время привожу в качестве примера?») Чего вы боитесь? Кого вы боитесь? Хищников в человеческом облике, разумеется. Поэтому я предлагаю: давайте несколько пересмотрим идеи Дарвина. Давайте-ка не будем заблуждаться. Проблема преступлений человека против человека — это не социальная, это биологическая, естественно-научная проблема, это зоологическая проблема. Давайте всерьез займемся изучением этого подвида хищников. Они опасны, многие из них достаточно хитры и умны, они хотят власти, много раз им уже удавалось приходиться к власти, и это каждый раз заканчивалось катастрофой для всего человечества. Надо отделить человечество от этих тварей, и тогда понятие «человечество» не будет аморфным, а жизнь будет более безопасной. Вы понимаете, во многих странах мира в разные времена у власти стояли или стоят животные. А потом мы жалуемся на то, что у нас слишком уж кровавая история. Надо создать критерии, позволяющие определить, где есть человек разумный и гуманный, а где — животное в образе человека. (Зал отреагировал на эту реплику очень бурно, он почти взорвался.)

Главное — научиться распознавать их среди людей. Они обладают способностью мимикрировать и применяться к среде, менять цвет, окраску не хуже, чем, скажем, камбала, носить модный галстук и пропускать вперед беременную женщину. Они обладают изумительной способностью не быть, а только лишь казаться. Как сегодня мы распознаем хищника? Увы, только после того, как совершено преступление. Только после того, как прозвучал выстрел, после того, как растерзан ребенок или съеден заживо человек. Нельзя оставлять за этими тварями право первого удара, первого выстрела, первой ночи.

А скажите мне, кто ведет учет и контролирует рост популяции? Полицейские. Люди совершенно некомпетентные, не имеющие представления о том, что такое рефлекс, подвид и ореол расселения. Они не умеют изучать повадки животных, потому что это целая отдельная наука, они умеют только отстреливать и содержать в тюрьмах. А вы посмотрите на наши тюрьмы. Это самые настоящие зоопарки, со всеми их атрибутами: клетки, вольеры, загоны и кормление через окошко в двери или решетку. А по телевидению нам показывают смерть зверя. Волка привязывают к электрическому стулу, заклеивают ему липкой лентой глаза, чтобы они не выскочили из орбит, и включают рубильник. Это чудовищно жестоко — убивать животное в зоопарке только потому, что оно питается мясом или, в нашем случае, из-за того, что оно питается человеческим горем. Это, кроме всего прочего, ничем не оправданное транжирство. Каждый экземпляр представляет собой невероятную ценность для науки. Столько труда стоит его отловить. И после этого его уничтожают. Это все равно что отправиться в горы в экспедицию с тем, чтобы изучить повадки снежного барса. А потом, когда барс будет найден, убить его.

В заключение скажу: у них нет ни морды, ни хвоста. Но в метафизическом смысле у них есть и хвост, и морда».

Андрей Ильич закончил. Публика была в шоке. В гробовой тишине Андрей Ильич спустился с трибуны, прошел между рядами. Когда дверь зала за ним закрылась, он заплакал. Много лет назад, маленьким мальчиком, он плакал этими же слезами, когда вообразил себе, что умрет и как все будут печальны, если он умрет. И те детские слезы были на вкус точно такие же, как сегодняшние: солено-сладкие. Мартин нашел его в туалете. Андрей Ильич умывался холодной водой.

— Мой друг, что с тобой происходит? Что ты такое говорил?

— Я сегодня же возвращаюсь домой, в Москву, — сказал Андрей Ильич. — Я возвращаюсь. Сейчас же еду на вокзал.

9. НЕВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Была глубокая ночь. Поезд давно миновал границу. В купе было невыносимо душно. С каждым ударом колес воздух все сильнее сгущался, теряя свойства газа и превращаясь в минерал.

Андрей Ильич проснулся от этой страшной и невыносимой духоты, включил ночник, спустил босые ноги на мягкую ковровую дорожку. Его сосед по купе, молодой дипломат лет тридцати, спал безмятежно и тихо, как ребенок, улыбался во сне и сосал язык — недавно он получил повышение по службе.

«Как душно: если поезд не остановится, я задохнусь. Неужели так душно от того, что он едет? А если остановится? А этот разве не чувствует, как душно? Нет, спит себе. Преспокойненько».

Иванов поднял занавеску, и в купе стало светло. За окошком пела метель. Но почва почему-то оставалась голой, не прикрытой снегом. Белые облака — огромные купы снега — носились по воздуху, как мятежные ангелы, со скоростью, намного превышающей не только скорость света, но и скорость непроницаемой тьмы.

Поезд остановился, как будто повинуюсь его астматическому приступу. Иванов мгновенно принял единственно правильное решение: оделся, накинул пальто и вышел на перрон. Вслед за ним, кутаясь в коротенькую форменную шинельку, вышла молоденькая проводница.

— Стоим три минуты, — сказала она, — станция Котельная.

— Очень хорошо, — сказал Иванов и пошел прочь.

— Куда же вы? — прокричала ему в спину девушка.

Он не ответил и ускорил шаг, а потом и вовсе не выдержал и побежал без оглядки. Сначала он бежал по перрону, потом — по лестнице вниз, а потом — по проселочной дороге.

Ветер прокалывал насквозь своими длинными, острыми иглами его пальтишко из тоненького кашемира, его тело. Ветер кипел и завывал. Дорога вела в поле. Слева и справа вырисовывались силуэты громадных деревьев. На душе тем не менее было хорошо. Было необыкновенно весело и жутко. Вот так вот: «Ночью. Идти. Одному. Через. Бескрайнее. Поле. Забыв обо всем на свете».

Ему захотелось кричать, до того на душе стало легко и хорошо. И он закричал. Это был триумф, это был вопль победителя. Страх был побежден. Страх был повержен. А вместе с ним был повержен инстинкт самосохранения.

Андрей опять побежал, не от погони, ее не было, он побежал, потому что, когда человек вдруг счастлив, он не может спокойно идти себе своей дорогой. Он бежал, пританцовывая, кружась, вприпрыжку, хохоча. Пальто мешало, давило на плечи, сковывало, сопротивлялось счастью. Мало того, что оно давило на плечи, оно давало шанс выжить, дожить до утра. Он сбросил с себя пальто в сугроб и остался в рубашке. Он пошел своей дорогой, одному ему известной, а оно осталось лежать, как убитое, раскинув в разные стороны рукава, совершенно бездыханное.

Было очень холодно, но он не чувствовал, что замерзает, наоборот, он наслаждался неведомым ранее счастьем ничего не бояться: смеялся, как ребенок, смеялся,

как царь, как филин, как удачливый игрок, смеялся до тех пор, пока не услышал невдалеке плач. Он опешил и остановился. Осмотрелся. Он стоял в поле. Не было видно ни станции, ни железной дороги, ни больших деревьев. Вокруг не было ни души. Но скоро он догадался: это плакала метель. Это она рыдала, это она рвала на себе белые волосы. Она все портила — невозможно радоваться и быть совершенно счастливым, когда за спиной плачут.

Андрей Ильич попытался утешить метель, он сказал ей что-то очень нежное и ласковое. Но она не обращала на слова никакого внимания. Тогда он махнул на нее рукой и пошел дальше, думая о своем. Он шел долго, несколько часов, и радость не оставляла его. Улыбка примерзла к лицу: пожелай он опустить уголки губ вниз, из этой попытки ровно ничего не вышло бы. Скоро стало тепло и захотелось спать. И он заснул бы навсегда вечным блаженным сном, если бы не расслышал рядом с собой мягкую, живую, человеческую речь. Он прислушался, чтобы понять смысл этих слов, но из-за страшного шума ничего толком не расслышал. Снежные облака, летающие над землей с огромной скоростью, с ужасным грохотом бились, сталкивались друг с другом, со скрежетом разваливались на куски и падали на землю. Чужая речь стала доступна для понимания только тогда, когда он понял, что источник ее находится не снаружи, в молочной тьме, а в нем самом, в недрах Андрея Ильича. Он тут же заткнул уши руками, и сразу же стало отчетливо и хорошо слышно: «...не будь таким самонадеянным, дурачок, не ты создал эту реальность, этот прекрасный кошмар, это не твой Дух носился над водами. Если ты думаешь, что мы сейчас смотрим на тебя, тогда заблуждаешься, страшно заблуждаешься. Твоя маленькая драма — это только твоя маленькая драма, и больше ничья.

И никто, кроме тебя самого, на тебя не смотрит, не видит тебя и ничего о твоём существовании не знает.

Ах, как много неудач. Сначала, как водится, героизм, высосанный из пальца... Потом страшное отчаяние и приступ негативизма, попытка начать жизнь сначала с несовершеннолетней потаскушкой, приступ ненависти, инсценировка самоубийства и ее полный провал после сакраментальной фразы: «Слон, ты дурак». Что еще? Бегство? Эмиграция? Опять фиаско. Сколько неудач. Наконец, ты, мерзавец, симулируешь астму, сходишь ночью с поезда. Не вдаваясь в подробности, подведем первые итоги: отморожены нос, уши, пальцы на ногах. Ты не чувствуешь боли, тебе не до этого, ты якобы счастлив. Далее. Ты бросил пальто на снег. Зачем? Во внутреннем кармане паспорт и немалая сумма в американских долларах. Хорошие, кстати, деньги по нынешним временам.

Итак?.. Ответ прост».

Когда тот, который говорил, сказал, что ответ прост, Андрей Ильич еще сильнее вдавил пальцы в уши, чтобы еще лучше слышать.

«Ты демонстрируешь себе самому собственное отчаяние, собственное безумие, чтобы себя оправдать. Тебе всегда было немножечко не до нее, даже тогда, когда она совсем еще маленькой забиралась тебе на колени, и ты играл с ней в игру под названием «Ехали-приехали». Ты ждал, когда она уйдет и оставит тебя в покое. Когда она подросла, ты спрашивал: «Как дела, дочь?» Она отвечала: «Хорошо, папа». Вот, собственно говоря, и вся любовь. А когда случилась беда, ты стал симулировать отчаяние, великолепно, ужасное отчаяние, чтобы сложилось впечатление, будто ты ее безумно любил. Но ты недостойн высокого отчаяния, ты его не заслужил. У кого должно было сложиться это ложное впечатление? У тебя самого. Вот что происходит. Ты единственный зритель в зритель-

ном зале, и сам для себя играешь на сцене — ты один на сцене. Какая сегодня колоссальная, бескрайняя, как степь, сцена. Какие эффекты — мороз, метель; не хватает декораций, молнии и грома. Зачем тебе принимать участие в этом грандиозном шоу?

Хочешь ввести в заблуждение свою совесть. Нет, не получится. Она знает. С первого дня появления дочери на свет ты был к ней совершенно равнодушен. И ты признался в этом своему другу, который позвонил тебе ночью и поздравил с тем, что у тебя родилась дочь. А ты сказал: «Пока я не очень понимаю, что произошло, я себя отцом не чувствую. Знаешь сам, есть инстинкт материнства, но инстинкта отцовства в природе не существует, у меня, наверное, эта мышца не очень развита, даже если она есть. Может быть, со временем я почувствую себя папашей?» Прошло много лет, и ты так ни разу и не почувствовал себя ее отцом. Искренне тебя твоя дочь никогда не интересовала. Ты как-то сказал своей жене, когда она тебя стала укорять за то, что ты совсем не занимаешься воспитанием: «Ну какой я, Наташа, отец, я кукушка». Ты обращал внимание на нее только тогда, когда она мешала тебе жить. Помнишь Поленьку в грудном возрасте?»

— Помню, — сказал Андрей Ильич отмороженными губами.

«Она мешала спать и по ночам кричала, как выпь. И ты подходил к кровати и просил ее замолчать, а она на зло кричала. У нее резались зубки. И однажды она довела тебя до бешенства. Ты терпеть не мог этого крика. Ты нагнулся и закрыл ей рот ладонью, а потом отнял ладонь, вдруг осознав, что ребенок может задохнуться. Вовремя осознал. Исход мог быть плачевным. А Поленька закричала еще сильнее. И этот наивный опыт твоей ярости ужаснул тебя самого».

— Да, я помню, — попытался спорить Андрей, — но я хотел, чтобы она перестала плакать, я растерялся, я не знал, что делать.

«Через несколько лет, когда она подросла, ты обнаружил в ее характере что-то такое, совсем тебе не родственное, чужое, что очень тебя раздражало. От рождения она принадлежала именно к тому разряду людей, которых ты всегда не очень жаловал, которые выпячивают себя, которые помешаны на себе, которые говорят только о себе и других заставляют слушать, жить своими надеждами, странностями, страхами, предчувствиями. Это воспитанием не исправишь. Это врожденное, это навсегда. «Некрасиво быть нескромной», — как-то сказал ты ей, когда она подросла. Она промолчала, она проглотила, она ушла. А потом вернулась и спросила: «Папа, а ты скромный?» Ты ответил положительно. И не согал, ты на самом деле очень скромный человек. А она ответила: «Па, ты не скромный, ты просто какой-то пришибленный».

— Да, я вскипел, но виду не показал.

«А почему ты не показал виду?»

— Не знаю.

«Потому, что ты пришибленный».

— Я такой, какой есть, вот что...

«Потом ей стали звонить мальчики, и она вслух полюбила рассуждать: кто из них дурак, кто умный, кто богатый, а кто из бедной семьи. Она не видела нюансов. Ее мир был черно-белым, его населяли умные и дураки, хорошие и плохие, душки, лапочки и кретины. Ее ровесники и ровесницы смущали тебя: очень узкие интересы, очень плоское и одностороннее любопытство к жизни. Очень разные, но в основном несимпатичные лица. Обыкновенные красивые мальчики и девочки, но не симпатичные. На всех них уже лежала странная печать

душевной пустоты. И полного равнодушия к жизни, к духу жизни, к тайнам жизни, к ее существованию. Вы в молодости были совсем другими, вы были жизнерадостные, а они все производят впечатление уставших людей. Ты так думал. Тебе нравилась совершенно другая девочка, Полина подруга — Танечка Некрасова. Очень деликатная, умная девочка. Скромная и рассудительная. И ты как-то допустил кощунственную мысль: вот хорошо бы, если бы она была моей дочерью. Ты произнес эти слова не вслух, а про себя, но какая разница. Они были сказаны, вот что важно. К чему тогда напускной трагизм, эти демарши и розыгрыши, твое безумие, которым ты так кичишься, умирая от холода, пытаешься реабилитировать себя в своих же собственных глазах. Ты не любил ее».

— Но все-таки она как-никак моя дочь, — попытался спорить Андрей Ильич.

«Повтори».

— Она, как бы там ни было, моя дочь.

«Смешно. Если вы состоите в родственных отношениях, это вовсе не говорит о вашей человеческой близости. Вы не любили друг друга и даже не дружили, вы были просто знакомыми. И относились друг к другу с прохладцей. Ну пропала она, ну случилось с ней несчастье, стоит ли так мучать себя? Из-за того, что с твоим знакомым такое произошло. Зачем притворяться. К чему эти страстные и неуклюжие попытки реабилитировать несостоявшиеся отношения?»

— Да, не стоит.

«Что было потом? Ты решил спрятаться. Потому что очень многое раздражало в Полине и мешало тебе жить. Ты спрятался за своим равнодушием и за бесконечной занятостью. Она быстро раскусила твой ход и ответила тем же. Скажи сам себе правду, в тот роковой день ты не

очень-то торопился к себе домой. Иначе бы не пошел пешком, а взял бы такси или поехал на метро.

Если при жизни вы так мало интересны друг другу, тогда кто вспомнит о вас, когда вас не станет? А тебя скоро не станет. Ты околеешь в этой заснеженной степи ночью. Вот, оказывается, в чем дело. Превратишься в кусок льда, а весной растаешь, сойдешь вместе со снегом. Ох, это странное безразличие к жизни своих близких. Это привычное и почти невидимое для себя и для окружающих безразличие: «Я безумно люблю тебя. Я на самом деле тебя люблю. А может, и не так сильно я тебя люблю. А что, если я только воображаю, что люблю тебя, а на самом деле тебя не люблю? Но иногда, честное слово, мне кажется, будто я тебя ненавижу, но слава богу, что это меня волнует. Порой становится страшно, потому что совершенно все равно — люблю тебя или нет. Знаю, что ты где-то есть, где-то там, близко или далеко».

Нет, таких слов ты не говорил, это не твои слова, они понадобились мне в качестве примера, для того чтобы ткнуть тебя в них носом, чтобы описать твоё состояние души, её основную мелодию. Обожания между вами точно не было. Романа между вами не было. Между тобой и Полиной. Да, романа. Не в банальном смысле, не та любовь, которая опошлена многими поколениями бездарных писак и сладкоголосых менестрелей, не эта приподнятая чушь, ароматная, как цветочное мыло, а именно любовь эпическая — одного человека к другому. И не важно, кто этот человек, которого ты любишь: твой друг, твой ребенок, твой враг, твой отец.

Именно поэтому ты с такой отчаянной решимостью симулируешь духовное потрясение, помешательство, отчаяние. Демонстрируешь самому себе. Не горе терзает тебя — позерство. Да, я согласен с тобой. Жизнь — это сомнительная ценность. Она покинет нас, она изменит

нам с новым поколением, она полюбит других и когда-нибудь станет совершенно равнодушна к нам.

Благодать великая исходит от того человека, толку от которого нет никакого. И все в него входит, и ничего из него не выходит. И однажды вот что случается с таким человеком: снег лезет в глаза, за шиворот, в рот — и ничто не имеет никакого значения. Такой человек разыграл перед самим собой блистательную драму. И вот он, финал: опускается белый, холодный занавес, сотканный из чистейшего снега.

А что там, за этой белой занавеской? Он — холодный и промерзший насквозь. Сам себе аплодирует.

Вспомни: первое слово, первая обида, первая победа над собой, первое свидание, первая ночь, рождение дочери, поездки за город, дом, друзья дома, ветер за окном, чай на столе, рубашка, из которой давно вырос, грязный воротничок, пепельница с окурками, репродукции Пикассо и Шагала, лужи во дворе, газеты в почтовом ящике. Умирай спокойно, ничто не было дорого, ни о чем не жалеи.

Умирай, посмотри, сколько пуха носится в воздухе. Ложись на эту чудесную мягкую перину и спи. Спокойной ночи».

И стало тихо. Он замолчал, голос.

«Да зачем на самом деле так убиваться, до смерти убиваться», — подумал Андрей Ильич, нагнулся, взял в пригоршню немного снега, умылся. Он не чувствовал рук. Они совершенно одеревенели. Он сел на корточки и стал растираться снегом. Очень хотелось спать, но он решил не ложиться так рано, все-таки сорок два года — это не такое уж позднее время.

Метель поутихла, выдохлась. Светало. Он опять увидел те самые деревья, что росли вдоль дороги. Они стояли по двое, точно дети на прогулке. А где-то вдалеке раз-

дался шум поезда, как бы показывая ему направление, в котором надо идти к станции. И он пошел, преодолевая боль в голове и адскую усталость. Через час он вышел на дорогу и, что самое удивительное, совершенно случайно нашел под снегом свое пальто — правая нога чудесным образом попала в карман. Он встряхнул его, вдел в рукава, но застегнуть на пуговицы не смог — одеревенели пальцы.

Озноб сотрясал все тело. Снег аппетитно хрустел под ногами, и, наверное, поэтому ужасно захотелось есть. Зато от его былой радости, восторга и экзальтации не осталось и следа. Просто-напросто какой-то человек, уже не молодой, но еще не старый, шел себе преспокойненько по проселочной заснеженной дороге к железнодорожной станции. Шел без песен и танцев. Молча. Ссутулившись, спрятав руки глубоко в карманах. И одному Господу Богу было известно, как он здесь оказался. Он молчал. И его внутренний голос безмолвствовал. Он благополучно дошел до станции, поднялся вверх по лестнице на перрон, у кромки которого отдыхал уже другой состав. Из шестого вагона вышла проводница. Он подошел к ней и сказал:

— Я отстал от поезда. Вы не могли бы взять меня с собой? Куда следует ваш поезд?

— На юг, в Анапу, — сказала девушка.

— Там уже тепло?

— Да, там сейчас уже тепло. Еще не очень, но уже тепло.

— Я хочу туда, где тепло, я очень замерз, вы возьмете меня с собой?

— Пожалуйста, — сказала девушка, — входите.

Профессор переступил через порог, за ним захлопнулась железная дверь, и его на перроне не стало. Как будто и не было. Поезд тронулся.

10. уга-уга-угадали

Иванов легко и точно повторил, воссоздал самого себя, вплоть до морщинки на переносице и седины на висках, когда спустя три дня вышел из той же самой двери. Воздух был серого цвета и повсюду плавали острова гари и вкусного тумана.

Он обошел город за полчаса вдоль и поперек. Городок был совсем небольшой, без особенных достопримечательностей, но очень уютный, и вид у него был какой-то отсутствующий. Как у ленивого школьника на последней парте на последнем уроке в последней четверти выпускного класса. Как у школьника, который мечтает о теплом море и блаженстве: ни о чем не думать, лежать себе на спине и смотреть в голубое небо, слушать гомон чаек. Андрею Ильичу передалось это настроение, и он захотел сейчас же увидеть море.

Он подошел к старику, что копался, стоя на коленях, в своем саду, и спросил о море. Старик ткнул перепачканным в земле черным пальцем в сторону, откуда доносились запахи прошлогоднего виноградного жмыха, йода, вяленой рыбы и низкий, тяжелый гул. Близость моря чувствовалась повсюду: деревья росли под углом к земле, и веток с одной стороны у некоторых не было совсем. Они были очень странные на вид, красивые и кривые, цвета запеченной на огне охры. А те из них, которые росли в аллее на набережной, вполне могли бы плодоносить моллюсками, рыбами, раковинами, морскими звездами. Но стояла зима, и ветки были совершенно голые.

Он спустился по набережной к самой кромке, к самой воде, присел на корточки, умылся, вытер мокрое лицо чистым и сухим носовым платком, набрал в правый ботинок белой кружевной пены, попятился от новой наступающей волны, наступил на полу пальто и упал на бок.

Он долго лежал на песке и рисовал указательным пальцем причудливые фигуры, иногда заглядывая за линию горизонта. Он думал о вещах приятных и не совсем совместимых: «Вот если бы море стало совсем прозрачным и можно было увидеть его дно, простирающееся до горизонта, тот самый чудесный пейзаж, который скрывают его воды, его волны. Какой это был бы чудесный пейзаж: холмы, поросшие разноцветными, всех цветов и оттенков радуги растениями, водорослями, а над холмами, в воздухе плавно парят рыбы, косяки рыб, как стаи птиц». И еще он думал: «Как хорошо, как сладко родиться заново, начать жизнь сначала. В другое время, в ином месте, где ничто не напоминает о прошлом, где ты впервые, где раньше не был никогда». Иванов достал паспорт из внутреннего кармана и бросил его в море. Над его головой прокричала чайка. Он улыбнулся и помахал ей рукой, и все было бы хорошо, но с ним случилось дежавю. Ему показалось, что однажды в его жизни что-то подобное уже было. Этот пляж и это место показались ему знакомыми. Но он отогнал дежавю, он плюнул на дежавю. Он сделал усилие над собой и навсегда забыл о дежавю. И снова стал любоваться живой, двигающейся влагой. Насладившись пейзажем вдоволь, он встал, поднял воротник пальто и пошел в город.

Первым делом он зашел на почту и дал сразу восемь телеграмм по различным адресам. Во всех телеграммах слова и точки были одни и те же, в одной и той же последовательности: *«Меня не ищите, меня больше нет. Прощайте»*.

Вторую половину дня он выбирал домик, в котором ему предстояло остановиться. Объявлений о сдаче комнат внаем было предостаточно. Ему хотелось, чтобы дом, в котором предстоит жить, отличался от других. И он скоро нашел такой: двухэтажный, из красного кирпича,

с круглыми окнами на втором этаже и романскими на первом, дом, стоящий за чугунной, красивой оградой. На ограде раскачивалась страничка, на которой было написано красной масляной краской:

«Сдаю комнаты. Недорого».

Андрей Ильич открыл калитку, прошел по узкой асфальтовой дорожке к двери и позвонил.

После небольшой паузы дверь открылась легко, как будто ее перелистнули, как будто это была не дверь, а глянцевая страничка иллюстрированного журнала, и... он увидел перед собой прекрасное лицо, большие, чуть раскосые глаза, расставленные широко, излучающие тепло и нежность. Лицо прекрасной женщины — радужное и светлое, без единой тени. Красота хозяйки поразила его, что забыл о приготовленных им для такого случая словах. За ее спиной, в глубине, горел желтый абажур.

— Здравствуйте, — сказала она, — слушаю вас.

Андрей Ильич покраснел, как новорожденный, как будто только что он с трудом в тяжелых родовых муках преодолел сопротивление материнского тела, как будто только что вышел наружу вперед темечком. Он покраснел всем телом, не только лицом. Как новорожденный, он должен был закричать или заплакать, но он, слава богу, не закричал и не заплакал, а только от сильных, нахлынувших внезапно чувств в его горле образовался ком.

— Вы по объявлению? Комнату хотите снять? — спросила она.

— Ага, — выдавил из себя он.

— Одну комнату?

— Ага.

— Вы один будете жить?

— Угу.

— Вы гулите, как грудной ребеночек, вы говорить умеете?

— Угу.

— Что?

— Я на самом деле родился, то есть появился на свет только сегодня, — сказал Андрей Ильич, — вы уга, — он вдруг стал заикаться, хоть никогда в жизни не заикался, — уга, уга, уга...

— Угадала?

— Угу, уга... дали, — пробормотал он.

— И давно вы родились?

— Часа три тому назад.

— В пальто, шляпе и ботинках?

— Ага.

— А как вас зовут?

— Не знаю. — Он пожал плечами и улыбнулся, еще раз пожал плечами и улыбнулся.

Она еще раз внимательно рассмотрела его. Ей стало жалко этого уже не молодого человека, в чьих глазах было столько всего такого, о чем в жизни не рассказать. Ни за что не рассказать. Живое и настоящее страдание.

— Хорошо, я вам сдам комнату во флигеле, но если нет у вас документов, тогда деньги заплатите вперед за месяц.

— Сейчас же, с удовольствием, — сказал он.

— Тогда проходите, я покажу вам вашу комнату.

11. ПОДКИДЫШ

«И надо же такому случиться... Однажды в дверь звонят, я иду открывать, думаю, кто бы это мог быть, открываю дверь и вижу: на пороге подкидыши. Нет, не лежит, стоит. Вообрази себе, Машенька, только вообрази себе,

правда, забавно? — писала в письме своей подруге учитель физики Ольга Розенталь. — Эдакий интеллигентный, тихий, гуляющий на четырех европейских языках подкидыш. Я могла бы отнести его в приют, но мне стало его жалко. Я уже об этом подумывала, но в самую последнюю минуту стало жалко. Всех стало жалко. И его, и себя. Ты же знаешь, я от первого мужа не могла забеременеть и от второго тоже. А тут такой подарок с неба, ты знаешь, какая у нас скукота зимой, жуткая, провинциальная скукота. Вот я и решила: возьму, оставлю его себе. Мальчик славный — брюнет, личико бледное, милое. Глазки блестят. Пальчики тоненькие. Носик остренький. И вот уже второй месяц пошел, а я, знаешь, не жалею, Маша. Он, конечно, как все маленькие дети, очень беспокойный, нервный, плохо кушает, вечно что-то бубнит себе под нос и еще писается под себя. Видно, подстыл где-то. Я вызвала доктора. Диагноз такой — дизурия. Скоро пройдет, если бог даст.

Ну вот еще что: ночью кричит. Во сне. Как же он страшно кричит, и не только кричит, но и бежит, торопится куда-то, ножками сучит под одеялом. Стала я его перед сном поить медом с молоком и валерианой. Стал лучше спать, но зубами все равно скрипит. Так что первые три недели я совсем не спала. Какой там сон. Но сама знаешь, каково оно с маленькими детьми. Ни сна, ни отдыха.

Первые две недели кушал совсем без аппетита, а теперь и кушает хорошо, и вино с удовольствием пьет, и поправляется, и сам накрывает на стол, и посуду моет.

Долго я думала, как его назвать, и назвала Евгением — в честь моего деда. Узнать что-то более подробное о нем мне не удалось. Он говорит, что не помнит. Одним словом, подкидыш — что с него возьмешь. Что-то есть в нем очень трогательное, трагическое, что-то он тяжелое пережил в своей жизни, я думаю. Но я не пытаю

с расспросами, не пристаю. Но сердце меня не обманывает. Сердце мое чувствует. Что-то есть в его лице такое — очень... тяжелое. Мордашка милая, симпатичная, безобидная такая, но все же есть в глазах какая-то мука, какое-то мучение.

Он пока еще засыпает тяжело. И просит читать перед сном. Я сходила в городскую библиотеку, взяла книгу и читаю. Меня и саму в сон тянет, очень скучная книга. Но он такую сам попросил. Я этого автора и в помине не знала. Растет Женя быстро — не по дням и даже не по часам. По минутам. Недавно стал надоедать мне самыми разными вопросами, вдруг подойдет и спросит: «Скажите, а почему море соленое, а почему воздуха не видно? Скажите, Оленька, вы задумывались когда-нибудь, зачем мы живем на этой земле? А почему становится грустно, когда идет дождь?»

Иногда мы с ним ходим гулять. Мы идем к морю и, взявшись за руки, бродим по пляжу, а на пляже ни души. Только он и я. Признаюсь тебе, мы с ним сдружились, Маша, он очень скрашивает мое одиночество. Он бегает по береговой отмели, ищет красивые, полированные водой осколки бутылочного стекла, ракушки. Наберет полные карманы, а потом разглядывает, высунув язычок. Сидит себе тихонечко, смотрит на стекляшки и пыхтит. Ему нравится. Зеленые откладывает к зеленым, а красные — к красным. А однажды он стоял по щиколотку в воде и смотрел вдаль, и сердце мое защемило, и я подумала, что сильно к нему привязалась, что уже сильно люблю его. Может быть, еще не люблю, я просто так подумала.

Маша, я так счастлива. Как хорошо, что его подкинули под мою дверь. Я усматриваю в этом не меньше чем Божий промысел, значит, судьба. Я с нетерпением жду развязки этой истории. Я думаю, что не случайно мы встретились с ним, и я еще не знаю, зачем судьба послала мне

этого человека, но я надеюсь, что не напрасно, что с самыми лучшими намерениями. Я так хочу быть счастливой. Я ведь никогда не была счастлива по-настоящему, а мне кажется, что он именно из тех людей, которые много в своей жизни пережили и поэтому могут и умеют сделать другого человека счастливым. Целую тебя, Маша. Пиши. Как твоя мама? Передавай всем привет. Я вас всех помню и люблю. Твоя Ольга».

На самом деле у Ольги были все основания надеяться на лучшее. Скоро настало лето. Мальчик большую часть времени проводил на пляже. Он очень окреп физически, загорел, стал веселым и сильным. Ее очень радовало, что за эти летние месяцы, за прошедшие полгода он не завел ни одного романа, хотя возможностей для этого было сколько угодно. В июне понаехало столько красивых женщин. Мальчик не обращал на них внимания. В полдень, когда было очень жарко, он поднимался вверх по лестнице в свою комнату, падал на кровать и читал. Вообще он стал светлее и лучше, воздушней. Его душа становилась все легче, и она не могла это не почувствовать. Вечером он спускался вниз в столовую, и они ужинали вдвоем.

Наконец наступила осень, время штормов. С деревьев опали листья, курортники разъехались. Задули очень крепкие и холодные ветра. Стекла в ее доме дрожали с ночи до утра. Ветер поднимал в воздух серую землю с виноградных полей, и каждое утро на подоконнике лежала пыль. Крупницы земли пробирались сквозь стекла. Однажды был особенно сильный шторм, и на берег выбросило рыболовецкое судно. Оля и ее воспитанник ходили вдвоем смотреть корабль. Событие еще оттого привлекло внимание горожан, что двое моряков без вести пропали.

В этот вечер они вернулись домой очень поздно. Ольга накрыла на стол. У мальчика совсем не было аппетита.

Он съел полпомидора, ложку салата и один кусочек жареной рыбы.

— Почему ты не ешь? — спросила Ольга и прикоснулась указательным пальцем к рисунку на скатерти, к оранжевому лепестку.

— Вот они погибли, а мы остались живы, — сказал Женя. — Может быть, они эту рыбу и поймали когда-то, а теперь мы ее едим.

— Потому что они были в море. И был шторм. Поэтому они погибли, а не потому, что мы едим эту рыбу. Не размазывай по тарелке, ешь.

— А почему они были в море?

— Потому что они моряки.

— А почему они моряки?

— Потому что они с детства мечтали стать моряками.

— Почему они с детства мечтали стать моряками?

— Я не знаю. Какой же ты почему-то, все у тебя — почему да почему.

— А почему вы не знаете?

— Не знаю, почему не знаю.

— А сколько вам лет, Оленька, вы знаете?

— Тридцать четыре.

— А почему вы такая молодая, красивая и не замужем?

— Я была замужем, я развелась.

— Но почему вы опять не вышли замуж?

— Вышла. И опять развелась.

— А еще почему не вышли замуж?

— Не знаю, — сказала Ольга и покраснела из-за того, что он как бы разоблачил ее невежество, — я устала от твоих расспросов и вопросов... Потому что мне не везет в любви.

— Почему вам не везет в любви?

— Потому что стоит мне полюбить мужчину, как его тотчас ветром сдувает. Только я его люблю всем своим

сердцем, как небо затягивает облаками, поднимается очень сильный ветер, такой сильный, как вчера, когда был шторм. И смотришь — только он был рядом, оглядываешься по сторонам — его нигде нет.

— Забавно. У вас что, всегда были такие легкие, такие маленькие мужчины? — спросил мальчик.

— О нет, они все были настоящие, большие, очень тяжелые мужчины.

— И вы одна каждый день и ночью тоже в таком большом доме на краю света. Неужели вам не страшно? А что если кто-нибудь войдет в дом? Если он будет не один? Они влезут ночью в окно. Разобьют стекло и влезут! Даже если вы закричите, вас никто не услышит.

— Мне не страшно.

— А почему вам не страшно?

— Как ты мне надоел со своими расспросами, — она взяла его руку в свою.

— Ну почему?

— Почему, почему. Потому что у меня есть ружье, и оно заряжено.

— У вас есть ружье? Я не видел, покажите, я никогда не держал в руках ружье. Дайте посмотреть, одним глазком, чуть-чуть.

— Как-нибудь дам, когда-нибудь покажу. Его мне отец подарил. Он был егерем, пока не умер.

— Я не когда-нибудь, я сейчас хочу.

— Нет.

— Хочу.

— Упрямый, капризный, нехороший.

— Хочу.

— Ну ладно, так уж и быть.

Она вышла на минутку и вернулась с тяжелым пятизарядным карабином в руках. Оля положила винтовку рядом с кофейным прибором. Великовозрастный малыш

с вождением рассматривал оружие. Один ствол нарезной, другой гладкий, цевье и приклад — с инкрустацией. Он с восхищением взял карабин в руки, прицелился в стоящую на этажерке хрустальную вазу, отнял карабин от плеча и попросил подробнее рассказать, как из него целиться, как стреляют, перезаряжают, как смазывают, и прочее, и прочее.

Когда урок был закончен, мальчик сказал:

— Это хорошо, мне очень нравится. Выстрелить хотя бы один разок.

— Ну, вот когда перестанешь писать под себя, когда вырастешь, когда перестанешь задавать глупые вопросы. Когда ты, наконец, повзрослеешь настолько, что научишься ценить женщин не только за то, что они добры к тебе, но и за то, что они красивы. Вот когда ты станешь настоящим мужчиной.

— Если бы вы только знали, как мне хочется выстрелить из ружья и как мне не хочется быть взрослым. Как мне не хочется быть кому-то обязанным, быть серьезным, много думать на разные темы, хмурить брови, чекать затылок и отвечать за свои собственные поступки. Мучаться своей неправотой и страдать от чужих заблуждений. Не хочется. И любить тоже не хочется.

— Ого? Все хотят, а ты не хочешь?

— И я понимаю, на что вы намекаете. Любить — это тоже ужасно. Быть вместе ужасно, привязываться ужасно. Чтобы потом, однажды, все это потерять. Не надо. Я хочу пальнуть разок-другой из винтовки, но я не хочу быть взрослым. Я не хочу никого любить. Я больше не хочу никакой ответственности за чужие души. Я хочу прожить всю оставшуюся мне жизнь абсолютным оболтусом. Я хочу быть, я мечтаю стать олухом царя небесного. Есть, пить, спать, читать, и никакой дружбы, привязанности или любви к человеку. Я знаю, я впал в детство.

Но я так хочу. Я до конца своих дней останусь инфантильным ублюдком, но я не позволю себе хоть немножечко поумнеть. Даже под пытками. Я больше не попаду в ловушку. Потому что наш мозг — это ловушка, наш ум — ловушка, наш интеллект — капкан, наши инстинкты — это удавки. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите: «Когда ты повзрослеешь». Вы — женщина. Я понимаю, какой смысл вы вкладываете в эти слова. Нет и еще раз нет. Я не повзрослею.

— Мне кажется, что мы с тобой похожи тем, что очень разочарованы в жизни.

— Вы очень, очень красивая женщина. На вас не наглядись, не насмотришься. Но вы никогда не задумывались о том, почему вы так хороши собой? Красота никого не делала счастливым, она никого не спасала, она не спасет мир. Красота — это часть страшного, дьявольского замысла. Она необходима, чтобы ввести в заблуждение жертву. Очень трудно остаться равнодушным к вашей красоте, но я не хочу, я не хочу быть жертвой, и висеть вниз головой, и чувствовать, как кровь уходит из меня по капле. Образно говоря.

— У нас с тобой сегодня очень мрачное настроение, у обоих.

— Небо серое, штормит. От погоды такое настроение. Погода сегодня — дрянь.

— Хорошо, когда-нибудь постреляем из ружья без всяких предварительных условий с моей стороны.

— Обещайте мне.

— Обещаю. Поедем за город на дикий пляж и постреляем.

— Когда?

— Когда-нибудь.

— Я буду ждать, — сказал мальчик, и положил голову на стол, и закрыл на минутку глаза. И заснул...

12. Вспомни хорошее

Она зачехлила ружье, заставила Евгения одеться потеплее — с утра пошел последний весенний снег, забила походную сумку шестью обоймами с патронами, бутылкой вина, бутербродами. Оделась и прокричала что есть силы: «Идем! Эй, где ты?..»

А он не слышал, он стоял у окна и смотрел, как огромные пушистые хлопья снега падают на алые бутоны. Недавно была сильная оттепель, тюльпаны зацвели. И вдруг похолодало. Это было очень драматичное, но чудесное зрелище. Обманутые смертью новорожденные цветы дрожали от холода, их головы были в кровь разбиты тяжелыми свинцовыми хлопьями снега.

Старый маршрутный автобус отвез их далеко за город, на песчаный дикий пляж. Очень трудно было идти через дюны по песку, который проседал, проваливался под ногами. А ноги становились все тяжелее, наливаясь от усталости кровью. Мальчик просил делать привалы. Он ложился на живот и смотрел на бескрайний морской простор. Она поторапливала его.

— Ну вставай, еще немного. Дойдем до старого пирса, там отдохнем.

— А можно я понесу ружье?

— Нет, ты и без ружья еле-еле душа в теле...

Он шел чуть сзади не потому, что очень устал, он любовался ею. Она была в пятнистой куртке и тугих, плотно облегающих брюках. В каждом ее движении чувствовалась необыкновенная физическая сила и тренированность. Она шла легко, как по асфальту, как будто песок под ее ногами не оседал, не проваливался, не осыпался... Ее лицо покраснело на холодном ветру, а волосы развевались, как знамя. Во всем ее облике чувствовались скорая неизбежная победа, явное превосходство над вра-

гом, которого он нес за дужку в правой руке. Это было старое ржавое ведро, приготовленное вместо мишени.

Скоро они оказались на месте и разбили бивуаки: поставили рядом два старых топчана, а третий топчан поставили у самой воды. На него поставили ведро, наполненное песком. Мальчик с удовольствием работал, хлопотал и беспрекословно выполнял любые ее приказания и капризы. Она несколько раз похвалила его за рвение и однажды даже ущипнула за щеку. Он все время улыбался и однажды закричал: «Смотри, смотри», — и показал рукой в сторону Малой бухты, где из-за горизонта вышел большой белый пароход. Она кивнула, отпила из термоса горячего чая и показала в другую сторону. Там, позади, на краю песчаной степи, мчался поезд. Совсем недалеко от них.

— Красиво здесь, — сказал мальчик.

— Ложись рядом со мной. Начнем. Сначала стреляю я, потом — ты.

Они легли. Она расчехлила винтовку, собрала ее, зарядила и прилегла на топчан. Повернулась сначала на один бок, потом на другой, легла на живот и пошире раздвинула ноги, положила под локоть вязаную шапочку, догнала патрон в патронник, прицелилась.

— Очень сильно отдает в плечо? — спросил Женя.

— Отдает немного, но это не страшно.

— А как целиться?

— Вот так, через прорезь, чтобы мушка и прицел были на одном уровне. — Она показала.

— А если заложит уши?

— Что ты так беспокоишься за свои уши?

— Ну а если заложит?

— Тогда сглотнешь.

— У меня такое ощущение, что я когда-то уже был здесь. Я пирс где-то уже видел. — Он показал рукой в сто-

рону старого пирса, рядом с которым стояла деревянная башня.

— Ладно, начнем.

— Начнем.

Она сняла с предохранителя, тщательно прицелилась и выстрелила. Из ведра тонкой стружкой посыпался песок.

— Здорово, — сказал мальчик с восторгом. — Но мне все-таки кажется, я когда-то видел вот эту спасательную станцию и железную душевую. Вон ту будочку, домик у причала. Только цвет был другой.

Оля сделала еще четыре выстрела, и все — точно в цель. Затем еще раз на всякий случай объяснила ему, как заряжать, как разбирать, собирать ружье, как смазывать, как целиться, как спускать курок. И, наконец, отдала ему винтовку.

— Главное — не торопись, прицелься, задержи дыхание, расслабься.

— Я не смогу расслабиться, я волнуюсь.

— Это очень важно, чтобы все мышцы были расслаблены. Не волнуйся, наоборот, подумай о чем-нибудь приятном, вспомни что-нибудь хорошее из своей жизни, это поможет... и плавно спускай курок. Выстрел должен прозвучать неожиданно.

Он попал в цель только с шестого раза.

— Все хорошо, — сказала она перед новой серией, — но ты заваливаешь слегка вправо.

— Почему?

— Не знаю.

— Я знаю.

— Ну почему?

— Потому что, — сказал он и поцеловал ее в щеку, поцеловал робко, неумело.

Хотел поцеловать в губы, а попал в щеку. Промазал. Она, чтобы исправить его промах, еще раз подставила

губы, и он еще раз поцеловал ее. Опять промазал. На этот раз попал в подбородок.

— Я же говорю, ты заваливаешь вправо, бери чуть выше, — голосом с дрожью сказала она.

С третьей попытки он попал в уголок ее рта и закрыл от удовольствия глаза. Его душу стало обволакивать приятное тепло. Как будто в его животе кто-то разжег костер. Голова закружилась.

Он подумал о приятном и... о боже, он все вспомнил. Вспомнил, когда и при каких обстоятельствах он был здесь, на этом пляже.

Вспомнил, при каких обстоятельствах в его память врезалась эта спасательная станция с железной душевой...

Это было много-много лет назад, десять лет тому назад, когда Полечке было всего-то три годика. Они отдыхали на этом пляже втроем — Андрей Ильич, Наташа и Полина. В одно мгновение он вспомнил все до мельчайших подробностей. Они отдыхали здесь всего один день, их привез сюда на машине их приятель. Это был прекрасный, солнечный день. Андрей Ильич восседал, как царь, на своем брезентовом троне, стоявшем на отмели, в воде. Возбужденное море облизывало его мускулистые икры. Он сидел в полудреме и наслаждался жизнью. В воздухе носились белые, истошно кричащие тени чаек и хлопья пены. Пахло йодом, ежевикой, плавниками допотопных рыб, живших здесь когда-то, около двух миллионов лет тому назад. На пляже было многолюдно.

Солнце, сорвавшись с высокого обрыва, совершало над головами homo-sapiens'ов свой плавный замедленный прыжок в воду. Пролетев небо по диагонали, оно наполовину погрузило свой рыжий торс в бушующие волны. За линию горизонта по синей воздушной пустыне медленно и степенно уходил караван иссиня-белых, ис-

крящихся, высеченных из полупрозрачного льда фантастических животных. Легко и приятно было разгадывать их облачные формы. Вот он — дракон, а это — лошадь.

Поленька, не стесняясь своей наготы, бегала по береговой отмели, по рыжему, как парик клоуна, раскаленному песку за таким же юным, как и она сама, белобрысым крабом. Краба ей подарил один добродушный и толстый мальчик. Он каждое утро приходил сюда со стеклянной банкой в руке, чтобы приобрести у моря некоторые дары в обмен на резь в глазах, икоту и переохлаждение. Через несколько часов он уходил в глубь материка, вибрируя всем телом, точь-в-точь как электрический массажер, которым Наташа каждый вечер взбивала свои икры и предплечья. В общем, хороший мальчик. Может быть, только чересчур добродушный. Как-то разыгравшиеся дети, злоупотребляя его добродушием, запустили ему в плавки медузу, полупрозрачную, в белом платье с голубыми оборочками. Остаток дня толстячок провел в той самой железной кабинке около спасательной станции, в душевой, под водопадом из собственных слез. Глядя на этих жестоких и злых мальчиков, наблюдая издалека их небезобидные развлечения, Андрей Ильич чувствовал себя самым счастливым на свете человеком. Потому что он был отцом тихой, очень смышленной, очаровательной девочки. Особенно досаждали их вопли, их крики. Он мечтал только об одном: отыскать где-нибудь такое колесико, вращая которое против часовой стрелки, можно было бы немножечко уменьшить их громкость, а уж пределом мечтаний было выключить навсегда.

А вот и Наташенька вышла из волн, как юная Наяда. Брезентовое кресло под Андреем Ильичом заскрипело. «Какая все-таки у меня фантастическая женщина», — подумал он и махнул ей рукой. Наташа ответила, и вся мужская половина пляжа, как по команде, повернула свои го-

ловы направо. Она подошла к нему мокрая, холодная, как рыба, и он почувствовал, как в глубине его что-то перевернулось. Такое ощущение, как будто он попал в воздушную яму на своем брезентовом креслице-самолетике. В такую глубокую воздушную яму, так неожиданно, что ему пришлось набросить себе на бедра красное махровое полотенце.

И тут же подбежала маленькая Поленька. Она, как обезьянка, вскарабкалась ему на шею, поцеловала маму и нечаянно наступила своей маленькой ножкой на хорошо замаскированный под полотенцем продолговатый предмет. У него тут же от счастья и от боли потемнело в глазах. Облака, проплывающие над его головой, раскрылись, как белые, бумажные коробки, и вниз на землю полетели разноцветные конфетти. Ах, сколько счастья, сколько боли в одно мгновение. Какая великолепная, какая чудесная жизнь...

...Андрей Ильич вскочил на ноги, не выпуская ружье из рук, достал из сумки еще не использованный сегодня боезапас (в подсумке оставалось около сорока патронов) и побежал в сторону железной дороги. Он несколько раз падал, у него заплетались ноги, но он вставал и снова бежал. Кровь раскаленным красным молотом била ему в голову. Это были слова о мести. Ему захотелось впервые и по-настоящему отомстить за потерянное счастье. Он бежал туда, за дюны, где только что промчался поезд. Этот поезд, который уже ушел, конечно, не догнать, но, может быть, скоро пройдет еще один. Он закинул ружье за спину, и подвязал на брючный ремень подсумок с патронами, и сверху прикрыл его длинными лапами пальто. Скоро Иванов устал бежать по песку и перешел на шаг. Он шел не оглядываясь, он не слышал за своей спиной уговоры одуматься и вернуться. Поднялся очень сильный ветер, мимо его лица полетели чьи-то слезы. Он

поймал одну из них ладонью, а потом попробовал на вкус, сделал усилие над собой и обернулся. Ольга сидела на песке, она плакала.

Вскоре он вышел к семафору и пошел вдоль железной дороги. Спустя пару часов он вскочил на подножку товарного вагона. Поезд двигался на север. Это он определил ночью, по звездам. Иванов зарылся в солому и заснул. Всю ночь ему снился один и тот же сон. Будто он стоит на берегу реки и бросает в нее камни, а они не тонут, всплывают и скользят по течению.

13. Великое кровопускание

Это оказалось не таким простым делом — убить человека, даже если он не человек, а животное, зверь в человеческом облике. Еще более непростым делом было отыскать в толпе такого зверя, отличить хищника от человека разумного по каким-то еле уловимым признакам. Но скоро Андрей Ильич блистательно научился и этому, а не только метко стрелять.

Зима, как белая цирковая лошадь, бегала по кругу; однажды ночью, после уже которой по счету оттепели, опять выпал снег; в ту же ночь, когда он, уставший, измученный тяжелой дорогой, вернулся в Москву. Ровно две недели он путешествовал на товарных поездах, четыре раза пересаживался и однажды чуть было не уехал в Петрозаводск.

Первый выстрел был особенно памятным, особенно удачным. Андрей Ильич столкнулся с хищником совершенно случайно. Он не выслеживал его. Ночью он вышел, как всегда, пройтись, прогуляться с ружьем за пазухой и вдруг услышал крик. Это было недалеко от Крымского моста. Кричала женщина где-то совсем рядом. Андрей Ильич на ходу зарядил ружье, и то, что он

увидел, когда зашел за угол, чрезмерно его обрадовало: женщина звала на помощь, с большим трудом отбиваясь сумочкой от человека средних лет отвратительной наружности. Они катались по земле. Хищник схватил ее за ноги и медленно, но верно подбирался к ее шее, ее лицу. Потом он заткнул жертве рот ладонью, повалил ее на живот, задрал юбку, приспустил с себя штаны. Предчувствуя блаженство, замер на мгновение перед последним страшным рывком, но не тут-то было. Вдруг прозвучал выстрел, и у хищника не стало верхней трети черепной коробки. Как будто кто-то пошутил, как будто какой-то мальчишка пробежал мимо, сорвал шапку, а вместе с нею и верхнюю треть черепа. Зверь бездыханно упал на спину, женщина закричала. Она была вся в крови. С головы до ног. Она закричала, потому что по ошибке приняла чужую кровь за свою, а когда разобралась, тут же успокоилась и жалобно завывала.

Выстрел был прекрасный. Да и промахнуться было мудрено: Андрей Ильич стрелял с шагов четырех-пяти. Он сделал все так, как его учили.

Когда палец стал медленно-медленно давить на курок, он «вспомнил о чем-то хорошем», о том, как много лет тому назад провожал Наташу домой, как она не хотела, чтобы он ее провожал, но все-таки согласилась. Идти было недалеко, совсем недалеко, они разговорились, и оказалось, что вдвоем так интересно, как не было интересно раньше никогда и ни с кем. Они так разговорились, что пришли к ее порогу только засветло. И оба они были совершенно растеряны от того, что с ними произошло, и всю неделю потом, встречаясь на лекциях в университетских аудиториях, стеснялись смотреть в глаза друг другу. Когда прошло много лет, они так и не смогли вспомнить, о чем же они так много говорили этой чудесной августовской ночью, небо которой было в алмазах.

Он спрятал ружье под пальто — хорошо, что пальто было длинное, почти до земли — и подошел к женщине, чью честь только что спас от неминуемой гибели.

— Вам еще повезло, — сказал он.

— Ого, ничего себе повезло.

— Вы хотите сказать, что было бы лучше, если бы меня не оказалось рядом?

— Нет, я хочу сказать, что жалко платье, оно новенькое.

— А вот это вам не жалко? — Андрей Ильич ударил носком ботинка зверя в плечо.

— Не жалко.

— И мне тоже не жалко.

Он сказал и пошел прочь. А через два дня на стене дома на Мытной улице увидел свою фотографию, и под ней несколько слов о себе и о том, что он находится в розыске по подозрению в убийстве.

С тех пор Андрей Ильич стал жить в подвалах и на чердаках. Ночевал где придется. Ел как попало и неделями и месяцами не мылся. Но это нисколько не отражалось на его глазомере, поэтому второй выстрел был тоже очень хорош. Однажды профессор зашел в подъезд согреться и услышал, что по лестнице вниз сбегают несколько человек. Андрей Ильич спрятался под лестничным пролетом. Четверо молодых людей, как ураган, пронесли мимо. Они выбежали на улицу. Трое повалили одного на снег и стали жестоко его избивать. Они били его ногами. И можно было только подивиться, как зверски, как жестоко били. Били ногами по голове, как будто это была не голова, а футбольный мяч. Причем старались попасть по лицу. И создавалось иногда такое впечатление, что она вот-вот оторвется и покатится. Другой бы на месте Андрея Ильича удивился и задал бы такой вопрос: «Откуда в этих симпатичных молодых людях

столько жестокости, столько низкой страсти, такая страшная ожесточенность? Они выбьют ему глаза, они сломают ему шею, они покалечат его, они сделают его инвалидом на всю оставшуюся жизнь, если, конечно, не убьют. Почему они так страшно и грязно ругаются, и почему слюни летят у них изо рта? Почему им нравится рвать на куски свою жертву?» Любой другой человек задал бы себе эти вопросы. Но только не Иванов. Потому что он знал, в чем дело, ему была известна причина.

Оргия не могла продолжаться очень долго. Юноши опьянели от запаха крови. Андрей Ильич незамедлительно вмешался. Он подошел открыто, не скрывая своих намерений. Они не обратили на него никакого внимания и продолжали экзекуцию. Тогда Андрей Ильич достал ружье, как следует прицелился. И так же честно и открыто, не скрывая своих намерений, затаил дыхание и подумал о чем-то хорошем. На этот раз он вспомнил, как однажды поспорил со своей студенткой на поцелуй и как на глазах огромной аудитории ему пришлось поцеловать девушку под гром аплодисментов. Ни в одном театре не могли мечтать о таком успехе. Как только воспоминание закончилось, хлопнушка хлопнула. И от этого сюрприза в груди у одного из зверей образовалась дыра. Только тогда, когда она образовалась, только тогда, когда оттуда хлынула кровь, мальчики опомнились, они протрезвели. А когда протрезвели, тут же бросились бежать кто куда. Вслед, вдогонку им прозвучали еще два выстрела. Дважды Андрей Ильич затаил дыхание и дважды предался воспоминаниям: о том, как маленькая Поленька гонялась вместе с соседской собакой за голубями во дворе, а второй раз он вспомнил свое первое впечатление после прочтения романа «Дворянское гнездо» в десятилетнем возрасте. Папа не хотел, чтобы Андрюша читал эту книгу, папа считал, что ему еще рано, что он не дорос, что он не

поймет, но мама настояла, чтобы прочел. Он тогда мало что понял, но роман произвел на десятилетнего Андриюшу сильнейшее впечатление.

Воспоминание было отменное, прекрасного качества, но почему-то на этот раз он промазал. То есть всего дважды попал и один раз промахнулся. Промахнулся и засто-
нал от досады.

Впоследствии он не позволял себе стрелять навскидку. Патронов оставалось мало. Он стрелял только наверняка. В свободное время он вел дневник и занимался научными изысканиями. Вот что он записал в своем блокноте: «Встретил живодеров на улице, как дураки, бегают за бездомной шавкой с проволокой в руках и хотят ее поймать. А она им не дается. А я подошел и сказал им, что они не тех собак ловят. Они мне что-то стали говорить про бешенство. А я им говорю: «Не тех, господа, собак ловите». И смеюсь, а они сделали серьезные лица и стали на меня кричать. Как-то иду по улице и вижу в витрине магазина действующий телевизор. Подхожу, смотрю — драка в парламенте. Кусают друг друга, бьют, лают. Вот куда надо живодеров с проволокой запустить. Конечно, из депутата шапку не сошьешь, но если он собака бешеная, его надо посадить в клетку. На цепь».

Как-то совершенно случайно он зашел в кинотеатр, где демонстрировался какой-то безобидный, но кровавый голливудский кошмар. Кровь лилась с экрана рекой. И эта река разлилась и затопила зрительный зал. Так, что видны были одни только головы публики. Андрей Ильич в этот же день позвонил директору кинотеатра и потребовал прекратить демонстрацию второсортного фильма. Он сказал, что картина дурная и бездарная, что такие зрелища подобны римскому цирку, что они только разжигают в людях низменные инстинкты и что подобные римские зрелища не достойны человека. Директор посмеялся

и бросил трубку. Андрей Ильич звонил еще несколько раз, пытаясь навязать дискуссию. Но над ним по-прежнему смеялись. Он стал угрожать, ему не поверили. Тогда он зашел к директору в кабинет и выстрелил. И это подействовало на руководство отрезвляюще. Руководство захотело было позвонить и отменить сеанс. Но было поздно. Руководство откинуло копыта. И руководства в результате не стало. Андрей Ильич оставил на столе записку: «Показали бы лучше какой-нибудь старый и добрый фильм».

Оставил записку и ушел. «На самом деле, сколько можно разговаривать, рассуждать на темы морали. Они как будто слушают нас, спорят с нами, а сами потихонечку набивают карманы деньгами и смеются, — думал он, — хватит, достаточно слов, ишь расшалились, кто-то должен их остановить».

И когда Андрей Ильич спустил курок, он опять затаил дыхание и опять подумал о приятном. На этот раз он вспомнил, как хорошо в жаркий день напиток холодной ключевой воды из ручья, напиток до ломоты в зубах. А потом сбежать по подошве поросшего молодым лесом холма вниз к реке и броситься в ее шумный и широкий поток.

14. Сердце не лопнуло

Минуло два месяца каждодневных занятий теорией и стрельбы наповал. Иванов не очень сильно страдал от бытовых неудобств, он привык есть что попало, спать где попало, мерзнуть и умываться холодной водой или снегом. Однажды ему повезло. Он свалил крупного зверя, в бумажнике у которого оказалась приличная сумма. Это было в конце января, и уже в начале февраля он зажил на широкую ногу: снял квартиру в центре города, приделся

и стал хорошо питаться. Первые три дня он спал, вторые три дня отмокал в горячей ванне, а третьи четыре дня ел с большим аппетитом. Андрей Ильич даже разленился и поймал себя на мысли о том, что ему не хочется выходить ночью из дома.

Конечно, он никогда бы и не подумал, что может взять чужие деньги. Но на этот раз он был уверен в том, что эти деньги нажиты не праведно, во-вторых, он оправдал себя тем, что ему необходимы большие деньги для того, чтобы привести свои мысли и рукописи в порядок и написать монографию, посвященную собственной параноидальной страсти к установлению баланса между «волками и овцами».

Однажды в полдень он, презирая опасность, прогуливался по бульварам и заметил очень любопытную особь. Существо, отдаленно напоминающее человека, было одето очень прилично, по последней моде. И запах от него шел такой, как от вегетарианца, питающегося... нет, нет, даже не фруктами, а лепестками роз. Но выражение лица сразу же насторожило Андрея Ильича. Инстинкт подсказывал ему, что это матерый мясоед. Несмотря на то, что от него пахло лавандой, несмотря на то, что он был очень гладко выбрит, чист, холен, аккуратен и очень обходителен с девушкой, что держала самца под руку.

Андрей Ильич несколько часов ходил за ним по центру города, пока тот не сел в свой автомобиль и не уехал. Неделю после этого Иванова не оставляло чувство, будто он совершил ошибку, надо было стрелять не раздумывая, подчиняясь совсем не здравому смыслу, а своему инстинкту, высшему чувству, божественной интуиции. Он был очень раздосадован, несколько дней подряд приходил в это место и слонялся в поисках незнакомца по улицам. Но так и не встретил его. Лишь однажды мимо проехал автомобиль, такой же дорогой автомобиль, редкой

марки. У Андрея Ильича даже сдавило грудь от волнения, но автомобиль не остановился, к несчастью, проехал мимо на огромной скорости.

Андрей Ильич был очень расстроен, но стал забывать об этой замечательной особи, как вдруг столкнулся с ним еще раз нос к носу поздней ночью. Мастоdont вышел из ресторана и пошел пешком навстречу своей смерти.

Профессор среагировал моментально, он выстрелил. Он так быстро выстрелил, что не успел подумать ни о чем хорошем. И только когда зверь упал, вспомнил, где и когда впервые увидел эту милую морду, этот симпатичный оскал. Увы, это было не очень приятное воспоминание. Он видел эту морду год или два тому назад, когда смотрел телевизор. Это был не очень крупный, но достаточно видный политический деятель. Председатель одной из фракций в Государственной Думе. Очень агрессивный и очень правый. Теперь он лежал вниз лицом на заснеженном асфальте, и его тело сотрясали предсмертные судороги.

Андрей Ильич побежал прочь. Обернулся на всякий случай. Просто так, из любопытства. И обнаружил, к своему великому удивлению, что за ним гонятся два молодых, коротко стриженных, крепко сбитых парня. Такого раньше не случалось, это была большая неприятность. Они выскочили из того самого автомобиля, который он по своей рассеянности и не заметил, из того самого красивого автомобиля, на котором господин N две недели тому назад уехал со своей самочкой. Они были еще далеко, но расстояние неумолимо сокращалось.

После пяти минут бешеной гонки оно стало сокращаться значительно быстрее, потому что Андрей Ильич выбился из сил. Он бежал и думал: «Дыхание у меня на самом деле ни к черту, опять колет и щекочет в груди, и горло огнем горит. Если не убьют сегодня, если выжи-

ву, буду каждый день по утрам бегать, независимо от того — сытый, голодный, выспался или нет».

Иванов забежал за угол дома, а потом нырнул тихонечко в подъезд. Повезло. Лифт стоял наготове на первом этаже, он как будто знал о том, что за Андреем Ильичом гонятся, и сочувствовал — железная дверца была приоткрыта. Иванов вошел, закрыл дверь и нажал на кнопку. Кабинка поехала вверх. На последнем этаже она остановилась. Тихонечко ступая на носочках, он вышел на лестничную клетку. Здесь было очень темно. Он разглядел лестницу, которая вела наверх, на чердак, и одновременно с этим услышал шаги преследователей внизу, их голоса.

— Ты уверен, что он зашел в подъезд?

— Да, я видел.

— Тогда стой здесь на выходе, а я поднимусь наверх. Нет, иди со мной, я — впереди, а ты — чуть сзади. Вызови лифт и открой дверь.

Учащенно билось сердце. Оно так громко стучало о грудную клетку, что Иванову казалось — они там внизу услышат. Андрей Ильич застегнул пальто на все пуговицы, потихонечку пошел вверх по лестнице, ведущей на чердак, и оказался перед запертой дверью.

«Ничего, ничего, — успокоил себя Андрей Ильич. — В крайнем случае, буду стрелять». Он быстренько проверил ружье. Оно было не заряжено. А карманы, где он обычно носил патроны, были совершенно пусты. Все шесть. Четыре кармана на пальто и два на брюках. Теплохранители убитого зверя медленно, но верно поднимались все выше и выше. Деваться было некуда. Тогда Андрей Ильич стал звонить в двери на лестничной площадке в надежде, что ему откроют. Он звонил поочередно — сначала в одну, потом в другую. Но никто не открывал.

Делать было нечего, Андрей Ильич сдался: он сел на холодный пол около одной из этих самых дверей и стал ждать, когда сорвавшиеся с цепи собаки доберутся до последнего этажа. Он сидел и смотрел перед собой остановившимся взглядом. Руки его были в карманах, ему захотелось перед смертью согреть их. Он вспоминал свою такую странную, сначала такую счастливую, а затем такую несчастную жизнь. Но его правая ладонь была против капитуляции. Именно она нащупала, отыскала какой-то странный металлический предмет в правом кармане. Это был ключ от квартиры. Иванов рассмотрел его внимательно. От той самой квартиры на Малой Грузинской, в которой он когда-то был по-настоящему счастлив. Инстинкт самосохранения сработал моментально. Один его знакомый рассказывал, что одним ключом открывал пять дверей в разных домах. А вдруг произойдет такое же счастливое совпадение, а вдруг этим самым ключом получится открыть одну из двух дверей?

Андрей Ильич нащупал указательным пальцем замок, вставил в него свой ключ. Ключ вошел в скважину легко, как нож в масло. Он попробовал повернуть его вправо, но из этой попытки ничего не получилось. По спине пробежал озноб. Он обернулся и увидел в расщелине между двумя проемами багровое лицо одного из хищников. Андрей Ильич бросился к другой двери, вставил ключ, тихонечко повернул влево. О чудо, замок хрустнул и втянул в себя язычок! Андрей Ильич надавил на дверь плечом, на четвереньках заполз в чужую квартиру и так же тихо закрыл сначала за собой дверь, а потом и замок на ощупь на два оборота. Сердце колотилось, как сумасшедшее. На всякий случай, чтобы оно не лопнуло, он пробрался ладонью сквозь свитер и рубашку и, поглаживая нежно то место, где оно трепетало, стал говорить своему сердцу

хорошие слова. В прихожей было темно, хоть глаз выколи. Он сидел на полу и шептал: «А ну-ка успокойся, самое страшное позади, все будет хорошо. Тише, тише. Ах ты, мое драгоценное. Тише. Тише. Реже. Еще реже. Ты успокойсь или нет? Некрасиво себя так вести. Что за истерика? Спокойно, ритмично, семьдесят два удара в минуту, не чаще. Мое хорошее, я тебя люблю, успокойся. У меня только ты и осталось. В целом мире только ты и я. Не хватало мне еще и тебя потерять. Вот увидишь, все будет хорошо». Он где-то слышал: если сердце болит, надо разговаривать с ним, как с живым. Чтобы оно не паниковало, чтобы успокоилось.

Он говорил сердцу, а сердце отвечало ему. Они беседовали. Сердце говорило, задыхаясь, с присвистом и легким стенокардическим шумом. В действительности это были не сердечные шумы, это шумела вода. Иванов понял, что он в квартире не один, что кто-то моется в ванной: славный высокий женский голосок стал напевать мелодию из «Кармен-сюиты». «Вот почему мне не открывали дверь, хозяйка в ванной. Представляю, как она обрадуется, когда увидит в своей квартире незнакомого человека. Она закричит, и ее сердце станет так же учащенно биться, как и мое. О господи, а если она еще увидит и ружье!»

Андрей Ильич спрятал ружье под трельяж, захотел встать на ноги и предпринять что-нибудь для того, чтобы знакомство было не таким страшным, чтобы насмерть не перепугать хозяйку. Но раздался звонок в дверь, который тут же мгновенно парализовал его волю. Он опять свалился на колени. Сомнений не было. Это звонили они. Звонок означал, что марафон выживания еще не закончился. Разумеется, они так просто не уйдут. И, как назло, женщина отключила воду, и стало тихо. И опять позвонили в дверь. На этот раз звонили сильно, агрессивно и настойчиво. Наконец она услышала. И запричитала:

«Иду, иду, минуточку». Андрей Ильич почувствовал такую невероятную апатию, ему все стало безразлично. Испугается она его или не испугается. Откроет дверь или не откроет. Его убьют сегодня или оставят в живых. Это все ему было уже безразлично.

Вспыхнул свет в прихожей. Она предстала перед его потухшим взором в китайском ярком халате с полотенцем на голове. Это все было ничего. Она не закричала. Следующий стресс имел для Иванова совершенно иное происхождение. Она не закричала. Вот что странно. Более того, она обратилась к нему по имени.

— Андрюша, — сказала она, — почему ты сидишь на полу, ты что, не слышишь: в дверь звонят, тебе что, лень открыть? Почему ты сидишь на полу, а ну-ка, вставай. Что случилось? Ты плохо себя чувствуешь? Где ты так вымазался?

Андрея Ильича осенило. Он узнал ее. Это была его родная жена, Наташа, по девичьей фамилии Сомова. Такая же, как прежде, розовощекая, полненькая, и брови вразлет. Более того, он узнал прихожую своей собственной квартиры. Той самой, в Грузинах. Вот оно, зеркало, бордовые стены, высокие потолки и маленький столик с инкрустацией.

— Ты вернулась? — прошептал он.

— Я сегодня весь день дома, я никуда не уходила.

— Тише, пожалуйста, говори, я не это имею в виду.

— А что?

— Ты ушла от меня, ты передумала, да?

— Драгоценный, единственный, ты заговариваешься, куда же я от тебя уйду? И почему я должна говорить шепотом?

Вести дальнейшее расследование обстоятельств было некогда. В дверь еще и еще раз позвонили. Очень долго, очень страшно, очень настойчиво.

— Встань, — сказала Наташа, — я открою, встань, я не могу открыть дверь, ишь разлежся.

— Умоляю тебя, не открывай, за мной гонятся. Это за мной. Умоляю тебя, тише. Нас услышат. Они убьют меня. Не подходи, не открывай.

Как назло, они позвонили еще разочек.

— Я больше не могу, мне это действует на нервы, — сказала Наташа, отодвинула рукой Андрея Ильича и открыла наконец дверь.

В прихожую вошла девочка лет двенадцати-тринадцати с нотной тетрадью под мышкой. Она была в яркой, почти фосфоресцирующей курточке, платьице и высоких гольфах. У нее тоже были брови вразлет, а нос такой же вздернутый, как у Андрея Ильича. Он узнал ее, это была его дочь, это была Поленька.

— Па, привет, — сказала она. — Что это ты здесь на полу валяешься? Вставай, ну вставай, или мне через тебя перепрыгнуть, что ли?

— Девочка моя, доченька, тебя нашли? Какое счастье, — тонким, срывающимся от великого счастья голосом произнес Андрей Ильич.

— А меня и не теряли, — сказала Поленька. — А ты почему лежишь на полу?

— Сердце прихватило, доченька, сейчас пройдет.

— Давай я тебе помогу встать, — сказала Полина.

— Ой, не надо, я сам, — сказал Андрей Ильич. — Я себя уже хорошо чувствую.

— Он тяжелый, мы его вдвоем не поднимем, — сказала Наташа.

— Я сам, сам.

Он встал на ноги, открыл еще раз дверь и выглянул на лестничную площадку. Там никого не было.

— Ну что, гонятся? — спросила Наташа.

— Ушли, — сказал он, — надо ружье спрятать.

— Какое ружье?

— Вот это. — Он достал ружье и вручил его жене.

— Да это совсем не ружье.

— А что это?

— Мася, Манюня, это обыкновенная палка, какое же это ружье? Ты что, свихнулся?

Андрей Ильич надел очки и внимательно рассмотрел загадочный предмет, из которого он стрелял в животы и головы. Это на самом деле была плохо обструганная палка.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Что ты не можешь понять? Ты позвонил мне из библиотеки и сказал, что будешь через четверть часа. Я накрыла на стол, а тебя все нет и нет. Час нет, два нет. И вот, наконец, явился.

— Я только что видел, — сказал Андрей Ильич, — как за нашей дочерью гнались два здоровых молодых человека.

— Привет, па, такого и быть не может, я сегодня на улицу не выходила.

— Она приболела, у нее красное горло, я сегодня ее не пустила ни гулять, ни в школу. Она была у Татьяны на втором этаже. Учила ее играть на пианино.

— Так она же сама толком никак не научится.

— У них такие вот игры.

— На этой девочке, за которой гнались, было точь-в-точь такое же пальто, как мы с тобой купили нашей Полине. А я так перепугался, я подумал, что это она. Боже мой, как же я, Наташа, перепугался.

— Где твой портфель?

— Я его убил. И в землю закопал. За гаражами.

— Ты точно не в себе. Как это убил портфель? Ну-ка, рассказывай все по порядку.

— Я тебе как-нибудь потом расскажу, я его обязательно найду... У меня такое чувство, будто я вас тысячу лет не видел. Я соскучился, — сказал Андрей Ильич, обнял жену, крепко-накрепко расцеловал ее, расцеловал дочь, покачал ее на руках, сбросил с себя пальто, ботинки, вошел в гостиную, взял стул, поставил рядом с пианино и стал играть собачий вальс.

Он бил пальцами по клавишам и смеялся, он заливался смехом, подмигивал, морщил нос, строил веселые рожицы. Потом он переоделся, принял ванну. Потом все вместе поужинали. Когда Полина легла спать, Андрей Ильич вошел в детскую, сел на краешек ее кровати, взял ее руку в свою и долго, долго о чем-то с ней разговаривал. Он ей пожелал спокойной ночи, девочка повернулась на правый бок и закрыла глаза. Отец на ощупь вышел из темной комнаты в коридор.

И все встало на свои места, успокоилось, улеглось. Как будто ничего страшного и не случилось.

В этот день супруги Ивановы легли спать очень поздно, потому что они долго разговаривали. Полина сквозь сон слышала, как папа что-то рассказывал маме, а мама смеялась. Засыпая, Андрей Ильич вдруг почувствовал страшную, но очень счастливую усталость. Вместе с ним готов был уснуть этот огромный, и немножко безумный, и немножечко сводящий с ума город. Но Андрей Ильич забыл о его существовании и о всех людях, населяющих этот город, о страхах этих людей тоже забыл и в том числе о своих собственных. Сейчас в мире были только три человека, и они все были рядом. И это была самая важная новость дня. В этот день много чего случилось в мире, и об этом завтра напишут в газетах. Но они не сообщат главной новости ушедшего дня.

Он закрыл глаза и подумал, что тишина и покой — это самое дорогое, что есть в жизни. Пусть она пройдет

вот так тихо и спокойно. Пусть даже незаметно для других людей, пусть без славы, но главное, чтобы не было этих ужасных потрясений и разочарований. И он заснул сладко, как ребенок.

Но спал он недолго. Он проснулся среди ночи, открыл глаза.

«Так значит, я обознался, значит, это была не моя дочь, — подумал Андрей Ильич. — Но девочка в красном пальто была. И за ней на самом деле гнались. Кто эта девочка? А может быть, она есть тоже плод моей болезненной, до смерти перепуганной фантазии? Ну нет, я видел ее. Я сошел с ума, но только отчасти, я еще не совсем с ума сошел. Надо это проверить».

Андрей Ильич встал с постели, накинул халат и пошел звонить в отделение милиции. Дежурный подтвердил факт происшествия и факт пропажи ребенка и даже назвал фамилию девочки.

— Я видел, — сказал Андрей Ильич, — я свидетель, я сейчас же приду, если нужно.

Ему ответили, что это необходимо сделать сию минуту. Профессор оделся потеплее. На всякий случай он снова вошел в детскую, чтобы еще раз проверить, чтобы лишний раз убедиться. Полина спала. Он поцеловал дочку, спустился на лифте вниз, вышел на улицу и не узнал свой дворик. Дворик был белый-белый. Как будто его вымазали известкой. Выпал первый, самый первый снег. Первее первого. Андрей Ильич поднял воротник, пожегся и побежал сломя голову.

МОТЫЛЁК

военно-театральный роман



Глава первая

На краю дикого поля, там, где начинается вечная мерзлота, стоит военный гарнизон. Скоро придет суровая зима, и северная степь станет белой, как молоко. Ветер воет надсадно, как дикий зверь, врываясь в щели, рассыпаясь на тысячи голосов. Где-то гремит наполовину оторванный лист кровельной жести, звенит наковальня.

На плацу играет маленький военный оркестр: барабан, труба и кларнет. Один из музыкантов ужасно фальшивит. Но эти три человека вносят порядок в окружающую действительность. Это уже не сорвавшийся с цепи хаос. Жить в этом мире, где существует порядок, определяемый интервалами между музыкальными звуками, не так страшно.

Командир части полковник Андрей Исаевич Кинчин только что вернулся со стрельбища и никак не мог согреться. Он накинул на плечи шинель, подошел к окну. Кинчин любил смотреть на бесконечное суровое темное северное небо, любил наблюдать за тем, как в его сознании из ниоткуда, без малейшего усилия появляются мысли.

Он наблюдал за ними, как будто эти мысли не принадлежали ему самому. Даже тогда, когда они жестоко ранили его, он умел оставаться беспристрастным, спокойным.

Полковник никогда ни перед кем не исповедовался, кроме как перед самим собой, он не верил в Бога, никог-

да никому не открывал души: ни случайному попутчику, ни самому близкому другу Воскобойникову, умершему прошлой зимой, ни женщине, с которой прожил большую часть своей жизни и с которой расстался пять лет назад.

— Эх, Вася, Вася! Василий, Василек, — обратился вслух Кинчин к умершему другу, как будто тот стоял рядышком и точно так же смотрел в небо, — напугал ты меня своею холодной смертью, Воскобойников. Нет, милый, я поеду умирать в Сочи, к племяннику, там климат субтропический, земля теплая, мои кости не любят холода. Опять плохо спал, стакан водки на ночь уже не спасает.

Кларнетист дал петуха. Кинчин улыбнулся, ему это понравилось. Барабанщик сбился с ритма. Кларнетист еще раз сфальшивил. На крыше опять загрохотал лист железа. За спиной полковника со скрипом открылась дверь. Вошел адъютант, старший лейтенант Ювачев — невысокого роста, белолицый с черными, как смоль, глазами. Он был хорошо сложен и отличался отменной выправкой и даже щегольством.

— Посмотри, как метет, — первый начал полковник, — вовремя мы перевели солдат на зимнюю форму одежды, зима начинается в октябре, а лето в июле.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться!

Голос Ювачева был взволнованный, неприятный. Кинчин не любил, когда у адъютанта дрожал голос. Это было плохим предзнаменованием.

— Никак не могу согреться, принеси-ка мне горячего чаю, лейтенант.

— Чрезвычайное происшествие, товарищ полковник.

— Ну что замолчал... чрезвычайное происшествие... говори! Раз начал!

— Я даже не знаю, как сказать.

Ювачев замолчал и сделал неприятную паузу, какие бывают у массовиков-затейников, когда они играют в шарады с детьми. Полковник ненавидел страсть адъютанта к дешевым сенсациям, не любил, когда новости плохие или хорошие преподносят как некий фокус, сюрприз, разукрашивают личным отношением, интонациями, игрой в многозначительность, паузами и прочим мелким адъютантским шулерством.

— Я сейчас... я соберусь с мыслями...

— Собирайся. Сорок лет в армии... жизнь пролетела как неделя отпуска... Нет, я не жалею, — произнес Кинчин.

Адъютантская пауза была огромной. Полковник задумался о скоротечности жизни и еще о том, откуда к нему пришла эта простая до банальности страшная истина. В этой паузе оборвалась мелодия. Кларнетист перестал фальшивить, барабан оглох и онемел. Ветка ударила в стекло, с подоконника сорвалась птица. Небо внезапно изменило цвет. Стало темно. Посыпал серый, некрасивый снег.

— В пятой роте рядовой Лебедушкин превратился в девушку, — собравшись с духом, доложил лейтенант.

— Повтори, я не расслышал, — попросил полковник.

— В пятой роте рядовой срочной службы Лебедушкин превратился в девушку!

— В каком смысле?! Что за ахинею ты несешь?

— Вот я и говорю... в голове не укладывается, а язык не поворачивается... Был солдат как солдат, а сегодня повели мыть роту в баню, а он уже не солдат, а барышня, баба. Мужское достоинство отсутствует напрочь!

— А что имеется в наличии?

— Женское достоинство, товарищ полковник. Грудь второго размера, так сказать, все детородные органы,

и все остальное, как полагается, ну и добавьте сюда соответствующие пропорции тела и сопрано.

— То есть солдат срочной службы превратился в женщину?

— Так точно!

— В красивую или так себе?

— Очень даже ничего.

— Тебе рассказывали или ты сам видел?

— И то и другое: и рассказывали, и сам видел.

Полковник подошел к Ювачеву и посмотрел в глаза. В упор. Адъютант вытянулся по струнке. Полковник почувствовал, как эту струну кто-то натягивает все сильнее и сильнее, и она звучит все выше и выше. Шея лейтенанта от страха покрылась гусиной кожей и мгновенно покраснела.

«Испугался не на шутку. Не врет», — подумал про себя полковник.

— В молодую или зрелого возраста? — спросил Кинчин.

— В молодуху!

— Может быть, ты это в переносном смысле? Был мужественный, храбрый солдат, а теперь трусит и все в таком духе?

— Никак нет! В прямом смысле!

— Дурак, пошел вон отсюда! Нашел, кого разыгрывать!

— Хотите побожусь! Ох, грех на душу беру! Христом богом клянусь, что в пятой роте рядовой Лебедушкин, бритый наголо, превратился в красивую девушку лет девятнадцати с прической. Вот вам крест! — почти закричал Ювачев и перекрестился.

— Где?

— Кто где, товарищ полковник?

— Девушка!

— За дверью ждет.

— Валяй!

Ювачев ушел и вернулся уже в качестве конвойного маленькой, хрупкой, коротко стриженной девушки, нет, скорее, девочки восемнадцати лет. Солдатская гимнастерка была ей велика настолько, что рукава свисали почти до колен, а рук не было видно. Брюки висели складками и пузырились. При ходьбе она слегка волочила ноги, чтобы не потерять сапоги. Девочка посмотрела в глаза полковнику. Полковник давно не видел таких сияющих и счастливых глаз.

— Товарищ полковник, — вдруг закричала девушка в полный голос, вытянув руки по швам, — рядовой Лебедушкин по вашему приказанию прибыл!

— Не тот ли это рядовой Лебедушкин, который кинул из траншеи боевую гранату аж на восемь метров и чуть не погубил все отделение, чем и прославился? — спросил полковник адъютанта.

— Так точно, товарищ полковник.

— Похож, — сказал полковник и вдруг перешел на шепот. — Лебедушкин, это ты?

— Так точно, товарищ полковник, — на этот раз совершенно спокойно протянула девушка тонким, высоким голосом, — это я.

— Чей ты?

— Пятая рота.

— Багаева ко мне! — приказал Кинчин.

— За дверью ждет, — отрапортовал Ювачев.

Адъютант вышел и вернулся вместе с командиром пятой роты капитаном Багаевым, худощавым высоким офицером лет тридцати трех. Багаев был из тех, кто пришел в армию для того, чтобы стать генералом. Но ему отчаянно не везло, и понять причину этого невезения было невозможно. Полковник уже дважды задер-

живал Багаеву очередное звание. То драка, то неуставные отношения в вверенном подразделении. А теперь вот еще одно чрезвычайное происшествие: солдат стал бабой!

— Капитан Багаев по вашему приказанию прибыл, — четко, красиво, по-военному отрапортовал Багаев.

— Твой боец? — спросил полковник, взял девочку за плечо и развернул, так, чтобы Багаев увидел ее красивое лицо.

— Так точно, товарищ полковник.

— Говори, не молчи! Спасай шкуру!

— Вот что стало с бойцом, вернее, то, что от бойца осталось, — спокойно сказал капитан. Для Багаева самым важным было дать понять полковнику, что он не боится командира части. Эта невозмутимость была продолжением надменности, с которой Багаев общался с людьми, иногда скрывая ее, иногда перекрашивая.

— И это все, что ты можешь сказать в свое оправдание, капитан?

— Так точно.

— Все у тебя, Багаев, не слава богу. Когда призван на воинскую службу? — обратился полковник к девушке.

— Весной этого года.

— Откуда?

— Из Москвы. Сокольнический военный комиссариат.

— Сам забирал из призывного пункта. Был парень, — сказал Багаев.

— А мне собирались дать дивизию... Не видать мне генеральских погон, как своих ушей, — тяжело вздохнул полковник.

— Во вверенной мне роте нарушений устава не было. Призывник прошел две медицинские комиссии, имеется медкарта, — флегматично заметил капитан.

— Начальника медсанчасти! — почти закричал полковник.

— За дверью. Ждет. Одну секунду, — попросил адъютант.

Ювачев опять вышел и вернулся с начальником медсанчасти капитаном Морозовым. Морозов — полный, рано польсевший молодой офицер — понимал, что является участником выдающихся событий. Его лицо выражало некоторое воодушевление. Он осознавал, что чрезвычайное происшествие касалось его медицинской службы самым непосредственным образом. Командира части боялись все, и Морозову было страшно. И еще Морозову хотелось выслужиться и найти какое-нибудь блистательное разрешение проблемы, и такой шанс ему подарила судьба.

— Здравия желаю, товарищ полковник, — отрапортовал Морозов, как на параде.

— Ты уверен, что это наш солдат, а не приبلудившаяся из окрестных мест овца? — спросил полковник.

— Абсолютно уверен, — сказал Морозов. — Был парень — стало существо иного пола. Сам осмотрел три раза! Это он самый, Лебедушкин!

— Можешь дать естественно-научное объяснение происходящему?

— Попробую! В природе существует рыбка-тупорылка, которая меняет пол раз в три минуты, однако у млекопитающих, в том числе у солдат, подобного феномена не наблюдалось. Надо доложить в Москву, в Министрство обороны.

— погоди ты в Москву! Только прыщ выскочит на одном месте, сразу в Москву.

Кинчин вернулся к окну. Началась метель. Снег заметал пустой плац. Снег был такой плотный, что скоро не стало видно ни земли ни неба. Кинчин задумался, все

молчали. Девушка шмыгнула носом, по всей видимости, она была простужена, полковник как будто вспомнил о ней, оторвался от пейзажа и резко развернулся.

— Скажите, Лебедушкин, у вас до службы в армии не было гомосексуальных наклонностей? — спросил Кинчин. Впервые за всю свою карьеру он обратился к солдату на «вы».

— Никак нет.

— Девушка есть на гражданке?

— Вчера получил последнее письмо, зовут Машей.

— И ты ее любишь?

— Мне не хочется об этом рассуждать, это интимный вопрос.

Кинчин забыл, когда последний раз уходили так непринужденно и свободно от поставленного им вопроса.

— То есть метаморфоза произошла за одни сутки?

— Так точно, он еще вчера в строю стоял на вечерней проверке, — отрапортовал Багаев. Стоял в строю стриженный под нулину, а теперь вон оно — на голове копна волос.

— Хорошо, однако, получается, забрали у родителей здорового мальчика, — сказал полковник, — а возвращаем существо другого пола! Я представляю, какой будет скандал.

— Отца у меня нет, а мама не очень расстроится, она всегда хотела девочку. Товарищ полковник, отпустите меня домой!

Полковник пристально посмотрел в лицо девушки. Вдруг он вспомнил этого мальчика, вспомнил его лицо. Лицо, которое не раз видел во время утренних построений части. Это лицо было совершенно особенным, оно и раньше обращало на себя его «начальственное» внимание прежде всего тем, что оно не смешивалось с массой других солдатских лиц. Это лицо «светилось». Излу-

чало энергию. В нем было что-то совершенно уникальное, совершенно особенное.

— А сам-то ты что думаешь насчет своего перевоплощения, Лебедушкин? — спросил полковник.

— Лебедушкина Коля, — вдруг решил поиздеваться Багаев.

— Закрой рот, Багаев! — резко отрезал командир части.

Девушка как будто не услышала багаевской шутки.

— Я полагаю, — начал Лебедушкин в высоком стиле, — что у меня не было другого выхода.

— То есть ты это совершил сознательно? Уму непостижимо! То есть совершенно сознательно ты стал бабой? — задал, увы, не риторический вопрос Кинчин.

— Позавчера капитан Багаев приказал на меня надеть мокрое белье и отправить в караул! А между прочим, метель на дворе.

Багаев «оценил ход». И моментально отреагировал:

— Сам виноват, спит на посту, хоть убей. Вот мы ему и намочили штаны, не то чтобы сильно, а так слегка, чтобы бодрило.

— То есть вы, рядовой Лебедушкин, хотите сказать, что если в мокрых ритузах солдат выйдет в караул, то он всенепременно станет девушкой? — спросил Кинчин.

— Никак нет, я вовсе не потому стал девушкой, что эти мерзавцы издеваются надо мной.

— А почему?

— Я — художник, артист, я не могу жить в казарме, я задыхаюсь, я умираю, мне необходима творческая атмосфера.

— Закончил один курс театрального училища, мнит себя гением. Несмотря на то, что его оттуда с позором выперли! — улыбнулся злой Багаев.

Лебедушкин покраснел, как будто только что задели его честь, самое важное, самое главное, что только есть в жизни.

— Мне необходимы свобода и одиночество, — девушка впервые повысила тон, — как всякому человеку, обладающему минимальным самосознанием. И проблема не в том, что эти скоты с молчаливого одобрения капитана Багаева издеваются надо мной и заставляют зубной щеткой чистить туалет, что в караул на меня надевают мокрое белье, что мой непосредственный начальник, стоящий здесь, рядом с нами, есть садист и выродец рода человеческого...

— Так в чем же дело? — спросил полковник.

— В том, что я не представляю себе жизни без творчества. Я симулировал дизурию, шизофрению, глотал иголки, пил йод, чтобы поднять температуру тела, но меня все равно признали годным к строевой службе.

— Так точно: три месяца из шести пролежал в медсанчасти на обследовании, признан годным, но тогда еще был парнем, — отпраповал Морозов, — а сегодня стал осматривать... мама моя родная... женские половые признаки... как первичные, так и вторичные!

— Даже если у меня не будет обеих рук и обеих ног, они все равно признают меня годным к службе и вернут в казарму, так что у меня оставался только один выход — стать девушкой. Теперь никто не скажет: иди, Коля, служи, защищай Родину... Я хочу домой, отпустите меня домой, товарищ полковник.

— То есть все-таки получается, что ты стал бабой сознательно? — сказал командир части.

— В каком-то смысле — да.

— Я на своем веку знал разных симулянтов, но такого я не видал никогда! — вмешался доктор в погонах.

— А что я мог поделывать?! — спросил Багаев. — Я бился об этого москвича, так сказать интеллигента, как рыба об лед!

— Я задыхаюсь, я медленно умираю, я не мыслю себя вне театра, отпустите меня домой, — попросил Лебедушкин.

Полковник подошел к столу. Взял в руки мельхиоровый подстаканник со стаканом, какие подают в поездах, сделал огромный глоток остывшего чая. Поставил стакан с подстаканником на место и вынес свой вердикт:

— Никуда мы тебя не отпустим, Коля! Я лично займусь твоим воспитанием! Я из тебя, Лебедушкин, сделаю мужчину! Тобой Родина гордиться будет!

— В казарму его в таком виде возвращать нельзя! — вполголоса робко заметил Ювачев.

— Испортят девку, — выразил свое опасение Багаев.

— Жить будет в клубе, — сказал полковник.

— Клуб третий год стоит на ремонте, — скромно заметил адъютант, всем видом показывая, что не спорит, но только констатирует факт, и не более того.

— Вот и замечательно, — моментально парировал полковник, — обеспечить формой одежды, кроватью, одеялом, тумбочкой для личных вещей и трехразовым питанием. Кто-нибудь еще знает о случившемся?

— Никто, кроме здесь присутствующих, — доложил Ювачев.

— И чтобы никому ни слова. Слабый ты стал офицер, Багаев, не можешь справиться с интеллигенцией. А я хотел тебя представить к повышению.

— Получается, мне в капитанах всю жизнь ходить?

— Пока капитанские звездочки на погонах не завоняют!

— Ну, держись у меня, Коля Лебедушкин, я тебе устрою праздничную жизнь! — после огромной паузы, глядя в душу Лебедушкину, зло сказал капитан Багаев.

— Каждая несовершенная душа сама в себе несет свое наказание. Мне вас жалко! — ответил Лебедушкин.

«В этом парне что-то есть!» — заметил про себя полковник:

— Все свободны! Поселить интеллигента в клуб, обеспечить трехразовое питание, составить расписание занятий, строевая, боевая, тактика, устройство парашюта и прочее. И чтобы ни одна живая душа не узнала о происшедшем. Иди в роту и командуй, капитан. Все свободны. Ювачев, останься.

Вдруг полковник почувствовал странное желание... ему захотелось искупаться в метели.

— Машину на выезд, поедем на аэродром, посмотрим, как идет ремонт взлетно-посадочной, заодно подышим свежим воздухом.

— Есть, товарищ полковник! — отрапортовал адъютант.

Глава вторая

Симулянта Колю Лебедушкина поселили в клубе воинской части. Поставили на сцену железную кровать, прикроватную тумбочку, табуретку, принесли матрац, комплект постельного белья и заперли на ключ. Хотели на всякий случай поставить часового, но в последний момент полковник передумал... не выдержит, станет помогать.

Когда наконец впервые Лебедушкин остался один, он отправился путешествовать по пустой сцене. Включил дежурный свет, прикоснулся рукой к кулисам. К сожалению, они были не черные, как в театре, а красные. По-

том он вышел на авансцену и прочитал перед пустым залом по памяти отрывок из Мандельштама. Ему нравился собственный высокий девичий голос.

«Ну, теперь-то, — подумал он, — когда я уж точно не гожусь для строевой службы, они уж точно обязаны отпустить меня домой».

Лебедушкин прилег на кровать поверх одеда и стал вспоминать прежнюю, гражданскую жизнь: они с мамой идут поступать в школу-студию МХТ, мама ужасно волнуется, из приемной выходит Олег Павлович Табаков, за Табаковым идет знаменитый артист, и они о чем-то легко и с удовольствием спорят. Мама волнуется:

— Коленька, может быть, не надо в театральное? У нас артистов никого в роду не было.

— Не было — будут! Может быть, я заложу начало огромной актерской династии.

— Ну ты, Колька, фантазер!

— У Станиславского есть такая глава: «Актер и воображение». Не может быть артиста без воображения — это даже очень хорошо, что есть фантазия.

— Хорошо, если б ты поступил, мальчик мой, — взмолилась мама.

— Я обязательно поступлю!

Коля вспомнил, как он ворвался домой и рассказал маме, что поступил, и у мамы закружилась голова... Она пошла в гостиную и легла на диван.

Проучившись несколько месяцев в студии, Коля влюбился.

Однажды он признался маме: «Наверное, у меня будет девушка».

И прочитал в глазах матери: «Скоро женится. И я останусь одна». Коля обнял маму и поцеловал, и почувствовал, как ей стало хорошо и спокойно в его объятиях.

...Лебедушкин лежал на солдатской койке и вспоминал Москву.

Летнее теплое утро. Светит солнце. Он идет по Тверской от Юрия Долгорукого вниз, сворачивает в Камергерский, входит в школу-студию МХТ, поднимается на третий этаж, входит в класс, начинаются экзамены. Он приготовил этюд. Маша сидит рядом, и они еще не сказали «про любовь» друг другу ни слова, но точно знают, что влюблены. У нее в руках зеленая тетрадка и карандаш. Это театральный реквизит, она будет играть строгую и не очень умную учительницу. На ее коленях лежат очки-велосипеды без линз. Трудная роль для студентки первого курса. Маша волнуется. Ей очень хочется, чтобы ее этюд понравился Коле.

За окном вдруг становится темно. Первые капли дождя бьют по подоконнику. Вместе с первыми каплями на подоконник падает воробей, он смотрит в глаза Коле.

На дне сумки лежит мобильный телефон, Коля достает телефон и фотографирует воробья. Воробей позирует и улетает.

«Покажи», — просит Маша. Коля показывает ей воробья.

В класс входит руководитель курса, начинается экзамен.

Глава Третья

С Настей Комариной, девушкой двадцати одного года, адъютант Ювачев познакомился летом в Петербурге. Она стояла на Аничковом мосту и смотрела на воду. Ювачев думал, что эта девушка о чем-то задумалась и поэтому смотрит вниз на воду. Но, когда он перегнулся через перила, увидел, как течение уносит очень красивую соломенную шляпку.

— Жаль, очень красивая вещь, — сказал Ювачев.

Насте понравилось, что ее пожалели. Так они и познакомились.

Адъютант Ювачев не смог выполнить приказ командира части. В письме Насте он выдал военную тайну: «Странные истории происходят порой в жизни. Действительно, был новобранец Лебедушкин парнем. Все — как положено. А тут повели солдат мыться в баню. Разделись все донага, разобрали шайки, мочалки, мыло, разошлись по душевым. И вдруг замкомзвода видит: идет с шайкой девчонка! В левой руке — шайка, а в правой — кусок мыла. Вокруг голые парни, и она — в чем мать родила. И ни тени смущения! Как будто так и надо. Стали разбираться, кто такая, оказалось — это солдат. Рядовой Лебедушкин. Призвали нормального парня. Щупленький, конечно, но был нормальный мужичек, и все у него было чин по чину... и брился, и баском разговаривал, и мужское достоинство было... на месте. И вдруг за ночь превратился в девчонку. Повели к доктору, осмотрели. Женщина! Как она есть! Его спрашивают: «Зачем ты такое сделал?» А он отвечает: «Чтобы домой меня отпустили. Не хочу в армии служить». Вот какие дела происходят порой на свете, Настена! Что только люди не сделают над собой, симулянты, чтобы от армии откосить!»

Письмо Ювачев написал, но решил отправить не из части, а из города. Он знал: особый отдел иногда «заглядывает» в письма. А ему очень хотелось удивить свою возлюбленную. Настя, как и все девушки, любила удивляться, любила все необычное.

Было раннее утро. Ювачев вышел на плац и стал ждать полковника. Было холодно, Ювачев быстро замерз, но письмо Насте, лежавшее во внутреннем кармане, грело душу. Когда полковник вышел из подъезда

штаба, Ювачев последовал за ним. Они пересекли третий учебный корпус, прошли мимо столовой и вошли в клуб. Полковник был мрачен и не проронил ни слова. В такие минуты, Ювачев это прекрасно знал, заговаривать первому с начальником было категорически запрещено.

В клубе было темно. Чтобы без приключений пройти через фойе, заставленное строительными лесами, на сцену, где временно разместили Лебедушкина, Ювачев запалил зажигалку и поднял ее над головой полковника.

Через фойе они вышли на сцену. Ювачев спрятал зажигалку в карман. На сцене, в полутьме, стояли солдатская кровать и прикроватная тумбочка. Лебедушкин лежал поверх одеяла и читал.

Адъютант первым бросился вверх по ступенькам из зрительного зала на авансцену, второй раз за день он имел полное право обогнать командира части.

— Встать, смирно! — закричал Ювачев во всю мощь своих легких.

Девушка отложила книгу, посмотрела на Ювачева, как на привидение, привстала, спустила ноги на пол. Она увидела приближающуюся огромную тень полковника, но совершенно не испугалась, а если даже испугалась, то никакого виду не показала. Более того, вступила в дискуссию:

— Что вы кричите как резаный, так можно и зайкой на всю жизнь остаться! — спокойно сказала она.

— Встать, смирно! Да пошевеливайся ты! — заорал Ювачев как резаный.

— Боже мой, как вы мне все надоели. Одну минуточку подождите, сейчас сделаю закладочку!

Девушка положила книгу на прикроватную тумбочку, прежде заложив календарик как закладку, вста-

ла на ноги и только после этого поприветствовала полковника.

— Здравия желаю, товарищ полковник! — сказала она спокойно, не по-военному, а наоборот, на глубоком выдохе... с душой. На ней было красивое приталенное, почти в пол светло-серое платье, на голове — прическа: длинные волосы собраны на затылке в пучок, на длинной красивой шее — простенькие стеклянные бусы. Руки без маникюра, но красивые и ухоженные. Она не вытянулась по струнке, а сразу же сложила их на груди, как барышня позапрошлого века.

— Что это, Лебедушкин? — спросил полковник.

— Вы о чем, товарищ полковник?..

— Откуда это миленькое платьице, Коля?

— Сама себе пошила. Нашла три метра синего сатина, постирала, высушила и сшила платье, я чувствую себя в нем превосходно! Мне надоело таскать солдатскую робу.

— Коля, Коля, Коля! Как же тебе не совестно, ты же солдат российской армии! Платьице себе пошил!.. Ты что, всех нас опозорить хочешь?!

— Меня зовут Наташей. С вашего позволения.

— И как давно?

— Со вчерашнего вечера. Я взяла себе имя Натали в честь моей бабушки, Натальи Аркадьевны, урожденной Шевчик. Я девушка восемнадцати лет и не подлежу призыву на действительную воинскую службу. Пожалуйста, отпустите меня домой. Извините, я устала стоять навывтяжку, у меня спина занемела.

Девушка, еще вчера бывшая солдатом, села на кровать и поправила складки на платье.

— Смирно! — заорал капитан Ювачев.

— Извините, но я присяду, с вашего позволения, у меня сегодня недомогание, ужасно кружится голо-

ва, — с дрожью и обидой в голосе сказала «служащая срочной службы».

— Встать! — снова закричал адъютант во всю мощь своих легких.

«Наташа Шевчик» даже не шелохнулась. Наоборот, она улыбнулась. И произнесла спокойно и с достоинством, которое бывает только у взрослых женщин, когда они говорят о подобных вещах:

— Вы не поверите, товарищ полковник, но то, что я сейчас скажу, — это чистая правда! Ко мне пришли больные дни! Spина отваливается!

— Военврач Морозов прав, таких симулянтов белый свет не видывал! Это ж надо такому случиться! У солдата менструация! К солдату срочной службы пришли месячные! — спокойно сказал Кинчин. А про себя подумал: «Ох уж мне эти москвичи!»

— Я в училище бежал кросс со сломанной рукой! — вмешался адъютант. И снова скомандовал: — Встать!

— Я так же раньше думала, что пустяки, никакие не пустяки, вот вам бы один разок помучиться, тогда бы поняли, что значит — требовать невозможного. Встать не могу.

— Я его силой подниму, товарищ полковник!

— Не трогай... не надо, — сказал командир части, — тогда, мадам, — вежливо обратился он к Коле Лебедушкину, — я, с вашего позволения, тоже присяду. Мне как-то неловко стоять перед вами, все-таки я старше по возрасту и по званию.

— Будьте любезны, месье, присаживайтесь, окажите такую любезность! — сыграл в галантность XIX века Коля.

— Благодарю, — сказал полковник, снял папаху из светлой белой овцы, присел на табурет, что стоял рядом с прикроватной тумбочкой, закинул ногу на ногу и закурил. — Пахнет кофе? Не так ли?

— О да! — сказал светский Лебедушкин.

— Откуда этот чарующий запах?

— Из железной кружки, это мой кофе, — Лебедушкин показал алюминиевую чашку с остатками кофе.

Ювачев что-то хотел сказать, слегка приоткрыл рот, но сразу же закрыл, решил не вмешиваться.

— Откуда у вас кофе, мадемуазель? — спросил полковник.

— Сублимированный... высший сорт. Я сохранила его чудом, грамм сто. Кстати, как вам сегодняшняя погода?

— То есть солдат весь день-деньской лежит на тахте, пьет кофе и читает, — Кинчин взглянул на переплет книги, — Поля Элюара.

— И еще пишу пьесу. Вот рукопись. — Лебедушкин показал стопку бумаг, лежащую на тумбочке.

— Ты, Николай, еще и писатель!

— Такого солдата я вижу впервые, — наконец осмелился на короткую реплику Ювачев.

— Я не солдат, я — художник. Может быть, даже гений! — сказал Лебедушкин.

— Мало что мадам! Да еще и гений к тому ж! — язвительно пошутил Кинчин и выплюнул прилипший к кончику языка кусочек табаку.

— Гениальная баба! — пошутил вслед за начальником адъютант.

— Не в том смысле, что я — гений, законченный, готовый, как Пикассо, или Писсаро, или Толстой, или Оливье. Я хочу сказать, что я чувствую свой гений, и у меня есть свой долг перед ним! — сказала Наташа.

— Так кто же перед нами? Актриса или писатель? — спросил полковник, играя в ложный интерес.

— Когда-нибудь я стану великой актрисой! А если моя мечта о театре не сбудется, я стану писательницей,

или пианисткой, или, на худой конец, художницей. Но как бы там ни сложилось, я обязательно буду заниматься искусством!

— Артистический талант у тебя, Лебедушкин, бесспорно, присутствует. Даром перевоплощения ты обладаешь в полной степени, мы — тому живые свидетели, — заметил полковник.

— Это не дар перевоплощения, это скорее искусство выживания.

— А известно ли тебе, Николай...

— Я устала повторять... меня зовут Наташей.

— Хорошо... известно ли вам, Натали, что подавляющее большинство великих были мужчинами, например Станиславский, Немирович-Данченко, Шекспир, среди композиторов вообще нет женщин, лучшие писатели и артисты — тоже мужчины.

— Ложь, созданная мужчинами, ради осознания собственного мифического превосходства.

— Одним словом, я считаю необходимым вернуть вас в первоначальное природное состояние, более: вижу в этом свой долг перед мировым искусством, — завершил словесную дуэль полковник.

— Занятия будут проходить под моим личным руководством в ночное время, подальше от солдатского глаза, ежедневно. Завтра... кросс, строевая, огневая, химзащита, спортчас, — деловито отрапортовал Ювачев.

— Химзащита? У меня нет времени на пустяки, — стал спорить Коля.

— Неужели? — заинтересованно спросил Кинчин.

Вдруг Лебедушкин почувствовал, что у полковника тяжело, очень тяжело на душе, и на самом деле его волнует совершенно иное, и это «иное» является самым важным и единственно подлинным вопросом жизни полковника. И на этот вопрос полковник никогда не

найдет простого ответа, и «неприятность», случившаяся на службе, и спор с новобранцем — это всего лишь внешняя оболочка, призрак. А в глубине, в сердце Кинчина течет другое время, другая жизнь. Вдруг Лебедушкин почувствовал, что эта «другая жизнь» ему очень интересна. Только едва ли когда-нибудь найдется хоть один человек на земле, с которым Кинчин захотел бы поговорить о самом главном.

— Значится, нет времени на пустяки? — переспросил полковник.

— Да, да, у меня дел по горло, — сказал Лебедушкин.

— Каких именно? — Кинчин встал и заложил угол по сцене.

— Премьера спектакля на носу.

— Какого еще спектакля?

— Обыкновенного.

— И где же состоится спектакль?

— Вот здесь, на этой сцене! Я уже начала репетировать. Кстати, в клубе сцена хоть и маленькая, но хорошая, здесь даже есть свет, полупрофессиональный, но все равно годится. Есть и магнитофон, и даже крошечная фонотека. Правда, в труппе всего лишь одна актриса, но это не важно, скоро премьеры, и я вас приглашаю.

— Когда премьеры?

— Через десять дней.

— И что, отложить нельзя?! — спросил полковник.

— Ни на один день!

— Что будете представлять? «Ромео и Джульетту»?

— «Дядю Ваню»! — пошутил адъютант.

— Спектакль называется «Король пчел».

— Я не знаю такой пьесы, — не боясь показаться профаном, честно признался Кинчин.

— Пьеса моего собственного сочинения.

— Ах да, я совсем забыл, вы еще и писательница!

— Я, кстати, и рисую неплохо, и еще пою.

— А вышивать не пробовал, Коля? Пяльцами? — опять съязвил лейтенант.

— На пяльцах, — парировал Лебедушкин. — Через десять дней премьеры.

— Да-с. Любопытно, — сказал полковник.

— Можно попросить контрамарочку? — зло улыбнулся Ювачев.

— Билеты не продаются, приходите так, сыграю за аплодисменты.

— Внеси, капитан, изменение в расписание занятий: не один, два кросса в день... по пересеченной местности, — попросил Ювачева полковник.

— С полным боекомплектом! — поддержал идею начальника Ювачев.

— Товарищ полковник, из меня солдата не получится. Вы посмотрите, ну какой я солдат? Меня убьют в первом же бою, и не пулей, а просто так, из-за моей собственной нерасторопности. Я не смогу защитить Родину, отпустите меня домой, пожалуйста, Андрей Исаевич, отпустите.

Полковник пристально посмотрел на девушку.

— В таком виде не могу, Лебедушкин. Меня из армии уволят, а я, между прочим, отдал армии сорок лет жизни. А платье завтра переодень, испачкаешь, уж больно хорошее платье.

Глава четвертая

Было полнолуние. Половина третьего ночи. Полковнику не спалось. Ему очень хотелось вспомнить о чем-нибудь очень теплом, приятном, волнующем до слез, может быть, такое воспоминание принесло бы покой

и сладкий сон, но почему-то хорошие воспоминания не приходили, они куда-то исчезли, пропали или спрятались. Конечно, Кинчин прожил счастливую жизнь, и дети когда-то были забавными, маленькими, нежными, и женщину, с которой навсегда развела его судьба, он искренне любил... Были, были эти мгновения счастья, но почему-то образы счастья куда-то исчезли, и нечем стало согреть душу.

Полковник встал с постели, босиком прошел через гостиную, открыл холодильник, налил в стакан водки, опрокинул «огненную воду» в горло. Затем залпом осушил еще один стакан водки, запил водой из-под крана, вернулся в кровать, залез под одеяло с головой и закрыл глаза.

Он лежал так часа два. Сон не приходил. На душе было тяжело и смутно. Больно. Днем в этой армейской суете это чувство оставляло его. Зато ночью!..

Вдруг он понял, что ему хочется поговорить с Лебедушкиным. Все равно о чем. Кинчин вскочил с постели, быстро, как по команде, оделся, накинул на плечи шинель и вышел на улицу, умылся снегом, прошел через КПП, проверил пост у склада арттехвооружения (караульный не спал, видно, ему уже доложили, что «сам» идет проверять службу) и направился в клуб.

Полковник прошел через черное фойе на сцену. Лебедушкин спал, положив ладошку под щеку. Очень долго в полумраке полковник стоял и смотрел на спящего солдата. Вдруг ему стало неловко, что он пришел сюда, повинясь смутному душевному желанию, а значит, сердечному порыву, что не случилось с ним уже очень давно. Ему стало стыдно за собственную слабость, и это чувство стыда моментально привело к ярости, вспышке гнева.

— Подъем, тревога! — закричал полковник, подошел к рубильнику, что был справа от сцены, и включил весь

свет, на который только была способна клубная армейская сцена.

Коля проснулся и открыл правый глаз.

Лебедушкин увидел громадную тень полковника и по этой тени сразу узнал его. Полковник был изрядно пьян и превосходно освещен.

— За что мне это наказание, боже мой, будить человека среди ночи, когда душа купается в эфире?! — сказал Лебедушкин и сладко потянулся.

— Время пошло, сдаем норматив. Тревога! А ну-ка пошевеливайся, осталось тридцать пять секунд. Энергичней, еще быстрее!

— Я не могу так быстро, как бы вам хотелось, товарищ полковник! Мои глаза не видят, руки спят, ноги видят сны.

— Пошевеливайся!

— Что вы кричите, три часа ночи, мама, как хочется спать. Если жизнь это сон, я хочу жить.

— В норматив не уложился, — полковник посмотрел на часы, — отбой. Будем тренироваться.

Девушка привстала, спустила ноги с кровати:

— Вы пьяны, товарищ полковник, от вас разит перегаром. Судя по выражению вашего лица, вы пили в полном одиночестве! Ночью! Красноречивый факт. Что вам не спится?

— Меня мучает совесть.

— Наконец-то! Быть того не может! А мне казалось, что у вас нет чувства сострадания.

— Я не мог заснуть, мне не давал покоя ужасный вопрос... А вдруг ты на самом деле гений? Прочти мне свою пьесу.

— Она вам покажется скучной.

— Однако вы низкого мнения обо мне, мадам. Сяду в кресло, буду пить кофе и слушать пьесу. Читайте, На-

талья, как вас там по отчеству. Побалуйте старшего по званию одной чашечкой кофе.

Полковник скинул шапку, шинель, сел на табуретку, закинул нога за ногу и закурил. Лебедушкин понял, что разница между креслом и армейским табуретом для полковника сейчас не существенна.

— Меня зовут Наталья Сергеевна.

— Сделайте милость, Наталья Сергеевна. Ужасная погода, метель воеет как зарезанная. Если вы мне не станете читать вашей пьесы, Наталья Сергеевна, мы тотчас пойдем окапываться, в мерзлой земле, до восхода солнца!

— Полноте, полноте, Андрей Исаевич, меня пугать! Ну ладно, пусть будет по-вашему!

Лебедушкин встал с постели и, наматывая портянки, запричитал:

— Моя дорогая, любимая мама. Сегодня в три часа ночи меня подняли по тревоге для того, чтобы я прочитал несколько строк из последнего! Мама, когда я вернусь домой, я буду спать много недель подряд, я хочу видеть сны во снах и, погрузившись в царство Морфея, пить тишину, как воду, большими глотками! Только пообещайте, товарищ полковник, что, когда я закончу читать, вы уйдете, а я лягу спать.

— Клянусь складом арттехвооружения! — сказал Кинчин.

— Ну хорошо, вы сами напросились. Но я предупреждаю: пьеса сложная.

— Не пугайте нас, Аделаида Афиногеновна, мы пуганные, как-никак три войны прошли.

Лебедушкин надел сапоги. Взял с тумбочки кипу бумаг:

— Ну смотрите, товарищ полковник, сами напросились.

— Я готов, Серафима Спиридоновна, так начнем же! И все-таки кофейком не побалуете?

— Только одну чашку... я экономлю. Можете называть меня как угодно, я на вас не обижаюсь.

— Буду пить мелкими глоточками.

— Это не пьеса даже, а всего-навсего один монолог, чтобы вам, прошедшему три войны, было понятно, я предваряю прочтение небольшим либретто... то есть расскажу краткое содержание.

— Будьте так любезны, сударыня.

Лебедушкин взял в руки пьесу, вышел на авансцену, стал в позу чтеца, сделал паузу.

Пауза была красивой. Полковнику она понравилась. Вдруг он почувствовал, как с души упал камень. И после этой странной Колиной паузы ему вдруг стало необыкновенно легко.

— Действие пьесы, — начал Лебедушкин, — происходит частично в околопланетном эфире, частично — в Царствии небесном.

— Я так и предполагал, что где-нибудь далече отсель, — сказал полковник, выпустил струю дыма, дым свернулся в кольцо, кольцо улетело в зрительный зал.

— Что, уже неинтересно, да?

— Нет, продолжайте, милая, продолжайте... прекрасно... прекрасно... не всем же грязь месить на этой грешной земле! В околоземном эфире!

— Действующие лица: Озельма — царь пчел, Сольминор — красавица, заблудившаяся в космической беззвездности. Все остальные сущности невидимы. Итак, на некую планету Рапан спускается Сольминор. Она пьет росу, она питается утренней прохладой...

— Как моя Оля, — с грустью в голосе вдруг перевел на свою тему полковник, — она съела на завтрак одну печенюшку с маслом и запивала полчашкой чаю, очень боялась поправиться. Я ей говорю: «Оленька, если ты будешь так есть, ты в этом климате не выдержишь».

Когда лирическое отступление в семейную историю полковника закончилось, Лебедушкин продолжил:

— Итак, Озельма видит на поляне Сольминор, пьющую росу, и влюбляется в нее.

— Мы тоже познакомились в кафе, я был курсантом, меня отпустили в увольнение... вдруг оборачиваюсь и вижу: красавица, какой не видывал белый свет, ест мороженое. У меня сердце остановилось! Оно не забилося, пока я не сказал ей свои первые слова. А что я сказал? Уже не помню.

Чтица решила не обращать внимания на ностальгические воспоминания полковника и двигаться к финалу, чтобы побыстрее закончить читку и лечь спать.

— Сольминор влюбляется в короля пчел, и у них начинается бурный роман, — прочитала она.

— Мы из гостиницы не выходили четыре дня, мы не спали, не ели, любили друг друга как сумасшедшие, в городе Ростове-на-Дону, в самом дешевом номере.

— Может быть, вы поговорите, а я помолчу, послушаю?! — резко оборвала речь полковника Лебедушкина Коля, она же Наталья Сергеевна Шевчик.

— Все... все, Артемида Прокопьевна, я умолкаю навеки!

— Король пчел и Сольминор нашли друг друга на планете Рапан и отправились на необитаемую планету Гвидо для того, чтобы остаться наедине, там они себе свили гнездо.

— Если б в жизни так быстро решался квартирный вопрос... Мы двенадцать лет по углам скитались с двумя детьми... Давай, валяй, не молчи.

Лебедушкин решил читать до конца, идти через пьесу, как нож сквозь масло, и не обращать внимания на исповедь полковника.

— Они жили счастливо и все свободное время танцевали танго серебряных журавлей...

— Оля заведовала этим самым клубом... Она попросила меня сделать ремонт, занавески повесила... Привезла их аж из Москвы... Сама выбирала, ничего не скажешь, у женщины есть вкус... Надоела ей армейская жизнь, я ее понимаю, тридцать лет со мной по гарнизонам. Все, замолкаю навеки!

— Вдруг на планету Рапан явился Ангел зла.

— Ага. Понятно. Ангел зла.

— Увидев прекрасную Сольминор, Ангел преобразился в прекрасного юношу и пытался соблазнить Сольминор.

— Я тоже думал, что у нее есть кто-то в Москве, — сказал полковник, нагнулся и погасил сигарету о планшет сцены. — Ничего подобного: ей надоело жить в этой дыре, ей было одиноко, я служил по двадцать часов в сутки, а она была предоставлена сама себе. А женщине нужно внимание. Она собрала вещи, взяла детей и уехала.

— Сольминор не поддалась, — читал Лебедушкин, — чарам Черного Ангела, и тогда он убил короля пчел.

— Я хотел убить этого человека, но его в природе не существовало, не было никого!

— И тогда над телом короля пчел Сольминор читает свою молитву. И моя пьеса и есть, по сути дела, эта молитва... один монолог.

— Я все понял, сюжет понятен, — подытожил Кинчин. — Читай свой монолог.

Внезапно полковник качнулся и чуть было не свалился с табурета.

— Это перформанс, ритуал, литургия, прощание с возлюбленной душой. Это действие. Один текст ниче-

го не даст. Без костюмов, без декораций, без музыки это бессмысленное занятие.

— Валяй, читай, — приказал полковник.

Лебедушкин понял, чем быстрее он прочитает, тем быстрее полковник уйдет. Но решил читать с выражением, художественно:

Ты умер.
Твои глаза жадно глотают тьму,
Как две цапли воду после долгого перелета
через пустыню.

Ты оглох.
Ты ослеп.
Потерял сознание, и речь, и память —
Таковы правила предстоящего путешествия.

Кинчин резко перебил:
— Заумь! Болотный газ!

Лебедушкин не отреагировал на реплику начальства и продолжил:

Два миллиарда лет назад Господь обрел этот мир,
Мир Господний обрел твою душу,
Твоя душа обрела Дух, а значит, она бессмертна,

Ибо Дух есть тот неизменный порядок души,
Который неспособна изменить вечно гниющая
Зловонная и серная вечность.

— Ого! Гниющая вечность! — сказал полковник.
Лебедушкин как будто не обращал внимания:

Я один знаю формулу твоего Духа —
Это сладкие, как любовь, вечно осыпающиеся цветы,

— Какие занавески? — спросил Лебедушкин.

— Что висели здесь в клубе на окнах, которые из Москвы привезла моя Оля!

— Я сняла их.

— Зачем?

— Раскроила, из них я пошью костюмы для спектакля.

— Что? Раскроил?! Занавески, которые купила моя Оля?! Да это все, что от нее осталось. Ты что, думаешь, я пришел слушать бред умалишенного симулянта? Я пришел посмотреть на занавески! Где они? Где мои занавески?

— Я пошила из них костюмы. Один закончила, другой в работе. Костюмы для спектакля!

Они разговаривали через бесконечный черный провал зрительного зала. Лебедушкин стоял на сцене. Полковник — у входной двери.

— Какого спектакля? — закричал полковник.

— «Король пчел».

— Занавески! Я хочу их видеть!

— Одну секунду, сию минуту!

Коля исчез и вернулся минут через пять. Все это время полковник смотрел в сторону сцены, ждал. Лебедушкин вышел на авансцену, из тьмы на свет в пышном платье с высоким барочным воротником и узорчатыми рукавами, талию перехватывал пояс, а за спиной было что-то наподобие капюшона.

— Но занавесок было восемь штук! — заорал полковник.

— Но они были узкие, все тридцать сантиметров шириной! Часть ткани ушла на палантин. Одна занавеска осталась, но я сняла ее с окна, чтобы не спрашивали, где остальные.

— Двадцать пять нарядов вне очереди! В свинарник, к свиньям, выгребать дерьмо из-под свиней!

— Я очень вас прошу не надо в свинарник!

— До конца службы, к свиньям, на ферму!

— Я согласна, — сказал Лебедушкин, — занавески были изумительные, но посмотрите мой спектакль в костюмах с музыкой и со светом, и тогда вы поймете, что жертва не была напрасной!

— Дело не в свиньях. Есть еще одно обстоятельство в этом деле, а именно — свинарь. Он в два раза тяжелее любого борова и в два раза похотливее, может быть, наконец он перестанет заниматься рукоблудием?! Так что быть тебе свинаркой, Коля! Может быть, мы и свадьбу сыграем.

Лебедушкин впервые испугался. Преображение командира части было страшным.

— Я заклинаю вас, я умоляю вас! Не надо на ферму! Дайте мне шанс, позвольте мне сыграть спектакль!

— Хорошо, сыграй! Я посмотрю! Но если спектакль плохой, я сдержу слово!

— Дайте скорее спички!

— Зачем?

— Мне нужно сделать грим, мне нужна сажа, я подожгу бумагу!

Полковник вышел на свет, достал зажигалку, отдал ее Коле и сел на одно из пустующих алых кресел первого ряда.

— Погодите одну минутку! Я так волнуюсь.

— Еще бы!

— Я даже перед поступлением в школу-студию МХТ так не волновалась, — сказал Лебедушкин.

— Такой омерзительной рожи, как у вашего жениха, Наталья Сергеевна, я отродясь не видывал. У него под ногтями грязь всей Вселенной, все черви этого мира, вся флора и фауна! От этого вашего будущего супруга воняет так, что свиньи падают в обморок, и нашатырь не

в состоянии воскресить их обморочные души. Еще бы тут не волноваться! Я поэтому и направил его в свинарник, что от десантника не может так вонять.

— Одну секунду, я поставлю свет.

Лебедушкин направил лампу и железный фонарь в глубину сцены.

— Мне уже не нравится ваш спектакль, — закапризничал Кинчин.

— Не торопитесь, мне кажется, что вы человек большого вкуса.

— Ну, долго ждать? ...Мои занавески!

Актриса убежала за кулисы, со сцены ушел свет. Тьма на сцене слилась с тьмой зрительного зала. Из темноты зазвучала волшебная обволакивающая музыка. Актриса, еще недавно числящаяся в списках личного состава части № 5544 рядовым Николаем Лебедушкиным, выбежала на сцену и стала играть монолог во всю мощь собственного таланта красивым уверенным сильным голосом:

Ты умер.

Твои глаза жадно глотают тьму,

Как две цапли воду после долгого перелета

через пустыню.

Лебедушкин читал пьесу пританцовывая, размахивая длинными рукавами платья, касаясь длинным железом каких-то странных предметов, стоящих на сцене, которых полковник не видел раньше. Читал, почти пел слова:

Твое тело будет предано земле и огню,

Оно сгорит, оно распадется на атомы,

Но это не страшно, ибо тело есть только кокон,

А душа твоя есть бриллиантовая стрекоза,
Она освободится от кокона и будет сорок дней
Парить в околоземном эфире,
Слушая о любви к тебе,
Собирая силы для будущего путешествия.

Она полетит к своей новой жизни,
Пересекая океаны времени,
И скоро твоя постоянная душа
Достигнет суши, и начнется новая жизнь.

Твои глаза, вдоволь напившиеся тьмы,
Снова распахнутся навстречу солнечному свету,
Ты побежишь босыми ногами по росе...

Полковник слушал, затаив дыхание, он окаменел, превратился в ящерицу на камне, наблюдающую за прибором. Представление нравилось ему все больше и больше. Он не понимал смысла действия, но в него медленно сочился, входил дух от этих слов. Образ принцессы Сольминор, ее речь медленно поглощали его душу, он подчинялся этой бессмыслице. Они, эти слова и образы, зацепились за невидимые нити в его измученной, глухой и ослепшей душе и даже доставляли ему непонятное и странное удовольствие. Слова и образы своей непонятной гипнотической властью заставляли подчиниться себе, молчать и слушать. Это ужасно напугало Кинчина. Потому что он не привык подчиняться никакой власти над собой.

Вдруг неожиданно для самого себя полковник вскочил на ноги.

— В свинарник! — закричал он.

— Неотесанный сапог! — моментально ответил Лебедушкин, обиженный тем, что полковник прервал его исполнение.

— Молитесь, Наталья Сергеевна! Теперь вы не солдат, не дама и не актриса, вы свинарка! Ваш муж еще спит и даже не догадывается о своем счастье!

— Вы — человек далекий от искусства и ничего не понимаете! Это прекрасный спектакль! У вас не хватило терпения досмотреть до финала!

— Ни действия, ни характеров, ни сюжета! Пустота!

— В этом жанре они и не нужны, это перформанс!

— Плохой спектакль. Чушь несусветная! В свинарник!

— Прекрасный спектакль!

— Ты сильно оторвался от жизни, Коля, надо идти в жизнь, в народ... начнем с сельского хозяйства.

— Вы не разбираетесь в искусстве!

— Я понимаю в театре не меньше твоего, готовься к свадьбе!

— Откуда понимаете? — продолжила диспут актриса.

— Я из той породы людей, которые умеют мыслить и поэтому добиваются успеха во всем, за что бы ни взялись! Если бы я был политиком, стал бы президентом. Столяром — обязательно стал бы краснодеревщиком. Я выбрал службу и выслужился до полковника, и это не предел, я жду повышения и буду генералом. И если б я играл на сцене, я бы стал великим артистом. Я так устроен, я — победитель.

— Пьяное бахвальство, никто не знает, какой из вас получился бы актер.

— Большой актер!

— Хвастовство!

— Я честолюбив, я стал бы лучшим среди лучших!

— В этом деле честолюбия мало, нужен талант! — попытался задеть за живое полковника Коля.

— Талантливый человек талантлив во всем.

— Хорошо, давайте попробуем... Я дам вам роль, нашему театру как воздух нужны хорошие актеры! Это все одно лучше, чем по ночам пить водку.

— Твою пьесу я не стал бы играть под угрозой смерти, даже если бы меня приказали четвертовать! Жеманство, глупость, бессмыслица, кривляние. Вам, госпожа свинарка, писать не надо, у вас к этому способностей нет.

— Пожалуйста, перед вами весь мировой репертуар, выбирайте. А что бы вы сыграли?

— Шекспира. Хороший автор.

— И чтобы вы посоветовали из Шекспира? — спросил Коля.

— Возьми любую пьесу.

— «Отелло» очень подходит для нашего дуэта. Вы — мавр, я — Дездемона. Налицо разница в возрасте. Он — военный, почти генерал, это вам близко, она — девушка, сыграем одну сцену минуты на три, посмотрим, какой вы гений.

— Хорошо, Коля, я дам тебе пару уроков актерского мастерства.

— Даете слово?

— Слово офицера.

— Минутку, я сейчас.

— Куда ты?

— За томиком Уильяма. В библиотеку.

— Но у тебя нет ключа.

— Я приспособилась открывать дверь гвоздем и скрепкой для бумаги.

— Экая вы медвежатница, Евфросия Федуловна.

— Любовь к литературе совершает чудеса. Клуб и библиотека через стенку, как я могла удержаться!

Когда Лебедушкин ушел за книгой, полковник моментально протрезвел, вдруг он понял, что книга обяза-

тельно появится, и надо будет играть Отелло. Потому что он дал слово офицера.

— Черт меня за язык дернул! — вслух сказал сам себе Кинчин. — Ну да ладно! Мы и не в таких переделках бывали!

Вошел Лебедушкин с книгой. Он сразу же открыл ее в нужном месте.

— Сыграем один фрагмент, — сказал Коля, — я знаю эту пьесу почти наизусть, на втором курсе репетировал Яго. Читайте, я буду иногда заглядывать в текст.

Лебедушкин отдал книгу командиру части. Полковник взял ее в руки, поднялся на сцену, скинул шинель, достал футляр от очков, очки, надел очки на нос, взял книгу в правую руку, посмотрел на Лебедушкина через линзы, покраснел до корней волос, прокашлялся:

— Кому сказать — не поверят, командир части, гвардии полковник, ночью, при свечах репетирует Отелло. С кем?.. С военнослужащим первого года службы, желторотиком, симулянтом, не сумевшим бросить гранату от себя на двадцать шагов.

Лебедушкин на всякий случай, наверное для того, чтобы не смущать полковника, стал чуть поодаль. Он понимал — самое трудное сделать первый шаг, произнести первое слово.

— Кому сказать — не поверят, — сказал Лебедушкин, — я репетирую роль Дездемоны. Но с кем репетирую?! С командиром части, ночью, при свечах. Ох удивился бы Олег Павлович, если бы узнал, что со студентом школы-студии МХТ, которого выгнали со второго курса, происходит такая забавная история.

— За что же тебя выгнали?

— Я сказал то, что думаю, одному влиятельному человеку.

— А именно?

— Что спектакль, который он поставил, есть фальсификация искусства, подлог, более того, я сделал это в оскорбительной форме. Они играли Островского не по смыслу, поверх текста. Меня это оскорбило. Я поделился впечатлениями от спектакля прямо на лекции, в грубой форме.

— Тяжелый у вас, однако, характер, Наталья Сергеевна.

— Но и у вас тоже непростой.

— Я никогда не репетировал. Говорите, что делать.

— Сначала читаем кусок по очереди. Я и вы. Знаете, что такое театр?

— Откуда мне, сиволапому?

— Это место, где люди ходят по сцене и говорят по очереди. Говорите.

Полковник прочитал первые строки от отметки, сделанной ногтем новобранца вниз к нижнему листу страницы:

Таков мой долг. Таков мой долг. Стыжусь
Назвать пред вами девственные звезды*.

— Итак, пошли дальше, Отелло... читайте, читайте!

Полковник прочитал полстраницы. До ремарки: «Отелло целует Дездемону».

— И что это значит? Что я должен буду тебя поцеловать, Лебедушкин? — Полковник перешел на полшепот.

— Разумеется.

— Нет, давай поищем другой отрывок, где Отелло не целует Дездемону.

— В том, что вы поцелуете меня, ничего страшного нет. Во-первых, это условность, это игра, это искусство, а во-вторых...

* Пер. с англ. Б. Пастернака.

— Я терпеть не могу, когда мужчины целуются, это достаточно противная штука!

— Устал повторять — я девица. Вы же меня вместе с начальником медсанчасти осматривали!

— Нет, нет, давай возьмем другую сцену.

— Хорошо сцена вторая... страница тридцать вторая, начинаю я.

— Валяй!

Коля прочитал за Дездемону. Полковник подхватил. Так продолжалось минут десять. Полковник медленно входил в раж! Они закончили большой отрывок.

После ремарки автора «Отелло плачет» полковник замолчал.

— Что случилось? Почему вы остановились? — спросил Коля.

— Одну секундочку. Так значит, здесь я должен заплакать? — сказал Кинчин не своим голосом.

— Да, Отелло в этом месте плачет, — подтвердил догадку Лебедушкин.

— Давайте, Наталья Сергеевна, возьмем какой-нибудь другой отрывок.

— Что вам не понравилось на этот раз?

— Я не буду плакать.

— Почему?

— Я не плакал, когда хоронил мать, не плакал, когда под Пандшером моего друга разнесло минометным снарядом в клочья. Я не буду плакать. Возьмем другой отрывок.

— Сколько можно скитаться по пьесе?! — заспорил возмущенный Лебедушкин. — Здесь он не может заплакать потому, что настоящий мужчина. Там он не может поцеловать Дездемону потому, что он не в состоянии отличить юношу от девушки! Отелло тоже мужчина, и, между прочим, генерал! Ан смотри... ничего... пролил слезу.

— Он мавр, он чернокожий, — аргументировал полковник. — Он южный человек, а я вырос на Севере.

— И что, мужчины на Севере не плачут? — терпеливо гнул свою линию Лебедушкин.

— У нас не принято.

— Но вы играете мавра, а не самого себя!

— Я про то же, давай поищем другой отрывок.

— Нет, мы остаемся в этом месте. Я буду держаться зубами за этот клочок земли. Ни шагу назад!

— Другой отрывок!

— Когда вы поймете, почему мавр плачет, для вас не будет большой трудностью заплакать.

— И почему он плачет?

— Потому что он теряет свою возлюбленную, он чувствует, как медленно, но верно счастье ускользает от него.

— Я тоже потерял свою возлюбленную, с которой счастливо прожил всю жизнь, но я не плакал.

— Вы потеряли любимого человека, а он потерял нечто большее, существо из другого мира.

— Дездемона... она что? Привидение с планеты икс, двоюродная сестра короля пчел?

— Объясняю... он черный, мавр, она белая. Он — человек в возрасте, она — совсем молоденькая. Он — военный, генерал, она — наивное дитя. То, что он ее любит, — это понятно, но самое большое чудо то, что она любит его. Вот откуда эти слезы!

— Хорошо, я прикрою лицо рукой, как будто плачу.

— Вы меня не поняли. Скажите, Андрей Исаевич, у вас была нереальная любовь?

— Что это значит?

— Были ли вы когда-нибудь влюблены в существо недостижимое, ну, например, в Барбару Стрейсенд или кого-нибудь в этом роде?

— В балерину. Я увидел ее по телевизору, влюбился, как сумасшедший, купил билет в Большой театр. Я был тогда старшим лейтенантом, места неважные, в галерке, однако был смысленный малый, взял в театр полевой бинокль с 34-кратным увеличением.

— Как ее звали?

— Не важно, знаменитая балерина, на нее до сих пор весь мир молится.

— Я никому не скажу.

— Я не понимаю, мы будем играть или разговаривать, кто мы — артисты или ученые?

— Как раз в этом и состоит самая важная часть работы артиста: мы занимаемся разбором произведения, вы заплачете, и слезы польются легко и свободно, и не почувствуете никакого стыда за эти слезы.

— Не уверен.

— Как ее звали?

— Не скажу.

— Представьте, товарищ полковник, вы полюбили эту самую балерину, послали ей записку в букете, назначили свидание у служебного входа, она пришла, роман начался мгновенно! Она выходит за вас замуж, бросает Москву и едет в богом забытый Энск на краю степи. Теперь понятно, что такое нереальная, невозможная любовь?! Так и Дездемона, кстати, оставила Венецию, ради любимого помчалась на богом забытый Кипр.

— И что с того?

— Вы чувствуете, как она вас обожает. Вы на седьмом небе!

— Ну допустим.

— И вдруг спустя несколько месяцев вам тонко намекают на то, что она вам не верна! Вы падаете с небес на землю, бьетесь плашмя всеми своими костями! Нечеловеческая боль! Вот откуда слезы! Понятно?

— Понятно, но я плакать не буду.

— Почему?

— Потому что я десантник.

— По смертности режиссеры занимают вторую строчку после шахтеров. Чтоб вы знали...

— А военные на каком месте?

— На шестнадцатом.

— Может быть, тогда ты займешься менее опасным делом?

— А с вами нелегко, — пожаловался Лебедушкин.

— Довольно разговаривать, хоча играть.

— Я же говорил — это очень заразительное занятие.

Пока они спорили и размахивали руками, вели философский диспут, за ними с улицы наблюдали два острых глаза. Капитан Багаев в эту ночь был дежурным по части. В половине пятого утра он пошел проверить, как несет службу караул. В правой руке Багаев сжимал армейский фонарь, левая рука была свободна, он грел ее в кармане овчинного тулупа. Проходя мимо клуба, он увидел свет в окне. Багаев аккуратно подкрался к окну, что напротив сцены, и не без чувства внутреннего удовлетворения наблюдал за происходящим в клубе, благо на окнах не было занавесок. Жаль, что он не мог слышать, что артисты говорят друг другу, но то, что командир части держал в руках книгу, читал и размахивал руками, составляло ни с чем не сравненную суть этого неповторимого зрелища. Багаев ненавидел командира части. Совершенно иной ненавистью он ненавидел москвича, симулянта, желторотика. Багаев почувствовал, что это шанс, что он когда-нибудь, может, очень скоро, он сумеет отомстить обоим. И еще Багаеву понравилось, что полковник был слегка подшафе. Все это выглядело как-то уж очень странно. Недостойно командира части.

Между тем полковник вошел в новый отрывок и увлекся монологом.

Пушкой я чем-то Бога прогневил.
Над непокрытой головой моею...

— До этого самого места. Стоп! — прервал чтение Лебедушкин.

— Жестоко! — дал характеристику поведению мавра командир части.

— Все вы, мужчины, таковы, я тоже устраивала своей Маше ужасные сцены ревности. На сегодня довольно, я устала. В последнем письме она написала, что у меня переменялся почерк.

— Тем более нельзя тебя комиссовать, представляю, как Маша расстроится.

— Напрасно вы так думаете, девушка с девушкой тоже могут быть счастливы.

— Вам, девушкам, виднее, — сказал Кинчин.

— А мама, например, всегда хотела дочь.

— А отец у тебя есть? — спросил полковник, сел на край солдатской кровати и закурил.

— Мой отец — донжуан, блеснул своей шпагой и растаял в дымке голубой. Моя Маша, кстати, недавно получила большую роль в кино, пока я с вами здесь на печке прохлаждаюсь.

— Любопытное ощущение от игры. Я ощутил нечто, похожее на удовольствие. В чем источник этого кайфа, объясни мне, Лебедушкин?

— Душа бессмертна, она радуется каждому перевоплощению.

— Я в это не верю. Там будет темно и холодно.

— Ничего подобного. Впереди — новые роли!

— Уже половина четвертого, Коля, налей мне кофе!

— Если пообещаете, что комиссуете меня.

— Как тебе не совестно, Лебедушкин! Разве ты плохо служишь? Библиотека, домашний театр, кофе, Элюар, Шекспир.

— Отпустите меня домой, пожалуйста, — попросил Лебедушкин, достал из тумбочки стеклянную банку, пакетик растворимого кофе и самодельный кипятильник — две опасные бритвы, соединенные спичками, от которых к розетке тянулись два изолированных провода. Лебедушкин налил воду в банку, погрузил бритвы в воду. Со дна к поверхности воды тут же полетели маленькие пузырьки.

— Не могу комиссовать! — сказал полковник. — О части станут плохо говорить, мол, там парней переделывают в баб. Все заслуги перед Отечеством забудут, а вот дурной случай запомнят и еще издеваться станут. Так устроен человек.

— Тогда в малом пойдите навстречу, освободите меня от занятий, это бесчеловечно, девушке тащить по полю ящик с патронами и гранатометом.

Вода вскипела, Лебедушкин перелил кипяток в чистую кружку и бросил туда черный порошок. Порошок растворился. Полковник почувствовал аромат кофе и взял горячую алюминиевую кружку в правую руку.

— Я подумаю, — сказал командир части. Он докурил сигарету, допил кофе, накинул тулуп и ушел, не попрощавшись.

Лебедушкин снова остался один. За окном завывала метель. Коля ушел за кулисы и выключил свет. В зале и на сцене стало темно. Коля сел на табурет и стал стягивать с ноги сапог. Сапог сидел крепко. Вдруг из темноты до него донесся знакомый голос капитана Багаева.

— Здравствуй, здравствуй, девица красная!

— Здравия желаю, товарищ капитан, — сказал Лебедушкин, почему-то встал на ноги.

Багаев включил фонарь. Тонкий луч света пополз по стене, словно свет «театральной пушки». Светящийся круг полз по стене, потом перекинулся на зрительный зал, выхватил из темноты девушку, стоящую около кровати на авансцене. В одной руке она держала сапог. Багаев ударил светом в лицо. Луч больно слепил глаза, но Коля терпел.

— Объясни мне, солдат, зачем ты рассказал высокому начальству про обычаи и нравы нашей роты?

— В воздухе повисла странная и непонятная пауза, — быстро нашелся Коля. — Эдакая неловкость, надо было как-то поддержать разговор, а лучшей темы я не нашла.

Багаев легко, словно черная птица, взлетел на сцену.

— По твоей вине мне опять задержали звание. Мне что, в капитанах всю жизнь ходить?!

Изуродованное злостью лицо Багаева вплотную приблизилось к лицу новобранца.

— Зато у вас высокое положение в мире, что находится за пределами милости Божьей. В царствии тьмы есть своя табель о рангах, — витиевато ответил Лебедушкин.

— Неужели? — улыбнулся капитан. Это была улыбка садиста. Лебедушкин знал, что все издевательства, которые он вынес и вытерпел в первые месяцы службы, творились по личному указанию капитана.

Лебедушкин моментально нашелся, что ответить:

— У вас очень высокое положение. Черная душа шестнадцатого циклона в домене его величества Сатаны. Вам надо идти в церковь, становиться на колени и стоять в бесконечной молитве семнадцать недель, пока края души не просветлеют.

— Откуда такая смелость суждений, рядовой Лебедушкин? Потому что стал близок к начальству? И что это за близость, из-за которой рядовые первого года службы читают мораль офицеру? Зачем он приходил? Чем вы занимались с командиром части, неужели прелюбодествовали?

— Это несчастье, когда сознание ничем не отличается от сбитых каблуков, — сказал твердо Коля.

— Он лапал тебя? Девушка красная?

Багаев протянул руку к груди Лебедушкина.

— Не прикасайтесь ко мне, кентавр! — закричал Лебедушкин.

— Может быть, сходим в кино? Вот увидишь, он не сделает тебе предложение! А я — другое дело, я не обману!

— От вас несет серой, вы ад несете в себе! Гной, разложение, сифилис, вонь геенны огненной, гниение тюремной параша — вот основные компоненты, из которых в аду приготавливали вашу уродливую душу.

Багаев был потрясен смелостью желторотика, но умело скрыл свои эмоции.

— Хочешь домой, в Москву? Мы отправим тебя домой... в цинковом гробу. В твой гроб я положу мои капитанские погоны. Клянусь тебе, живым отсюда не уедешь. Прощай!

Багаев рассмеялся, лихо, словно на балу, развернулся на каблуках и исчез во тьме.

Он шел к выходу по лучу, потом выключил фонарь, и стало тихо.

— Я не боюсь, — закричал Лебедушкин в спину дьяволу.

— Напрасно, — раздалось из кромешной тьмы, — ведь я — твоя смерть. Бойся меня, думай обо мне.

Глава пятая

Полковник все-таки отменил все индивидуальные занятия с Лебедушкиным по боевой подготовке. Ближе познакомившись с «Натальей Сергеевной», Кинчин понял, что переделывать Лебедушкина в мужика совершенно бессмысленное занятие. На всякий случай у входа в клуб все-таки поставили часового (из морально устойчивых), а огромные, оставшиеся без занавесок окна клуба покрасили белой краской.

Ситуация была безвыходная, оставалось только надеяться на чудо. Что когда-нибудь... однажды... Лебедушкин вернется в мужское состояние, а уж тогда от него надо будет как можно быстрее избавиться, то есть комиссовать.

Неделя шла за неделей, а новобранец-симулянт, москвич Коля Лебедушкин, по-прежнему оставался девушкой.

Между тем часть жила своей жизнью: боевая учеба, стрельбы, спортмассовая работа. Полковник знал — скоро начнутся учения Северо-Западной группы войск, он готовил личный состав к самому, на его взгляд, худшему: в зимних условиях предстояло подняться в небо и десантироваться в неизвестном районе. Ночью!

В общем, в жизни полковника ничего не изменилось. Кроме одного — у него дома на столе в гостиной появилась книга: Уильям Шекспир. «Трагедии». В один из выходных полковник съездил в Мурманск и в книжном магазине купил себе шикарно изданный экземпляр пьес английского классика.

Он, конечно, мог взять себе экземпляр из библиотеки части, но тогда у Лебедушкина не осталось бы на руках текста пьесы, который, как оказалось, Коля помнил не очень хорошо.

Ночами, когда полковнику не спалось, он шел в клуб, и вместе с новобранцем они готовились к премьере. Полковник обязан был сдержать данное им слово офицера. На самом же деле он был счастлив, что дал такое слово. Ему было интересно с Лебедушкиным, они не только репетировали, но и разговаривали на самые разные темы, философствовали, а главное — когда они приступали к тексту и действию, у полковника получалось.

Полковник играл и перевоплощался отменно. Лебедушкин был поражен этим обстоятельством. Они готовили к премьере драматический кусок. Вдвоем спектакль от начала до конца им было не потянуть.

С полковником между тем стали происходить странные вещи: он внутренне преобразился, куда-то делась его мрачность, ушла тоска, так сильно досаждавшая ему по ночам. Иногда полковник с горьким чувством думал о том, что рано или поздно Коля вернется домой, не важно, парнем или девушкой. И тогда он снова останется один.

Пару раз в клуб ночью заходил Багаев. Лебедушкин ничего об этом не рассказывал командиру части. Не рассказывал по той причине, что сам для себя решил, что не боится капитана и жаловаться не станет.

Багаев занял позицию стороннего наблюдателя, он притаился и как будто чего-то ждал. Самое большое, что он мог позволить себе в общении с «девушкой-солдатом», — это скабрзности и грязные намеки.

Наконец настал день премьеры.

Было около половины двенадцатого ночи, полная луна сияла на тихом и спокойном небе.

Полковник прошел мимо часового (которому было строго запрещено разговаривать с Лебедушкиным) и вошел в клуб.

— Доброй ночи, — поприветствовал он актрису и вытащил из-за пазухи пластиковую коробку. — Грим, как обещал.

— Дорогостоящее приобретение за четверть часа до премьеры, — поблагодарил Лебедушкин. — Без четверти двенадцать, переодевайтесь и садитесь гримироваться, товарищ полковник.

— Сцена? — спросил Кинчин.

— Готова!

— Свет?

— Выставил.

Полковник прошел в гримерную и сел к зеркалу. Они гримировались, обмениваясь короткими фразами.

— Грим?

— Умеренный.

— Лицо мавра?

— Цвета грозовой тучи.

— Губы?

— Фиолетовые.

— Глаза?

— Сверху посветлее.

— Язык?

— Язык не гримируют.

— У Яго можно было бы загримировать черным.

— Великолепная метафора, но у нас нет Яго.

— У нас никого нет, ни Яго, ни Родриго... ни Бранцио, и в партере пусто, и спектакль идет всего шесть минут.

— Случается, на сцене артистов больше, чем зрителей в партере, и зал полон, и спектакль идет шесть часов, а в сердце пустота. А мы сыграем точно, сыграем виртуозно, и это оправдает все другие наши упущения.

Вдруг полковник посмотрел на свое лицо в темном гриме мавра и опешил. Как будто протрезвел: «Кто это? Что я здесь делаю?»

— Гримируйтесь, скоро полночь, — почувствовав сомнения партнера, жестко отрезал Лебедушкин.

Но свежая откровенная мысль увлекла полковника за собой:

— Командир части, боевой офицер мажет физиономию кремом цвета яблочного повидла, он будет говорить по-написанному, изображая того, кем не является на самом деле, кривляться и лицедействовать. Надо остановиться, пока не поздно! Я играть не буду!

— Почему?! — возмутился Коля.

— Какой из меня актер?! Пойду проверю, как несет службу караул.

— Уйти за пять минут до премьеры — верх трусости. Постарайтесь справиться с волнением.

— Мне не страшно, я не понимаю.

— Что именно вы не понимаете, товарищ полковник?

— Зачем играть?

— На этот вопрос нет ответа.

Полковник встал, подошел к кровати, что стояла за кулисами, чтобы взять со спинки полотенце и одним махом стереть грим с лица.

— Я ухожу, — сказал он и направился к выходу.

— Это подобно самоубийству.

— Я ухожу, спокойной ночи.

— Я тоже хотел сбежать перед первым выходом на сцену.

— Пока, Лебедушкин, зайду на днях.

— Счастливого пути!

Полковник занес полотенце над лицом... и вдруг бросил его на кровать.

— Не могу уйти, что-то во мне сопротивляется, — сказал полковник.

— Ваша душа против, вы лишаете ее жизни.

— Произносить чужие слова — какая глупость! — сказал полковник, и стало ясно, что он не уверен в своей правоте.

— В отличие от пьесы, в которой вы играете каждый день с утра до поздней ночи, каждое слово драматурга, отмеряно и несет в себе смысл. Начинаем!

Лебедушкин подошел к рубильнику и убрал весь лишний свет, на сцене воцарился полумрак.

— Начинаем, — еще раз сказал Лебедушкин и включил магнитофон на воспроизведение. Вступила музыка.

— Я не готов, — прошептал Кинчин.

Но Лебедушкин был настроен решительно:

— Свет. Музыка, ваш выход, — сказал Лебедушкин, и в его голосе прозвучали металлические нотки.

— Я волнуюсь, — честно признался полковник.

— Еще бы, это ваш первый выход. Начинаем, — вполголоса ответил Коля, как будто зал был полон публикой. Но зал был совершенно пуст.

Как только одна мелодия сменилось другой, на сцену вышла Дездемона, и спектакль начался.

На актрисе было серое платье в пол, на ногах все те же кирзовые сапоги. Голову актрисы пересекала белая лента. Через минуту, когда того потребовало действие, на сцене появился мавр. Он был черен лицом. Это был не спектакль в привычном понимании, они играли отрывок, но играли очень неплохо, и Лебедушкин сразу же отметил про себя, что у полковника получается, и если бы мастера МХТ увидели этот отрывок, они остались бы довольны, и ему, Лебедушкину, не было бы стыдно.

По залу гуляло эхо их голосов, но эта пустота перед ними все-таки создавала некое напряжение, так необходимое актеру для того, чтобы войти в образ. Действие увлекло артистов, и они не заметили, как представление закончилось.

Сначала за кулисы ушел мавр. За ним — Дездемона. В темноте они встретились:

— Браво, товарищ полковник! — шепотом, сказал Лебедушкин. — На поклон!

Они вышли и поклонились пустому залу. И еще раз отбили поклон, взявшись за руки.

— Как быстро все закончилось! — так же шепотом ответил полковник.

— А вы правы, из вас вполне получился бы актер, и очень хороший актер.

— Спасибо. Ты, солдат, проиграл пари.

— На что спорили?

— Ни на что. А напрасно, — пожалел Кинчин.

— Мне понравилось. Хорошо бы найти пьесу на двоих, часа на полтора. Я напишу Маше, попрошу ее прислать.

— Меня разжалуют и с позором выгонят из армии.

— Пересохло в горле, пить хочу, — пожаловался Коля.

— Вдруг стало грустно, — сказал полковник.

— Почему?

— В жизни остается все меньше белых пятен.

Лебедушкин включил свет на сцене, и они стали разгримировываться.

Лебедушкин пожертвовал новым чистым полотенцем, он достал его из тумбочки. Полковник одним широким жестом убрал грим с лица.

— У вас есть заветная мечта? — вдруг спросил Лебедушкин.

— Упасть на горячий песок где-нибудь на пляже в Сочи, пить газированную воду со льдом и смотреть на облака. Лежать, не двигаться и ни о чем не думать. Долго, очень долго. А ты о чем мечтаешь?

— Сыграть большую роль в большом кино, чтобы это была потрясающая история о любви! Чтобы этот

фильм увидел весь мир. Иногда я закрываю глаза и вижу себя в черном смокинге, поднимающимся по ступеням каннской лестницы.

— А я буду сидеть дома перед телевизором, дряхлеющий военный пенсионер, и радоваться твоему триумфу.

— А почему бы и нет?

— Так и будет. Вот увидишь!

— Товарищ полковник, отпустите меня домой.

— Никто тебя за язык не тянул, сам сказал, мол, скоро будем репетировать большую пьесу на двоих.

— Я вас очень прошу, — взмолился Лебедушкин.

— Хорошо, я подумаю. Приготовь-ка мне чашечку кофе.

— Осталось три ложки.

— Совсем забыл, я принес целую банку.

— Где она?

— В шинели, в правом кармане.

— Королевский подарок.

— Арабика, твой любимый.

— Все не так, я ошибся, — вдруг с печалью в голосе сказал Коля.

— Что случилось, — спросил полковник, — что не так?

— Все, что мы сейчас сыграли, совершенно неправильно, мимо смысла, пьеса не об этом. Мы сочувствуем Отелло, а он должен вызывать у нас отвращение!

— С какой стати? — спросил Кинчин.

— Это история не о ревности. Пьеса имеет более глобальный смысл! Бог подарил человечеству прекрасную планету. Он дал любовь, слово, сознание, вдохнул Дух и душу. Даровал все, что нужно для счастья, но люди не могут быть счастливы в силу своей природы, своей мел-

кой глупости и ничтожного эгоизма. Яго — не ангел зла, а обыкновенный человек, банальный человек, каких большинство. Отелло точно такой же, обыкновенный человек. Один завидует. Другой ревнует. Самое лучшее, что дает Бог человечеству, оно убивает. Поэтов, красивых женщин, высокие чувства, гениев, святых. Это о Пушкине, это о Христе. Начнем репетировать заново.

— А ты не мог пораньше прозреть?

— Всему свое время.

— И что, трехнедельный труд насмарку?

— Да. Насмарку.

— А мне понравилось, особенно как я сыграл. Мне даже кажется, в чем-то и где-то, что я тебя переиграл.

— Как быстро, товарищ полковник, вы заболели всеми актерскими болезнями. Самое уродливая химера — это художник с золотыми глазами, не критично оценивающий себя и свое творчество. Сочинять и зачеркивать, сочинять и снова зачеркивать, и так — до бесконечности. Сейчас же начнем репетировать заново!

— Пойду домой, устал, тяжелый выдался денек, стрельбы, три совещания и премьеры.

Вдруг Лебедушкин почувствовал настоящую тоску от мысли, что полковника не станет сейчас рядом с ним, что он останется один.

— Если вы уйдете, это будет предательством, — сказал Лебедушкин.

— Кто-то целый день валялся в постели и читал, а кто-то командовал полком!

— Как вам не совестно жаловаться, возьмите себя в руки! Вы же мужчина!

— Всю свою жизнь, повинуюсь неясному инстинкту, я пытался доказать всем на свете, что я необыкновенно храбрый и сильный человек. Когда был ребенком, я ата-

манил бандой дворовых мальчишек, потом стал лучшим курсантом, после самым-самым мужественным офицером. Всю свою жизнь я пытался произвести впечатление, я устал, я — обыкновенный человек, я хочу спать. Приду домой, разберу постель и лягу спать, все!

— Хорошо, отдыхайте. А завтра мы начнем сначала.

— Премного благодарен, Николай!

На прощание Кинчин пожал Коле руку. Твердо, по-мужски. И в этом рукопожатии теплилась надежда на то, что новобранец когда-нибудь станет настоящим мужчиной. Когда Кинчин спускался по ступенькам вниз, в зал ворвался лейтенант Ювачев, он был чрезвычайно бледен и возбужден.

— Товарищ полковник, срочная телефонограмма из генерального штаба, — почти закричал адъютант.

— Есть только один человек, который всегда знает, где я нахожусь, таковы правила военной жизни, — извинился перед Лебедушкиным полковник. — Давай сюда, — он протянул адъютанту руку, в которой через секунду оказалась срочная депеша.

— У вас лицо перепачкано, — сказал Ювачев.

— Не обращай внимания, — спокойным голосом ответил полковник. Его глаза по диагонали пересекли лист бумаги.

— Поднимай полк, — сказал командир части. — Тревога!

— Есть, товарищ полковник!

— Комсостав собрать в штабе. Плановые учения. Северо-Западная группировка войск. Кругом шагом-арш!

Ювачев выбежал из клуба. Андрей Исаевич и Лебедушкин снова остались одни.

— И что это значит? — спросил Коля.

— Ты остаешься здесь, что бы ни случилось, весь этот переполох тебя не касается.

— Есть, товарищ полковник!

— Зайду через недельку. Чтобы за порог ни шагу! Приказываю охранять коробку с гримом, банку кофе и свечу!

— Я постараюсь, Андрей Исаевич.

— Вы давали присягу, рядовой Лебедушкин?!

— Да, я давал присягу.

— Тогда отвечайте по уставу.

— Есть охранять банку кофе и свечу, товарищ гвардии полковник!

— Вот так-то будет лучше!

Полковник вышел. Лебедушкин услышал, как загудели моторы, окна клуба, покрашенные белой масляной краской, осветились снаружи десятками прожекторов, стекла задрожали: мимо клуба, вытянувшись вереницей, потянулись боевые машины десанта, радиомашины, полевые кухни и тяжело груженные «Уралы».

Коля прилег и накрылся одеялом. Вдруг он услышал, как хлопнула входная дверь, послышались чьи-то шаги, Лебедушкин привстал на кровати, на сцену взбежал капитана Багаев.

— Тревога! — скомандовал капитан. — Собраться за две минуты, в строй!

— Я не встану в строй, это приказ командира части.

— Только что полк подняли по боевой тревоге. Вы — солдат моей роты! Я приказываю вам встать в строй!

— Я имею совершенно другой приказ, касающийся вещей, имеющих совершенно иную природу, никак не относящихся к Вооруженным силам.

— Если ты не сделаешь это добровольно, я вынужден буду применить силу, мы тебя отсюда на руках!

— О небеса! Меня преследует кентавр. Туловище лошади бежит за мной в ночи!

— В строй! — приказал Багаев. — Иначе я сам тебя на руках отнесу! Возлюбленная моя!

— Не прикасайтесь ко мне, я сам пойду.

Через десять минут рядовой Николай Лебедушкин вместе с солдатами своего отделения сидел на жесткой лавке в боевой машине десанта. В руках у него был автомат, парашют лежал в ногах.

— Куда везут? — спросил один из молодых солдат.

— На аэродром, — ответил сержант.

Лебедушкин вспомнил, где именно находится кольцо на парашюте, за которое, отсчитав до десяти, предстоит со всей силы «рвануть от себя».

Боевая машина резко развернулась, Колин автомат упал и больно ударил его по колену.

Глава шестая

Через трое суток часть вернулась с учений в место своего расположения. Десантники не спали две ночи, командир части приказал объявить подъем на завтра в двенадцать пополудни, чтобы солдаты могли выспаться, но сначала они должны были попрощаться с погибшим во время учения товарищем... рядовым Николаем Лебедушкиным.

Груз-200 поставили на сцене клуба. Цинковый гроб был закрыт государственным флагом. Вся церемония заняла часа полтора, не больше. Оркестр из трех человек играл похоронный марш. Кларнетист ошибался, барабанщик иногда проваливал ритм. На крыше клуба гремел наполовину оторванный поржавевший лист кровельной жести. Личный состав части — солдаты и офицеры — проследовали мимо гроба и ушли отсы-

паться. Замолк оркестр. На сцене рядом с грузом-200 остались командир части, его адъютант, военврач Морозов и капитан Багаев.

— Почему ты молчишь, говори! Как такое могло случиться? — оспившим голосом спросил полковник.

— Я уже трижды вам докладывал, — сказал капитан, — рядовой Лебедушкин попал под боевую машину десанта.

— Я знаю, я спрашиваю о другом. По неосторожности или ему кто-то помог? Капитан Багаев!

Багаев пожал плечами:

— Вот вам в свидетели вся рота, он был в цепи, вдруг остановился, как будто о чем-то задумался, машина его смела.

— Я приказал ему оставаться в клубе!

— Клянусь, я ничего не знал об этом, Лебедушкин — солдат пятой роты, была тревога, он обязан был стоять в строю.

— Он поднимался в небо?

— Да, вместе со всеми.

— Он прыгал с парашютом?

— Приземлился вполне нормально, — сказал Багаев, — встал на обе ноги. Мы развернулись в цепь, и вдруг — машина справа. На больших учениях без потерь не обходится.

— Один солдат не так уж много, — вмешался Ювачев.

— Смерть была быстрой, мгновенной, как вспышка, — сказал военврач майор Морозов.

— Если принимать во внимание, что в учениях было задействовано две дивизии... — пытался утешить командира части капитан Багаев.

— Вы свободны, капитан. Вы свободны, майор.

Командир роты Багаев и начальник медсанчасти Морозов поспешно ретировались.

— Все простились? — спросил полковник.

— Полторы тысячи человек, все, кроме солдат из караульной роты, — ответил адъютант. — Я отдал приказ запаять гроб.

— Погоди, так нельзя. Неужели в поселке нет ни одного священника?

— Был один-единственный, и тот спился.

— Нет, нет, так нельзя, это не по-людски.

— А что же делать? Самолет ждет на взлетно-посадочной полосе.

— Иди. Встань у входа. С обратной стороны. И чтоб ни одна живая душа не вошла!

Ювачев ушел.

Полковник остался в клубе совершенно один. Он достал из кармана помятый лист бумаги. На верхней строке которого рукой рядового Лебедушкина было написано: «Король пчел». Полковник подошел к гробу и стал читать вслух. С листа:

Ты умер.

Твои глаза жадно глотают тьму,

Как две цапли воду после долгого перелета

через пустыню.

Ты оглох.

Ты слеп.

Потерял сознание, речь и память —

Таковы правила предстоящего путешествия.

Два миллиарда лет тому назад Господь обрел этот мир,

Мир Господний обрел твою душу,

Твоя душа обрела Дух, а значит, она бессмертна,

Вдруг начнется дождь,
И ты бросишься по козырек универмага,
Навсегда забыв обо мне.

Когда душа пересечет двенадцать океанов времени,
Она снова обретет способность на встречу со мной,
Но мы не встретимся,

Мы больше никогда не встретимся,
А если и встретимся в новой жизни,
Не узнаем друг друга...

Но душа сохранит навеки
Это неясное предчувствие,
Столь необходимое, чтобы снова и снова
Жить, испытывая вдохновение.

Ты идешь по лестнице в небо,
Навстречу своей бесконечной славе,
У тебя будут новые лица,
Новые голоса и новые мысли,

Ты проживешь еще тысячи жизней,
У тебя будут тысячи новых имен,
И все имена ты прославишь.
Прощай навеки...

Впереди — новые роли.

Полковник аккуратно сложил листок бумаги с текстом Колиной пьесы вчетверо, спрятал его во внутренний карман шинели и спустился со сцены. Он прошел

зрительный зал до середины и остановился. Он стоял так долго, и молчал, и делал все возможное, чтобы не обернуться.

Через минуту полковник вышел из клуба, надел папаху и пошел домой. Он шел один через пустой заснеженный плац и плакал. Впервые в жизни. Но никто не видел его слез. Он сам не чувствовал их на своем лице. Холодный северный ветер уносил их в небо, к далекой планете Гвидо, туда, где со своей возлюбленной танцевал свой изысканный танец король пчел.

Москва, 2001–2007

содержание

Афродизиак
5

Охота в зоопарке
157

Мотылёк
255

Литературно-художественное издание

Гладилин Пётр Владимирович

ПЛАТОНИЧЕСКОЕ СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА



Ведущий редактор

Е.В. Субботина

Младший редактор

Г.А. Прокошина

Художественный редактор

Т.Н. Костерина

Технолог

С.С. Басипова

Оператор компьютерной верстки

Л.Г. Иванова

Оператор компьютерной верстки переплета

В.М. Драновский

Корректоры

Л.В. Кузьмина, Н.Н. Родионова

Подписано в печать 28.09.2007

Формат 84x108/32

Тираж 3 000 экз.

Заказ №

ЗАО «Вагриус»

107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

E-mail: vagrius@vagrius.com

Отдел реализации издательства:

(495)510-56-09, 510-56-10

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru